



ИЛ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+

РОМАН
ХОСЕ ДОНОСО
"ВТО
ВОСКРЕСЕНЬЕ"

ТЕАТР: ФАРС
ЛУИСА ПЕРЕСА
ИНФАНТЕ
И МИГЕЛЯ
ПРИЕТО
"ОБОРОНА
МАДРИДА
И МОЛЫ
КОРРИДА"

2025

6

ВОСТОК:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Основан в 1955 году



Александр Казачков — легендарный Sacha — был одним из тех людей, чье имя становится концептом, понятием, переживает своего владельца. Ужасно, что Саши больше нет с нами, но он остается “алхимическим элементом” испаноязычного мира. Он скромно называл себя “переводчиком-испанофилом”, для испанистов и латиноамериканистов он был истинным маэстро, виртуозом языка, уникальным знатоком культуры, мастером синхронного и литературного перевода, учителем и ориентиром для многих.

С Институтом Сервантеса в Москве он был связан *ab ovo* — именно Саша Казачков переводил пресс-конференцию будущего короля Филиппа VI, тогда еще принца Астурийского, посвященную открытию Института. Без его участия невозможно было представить ни одно из множества мероприятий, организованных Институтом. Испанские гости с уважением спрашивали Сашу: “Вы из Вальядолида?” Их вопрос был неслучаен: его безупречное владение языком, тонкое понимание испанских традиций и манера общения, отточенная годами работы в испанской среде, заставляли поверить, что он — уроженец Испании.

Связь Саши с испаноязычным миром была глубокой и многогранной. В 1980-х годах он работал на Кубе, где не только совершенствовал свой язык, но и погрузился в культуру, историю и дух кубинского мира. Этот опыт стал фундаментом его уникального мастерства — виртуозного соединения

миров и культур. Логично последовало признание: он был удостоен Ордена за гражданские заслуги — награды, которой Испанское государство отмечает вклад в укрепление культурных связей.

Переводы, путешествия, лекции, уникальная библиотека, собрание открыток и гравюр — из калейдоскопа тем и историй хочется вспомнить одну, которую сам Саша описал в эссе, вошедшем в “Книгу открытий” — сборник исследований испанистов, изданный к двадцатилетию Института Сервантеса. Пусть звучит Сашин голос: “Как-то в очаровательной мадридской букинистической лавке Луиса Бардона мое внимание на полке привлек корешок с не чужим для меня именем — Sacha. Находка оказалась прелюбопытной. Роман французского литератора Фервака ‘Саша’ посвящен истории русской барышни Александры, фрейлины при императорском дворе. На форзаце моего экземпляра надпись синими чернилами: ‘Эта книга подобрана мною среди развалин Царскосельского дворца в окрестностях Санкт-Петербурга во время поездки в январе месяце 1943 года на участок германского фронта, который обороняла испанская ‘Голубая дивизия’. Эклибрис царя Александра II. Игнасио де Мельгар’... Никакого эклибриса в книге уже не было, но на титульном листе действительно стоял штамп Царскосельской дворцовой библиотеки. Первая мысль — репатриировать ценную находку”.

Саша Казачков не только вернул в страну книгу уникальной судьбы под названием “Sacha”, но и выяснил, что Игнасио де Мельгар был потомком Фернандо I Великого, короля Леона и Кастилии. Исторический казус: российский самодержец “дал почитать” книгу из своей библиотеки потомку первого кастильского короля. Саша собирался вернуть “Сашу” в Царскосельский (Александровский) дворец. Надеюсь, это скоро осуществится, экспонат, объединивший эпохи, станет памятью и о Саше. Лишь одна из множества Сашиных историй — но в чем-то идеальный его портрет.

Саша Казачков воплощал в себе гармоничное сочетание знаний, мудрости, опыта, искреннего интереса и вдохновенного служения своему делу. Утонченный московский интеллигент и преданный друг, он был человеком редкого такта, внутренней силы и глубокого ума, настоящим подвижником в служении культуре. Sacha оставил неизгладимый след в сердцах всех, кто его знал. Его любили все. Gracias, Саша. RIP.

Татьяна Пигарева

[6]

2025

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ И ЛИТЕРАТУРА

	5	Хосе Доносо <i>В то воскресенье</i> . Роман. Перевод с испанского Ольги Кулагиной
	132	Огден Нэш <i>Стихи</i> . Перевод с английского и вступление Андрея Деменюка
Восток: сегодня и завтра	140	Экуни Каори <i>Два рассказа</i> . Перевод с японского Миланы Ильиной, Анны Дегтяревой
	152	Огава Ёко <i>Анатомия жирафа</i> . Рассказ. Перевод с японского Анны Дегтяревой
	161	Юй Цзянь <i>Стихи</i> . Перевод с китайского и вступление Ивана Алексеева
	167	Чон Хаён <i>Под светом лампы</i> . Рассказ. Перевод с корейского Светланы Немкевич
	197	Кан Бёнюн <i>Продам костюм Супермена</i> . Рассказ. Перевод с корейского Екатерины Похолковой и Дарьи Мавлеевой
Театр	208	Луис Перес Инфанте и Мигель Прието <i>Оборона Мадрида и Молы коррида</i> . Фарс для кукольного театра. Перевод с испанского Ксении Дмитриевой и Александра Казачкова
Документальная проза	215	Фридрих Фидлер <i>Берлинский дневник 1894 года</i> . Публикация, перевод, вступление и примечания Константина Азадовского
Статьи, эссе	238	Роман Дубровкин <i>Тассо, принц датский. Итальянские истоки шекспировской трагедии</i>
Carte blanche	270	Сергей Гандлевский <i>Пролитая вода</i>
Библиофил	279	<i>Книги вразнос. Что у нас переводят. И как.</i> Экспресс-рецензии Даши Сиротинской
Авторы номера	282	

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 г. — “Иностранная литература”.

Главный редактор

А. Я. ЛИВЕРГАНТ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА

С. М. ГАНДЛЕВСКИЙ

Т. А. ИЛЬИНСКАЯ
*заместитель главного редактора,
ответственный секретарь*

К. В. ЛЬВОВ

Д. Д. СИРОТИНСКАЯ

А. О. ФИЛИППОВ-ЧЕХОВ

Общественный
редакционный совет:

К. Н. АТАРОВА

Н. А. БОГОМОЛОВА

Е. А. БУНИМОВИЧ

Т. Д. ВЕНЕДИКТОВА

А. А. ГЕНИС

А. В. ГЛАДОЩУК

В. П. ГОЛЫШЕВ

Ю. П. ГУСЕВ

Е. Е. ДМИТРИЕВА

О. Д. ДРОБОТ

С. Н. ЗЕНКИН

Г. М. КРУЖКОВ

М. А. ОСИПОВ

М. Л. РУДНИЦКИЙ

И. С. СМЕРНОВ

Е. М. СОЛОНОВИЧ

Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

А. В. ЯМПОЛЬСКАЯ

Международный
совет:

ВАН МЭН

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

МАТЕЙ ВИШНЕК

КЛАУДИО МАГРИС

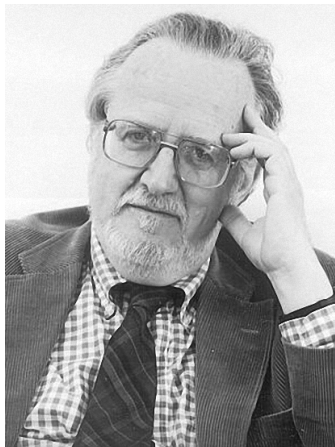
АНДРЕС НЕУМАН

ИШТВАН ОРОС

РОБЕРТ ЧАНДЛЕР

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации



В то воскресенье

Роман

Перевод с испанского Ольги Кулагиной

НА самом деле воскресенье в бабушкином доме начинались еще в субботу, когда отец звал меня в машину:
– Готово, поехали...

К тому моменту я уже довольно долго вертелся у него под ногами. Вернее не то чтобы вертелся под ногами, поскольку по опыту знал, что такое поведение может оказаться контрпродуктивным, а как бы ненароком о себе напоминал: бесстрашно кашлял возле родительской спальни, если их суета затягивалась, играл рядом с ними в гостиной, стараясь перехватить отцовский взгляд и улыбкой вернуть его с небес на землю, напомнить о своем существовании, о том, что уже четыре, уже половина пятого, уже пять и меня давно пора везти к бабушке.

Я садился в машину, и мы выезжали из центра.

Особенно отчетливо я помню короткие зимние субботы. Иногда смеркаться начинало еще до того, как мы выходили из дома: лиловое небо, похожее на рентгеновский снимок голых деревьев и оставшихся позади домов. В машине у меня, закутанного в жилетки и шарфы, начинали зябнуть уши, нос и кончики больших пальцев, торчавших из дыр по причине моей скверной

привычки постоянно грызть шерстяные перчатки. Не успевали мы доехать до бабушкиного дома, как становилось совсем темно. Пронзавшие дождь, похожие на елочные шары, автомобильные фары осыпали звездами слепившее нас лобовое стекло, приближались и медленно проплывали мимо. Отец сбавлял скорость, чтобы переждать усилившийся дождь. Он просил меня передать ему сигареты, нет, не там, бестолковый, другая клавиша, в бардачке, и вот он закуривает перед презгравившим нам путь светофором. Я нажимаю голым большим пальцем на холодное стекло в том месте, где красная точка светофора повторяет себя в миллионах дождевых капель, и мне кажется, что она приклеена с внешней стороны теплого, замурававшего меня в себе аквариума, в котором преломляются перечеркивающие мир лучи, а я здесь, изнутри, слегка прикасаюсь к его прохладной внутренней стенке. От бесцеремонности моего большого пальца одна из красных капель вдруг лопается, как изливающийся кровью на стекло сосуд, и я пытаюсь удержать эту кровь, как-нибудь ее остановить и одновременно поглядываю на отца: не заметил ли он моих разрушительных действий... но нет... он заводит двигатель, и мы снова едем в потоке машин вдоль реки. Запертая в каменной теснине, она ревет, как разъяренный зверь в вольере. Паводок в этом году привел к разрушениям и смертям, перешептываются взрослые. Да. Я сумею убедить их в том, что слышал этот рев, и вот уже мои двоюродные сестры и братья внимают, разинув рты, как я рычу, подражая уносящей трупы и дома реке... да-да, я видел это собственными глазами! И не важно, что их четверо, а я один. По субботам их везут к бабушке другой дорогой, с другой стороны города, они не едут мимо реки.

Наконец мы сворачиваем на бабушкину улицу. Здесь все незнакомое и непонятное сразу обретает смысл. Ни сезонные, ни случайные разрушения не смогли бы помешать мне узнать эту улицу с двумя рядами акаций, перепутать ее с другими, почти такими же, как она. Здесь чехарду квартир и домов, в которых я жил с родителями по году или по два, чтобы снова переехать в другой район, сменяли солидность и постоянство, поскольку бабушка и дед жили здесь всегда и никуда переезжать не собирались. В этом я видел надежность и порядок: почти родная планировка дома, ясное представление о том, где можно найти любой предмет, привычные объемы, понятные, знакомые запахи и цвета в этой принадлежавшей мне части вселенной.

Разговоры о планах городских властей выкорчевать слишком старые акации велись постоянно: накренившиеся, как горькие пьяницы, они грозились придавить прохожих, а перепутанные узлы их корней разрушали плиточную мостовую. Иногда они действительно падали, и тогда мы впятером забирались на деревянный забор или просовывали головы в проплешины кипарисовой изгороди и смотрели, как рабочие спиливают ветки и утаскива-

ют на буксире поверженного великана. После этого мостовую чинили и сажали сливовое, оливковое или еще какое-нибудь тощее деревце из принятых в ту пору, никогда не перераставшее стадию прута, потому что никто о них не заботился. Постепенно ряды акаций становились все жиже и неравномерней.

Но помню я и те поездки, когда была суббота и была весна: стекла в машине опущены, воротник отцовской рубашки расстегнут, надо лбом летает прядь волос, и я по-щенячьи цепляюсь пальцами за край окна и свешиваюсь наружу, чтобы глотать этот свежий воздух. Как только машина останавливается у ворот, я сразу же выхожу. Нажимаю на звонок. Вокруг ближайшей акации расстилается скатерть из белых цветов. Отец нетерпеливо сигналил из машины. Я падаю коленями на эту белую скатерть, но занятый прикуриванием очередной сигареты, отец не ругает меня за то, что теперь я буду весь грязный. Эти цветы не похожи на цветы. Такие крошечные и бесчисленные, они кажутся неживыми, мелкими предметами. Вытянутая губа и миниатюрный жесткий язычок. Я сгребая их руками в огромную охапку, белый цвет которой отдает желтизной, и запах нагретой дорожной плитки и пыли бьет мне в нос сквозь приторное благоухание цветов. Охапка становится все больше. И вдруг моему взгляду открывается особая плитка, красноватая, отполированная, специальная плитка, на которой есть какая-то надпись. Кажется, что под ней похоронен домовой – да, бабушке я бы так и сказал! Я старательно разбираю слова.

– Пап...

– Что...

Новый гудок клаксона.

– Здесь написано “Роберто Матта, Строитель”...

– Да, он мостил эту дорогу. Мой двоюродный брат.

– Знаю. Дядя Роберто.

– Нет. Не этот. Другой.

– А...

Антония снимает с ворот цепочку. Не выходя из машины, отец зовет меня к окну прощаться, но я вишу на шее у Антонии, целую ее, болтаю и смеюсь, чтобы он подумал, будто я его не слышу, чтобы не догадался, что я не хочу прощаться, а хочу, чтобы он просто уехал, не настаивая, не замечая моей досады. Он никогда ничего не замечает. Сейчас он не заметил, что вовсе не к имени дяди Роберто, обнаруженному мной на уличной плитке, я пытался привлечь его внимание. Он не заметил моего горячего желания показать ему что-то совсем другое: что я умею читать, что без его или чьей-то еще помощи я научился читать по одним газетным заголовкам и теперь отлично знаю, что эта красноватая плитка – не надгробие гнома, а памятная табличка в честь Роберто Матты, Строителя. Бабушке – да, ей я, конечно, скажу, что на улице под акацией нашел крошечную могилку. Рано утром, в вос-

кресном тепле ее кровати, пока мои двоюродные братья и сестры еще не успели залезть под благоухающее утренними гренками одеяло, мы с бабушкой пофантазируем о могиле домового. Стремясь разжечь ее любопытство, я расскажу ей о надгробной плитке и уговорю выйти со мной на улицу, чтобы получить возможность продемонстрировать ее и прочесть: “Роберто Матта, Строитель”. Бабушка обрадуется. Поделится новостью с дедушкой и служанками и заставит меня прочесть еще какую-нибудь надпись в доказательство того, что гордится мной не зря. Потом она позволит маме – обсудить мои успехи, недовольная тем, что ей ничего не сказали. Но мама и сама ничего не знала. Она сочтет бабушкин восторг чрезмерным: уж такова моя мама, не может обойтись без жеманства. А отец, сидя на диване или развалившись на кровати с газетой, повернет к маме голову, даже не слыша, что она говорит, занятый другими делами. Важными делами, напечатанными в газете, которую я – хоть он о том и не подозревает – уже умею читать; вот и сейчас он ничего не заметил, торопясь поскорее вернуться домой, чтобы пойти с мамой в кино.

Но мне это безразлично.

Всегда было безразлично, потому что для меня, даже ставшего почти взрослым, когда я уже носил брюки-гольф, приезд к бабушке означал возможность разбить аквариум, не совершая при этом ничего предосудительного, выплеснуться из него, растечься. Я бежал по садовой дорожке и кричал “бабушка, бабушка”...

– Ее нет дома. Скоро вернется.

Я сгорал от нетерпения похвастаться кузенам своими брюками-гольф. Такие брюки носил только Луис, родившийся годом раньше меня. К моему ровеснику Альберто они должны были перейти от Луиса, когда станут тому малы, но ждать ему предстояло долго, потому что Луис никогда не спешил расти, не помогала даже тресковая печенъ в масле, так что Альберто был обречен получить лохмотья вместо брюк. Зато мои, купленные в магазине всего неделю назад, были безупречны. Пока я стоял под иланг-илангом, подтягивая носки и регулируя пряжки на брюках, чтобы триумфально взойти на заднее крыльцо, меня догнала Антония. Я спросил, как ей нравится мой новый наряд, и замер на месте, чтобы она могла меня хорошенько рассмотреть. Угасающий свет дня был глубок, как в пруду, и если бы я пошевелился, если бы пошевелилось хоть что-нибудь вокруг, то дремавшие в этом свете предметы беззвучно заколебались бы и лишь какое-то время спустя восстановили бы безупречность своих неподвижных форм. Антония улыбается и говорит, что я выгляжу “уэкс”¹. Дальше мы идем вместе.

1. Смысл этого выдуманного слова поясняется ниже. (Здесь и далее – прим. перев.)

- Ты задержался.
- Отцу нужно было навестить больного.
- А...
- Они уже здесь?
- Сидят на заднем крыльце.
- А Манекен?

– Я сто раз тебя предупреждала, что пожалуюсь маме, если ты будешь так называть дедулю...

- Где он?
- Ждет тебя.
- Кто?
- Манекен...

– А вот я пожалуюсь бабуле, что ты так называешь своего хозяина. Увидишь, как тебе влетит, дерзкая старуха...

Уединившись в музыкальной комнате, дед исполнял *“Гармоничного кузнеца”*¹. Мои двоюродные братья и сестры слушали его на заднем крыльце и умирали от смеха. Когда я попытался привлечь их внимание к своим брюкам-гольф, они от меня отмахнулись, потому что были увлечены подсчетом ошибок в дедовом исполнении, и при каждой новой неуклюжей ноте хватались за головы и хохотали до слез: любой из них мог сыграть лучше. Когда исполнение закончилось, Магдалена еще какое-то время выжидала, прежде чем пойти и сообщить деду о моем приходе.

- Могу спорить, ты не похвалишь Манекена...
- Могу спорить, что похваляю...

Выйдя из музыкальной комнаты, дед, моргая, надолго уставился на Магдалену, будто не узнал ее или видел впервые. Миниатюрный, сухонький, в нелепом приталенном костюме, он казался нам персонажем фарса, и мы в своих играх называли его Манекеном, потому что он был белокожим, совершенно белым, как статуэтка из старинного фарфора, и у нас даже была теория, будто он посыпают себя пудрой. Однажды, оставив кого-то из нас сторожить игравшего на пианино деда, мы побежали в его безукоризненную ванную разыскивать пудру, но так ее и не нашли.

- Наверно, он покрывает себя глазурью...
- ...или мажется какой-нибудь волшебной мазью.
- Нет, тут другое, скорее всего, он что-то принимает, ведь у него и шея такая, а шею глазурью не покроешь...

Толстуха Марта, чьи надежды похудеть мы развеяли, когда ей было лет девять, носила, подражая Манекену, тугой поясok и тешила себя надеждой, что хотя бы талией выйдет в деда.

- Как хорошо ты сегодня играл, дедуля!
- Ну, не знаю...
- Особенно эту часть.

- Да, жизнерадостно, но так играет Корто¹.
- Он продолжал смотреть на Магдалену и моргать.
- Мы все в сборе, дедуля.
- Тогда, может быть, зайдите в мой кабинет и составите мне ненадолго компанию?

Эта строгая церемония неукоснительно соблюдалась нами каждую субботу сразу же по приезде: торжественный, устоявшийся ритуал заменял нормальные отношения, которых дед не мог нам предложить. Только после нее мы получали свободу. Дед отводил нас в свой кабинет и, словно желая растопить лед отчуждения, угощал чудесными домашними альфеникес², которые хранил в банке из-под чая “Mazawatte”. Разговаривал он с нами минут десять. После чего почти переставал смотреть в нашу сторону и не удостоивал больше ни словом, даже замечаний нам не делал. Он редко бывал дома, а когда бывал, закрывался у себя в кабинете и играл бесконечные партии в шахматы с воображаемым противником, то есть с самим собой.

По воскресеньям, во время торжественных семейных обедов, на которых мы ели знаменитые эмпаeadы Виолеты, он сидел во главе стола, еще дальше от нас, чем родители и приглашенные родные, хранил безмолвие среди застольных споров и острот и ел свою безвкусную, бесцветную, безвредную для желудка пищу. На десерт ему подавали только белесое желе в форме звезд – одно и то же блюдо на протяжении всего моего детства. Там, на другом конце воскресного стола, вокруг которого сидят мои кузены, тети, дяди и гости, темная на фоне оконного проема голова деда поглощает полупрозрачные трепещущие звезды, на которых для меня сошелся клином белый свет. На своем конце стола я реву и топая ногами, потому что не хочу ни дыню, ни арбуз, ни сушеные персики, ни баварский крем, я хочу звезду. Бабуля, я хочу звезду, скажи дедуле, пусть он даст мне звезду, хочучу-хочучу-хочу, и я бросаю ложку в середину стола, и тогда мама вскакивает и идет ко мне, чтобы наказать, потому что я скверный мальчик... нет, не скверный, а избалованный, еще бы, единственный ребенок... такой маленький и такой невоспитанный, это уж чересчур. Нет-нет. Бабушкино “нет” звучит авторитетно и примирительно: нет, пусть ребенку принесут звезду, чтобы не плакал, о чем тут говорить, такие пустяки, ради бога! Она сама отрезает ложечкой кусок звезды и отправляет мне в рот... с непросохшими слезами на глазах я распробую его, но он невкусный, он совсем не тянет на звезду, и я выплевываю его на салфетку с вышитыми утятами, и тогда уж меня, визжа-

1. Альфред Дени Корто (1877–1962) – французский пианист, дирижер и педагог.

2. Карамель, приготовленная из сахара, воды и других ингредиентов.

щего, действительно вытаскивают из гостиной и наказывают за плохое поведение, в то время как мои родители, двоюродные братья, сестры и гости продолжают обедать за длинным столом и обсуждать, какой я невыносимый, под затихающие в недрах дома мои вопли.

Но дедушкины альфеникес действительно хороши. Устроившись в глубоком красном кресле и положив одну острую коленку на другую, он по очереди спрашивает нас о том, как идут дела в школе; десятичные дроби понять невозможно, впрочем, и простые тоже, у Луиса плохая оценка за дроби, труднее всего их делить. Вопрос деда, мой ответ, вопрос, следующий ответ, следующий вопрос, новые ответы – дознание, а не беседа, как будто мы безнадежные тупицы, неспособные поддержать десятиминутный разговор; лишь позже, много лет спустя, мы поняли, что Манекен уже тогда был глуховат, а потому допрашивал нас, а не разговаривал с нами. Иногда мы развлекались тем, что прятались за портьерой в музыкальной комнате и наблюдали за дедовой игрой: задыхаясь от смеха, мы слушали, как он по десять, а то и по двадцать раз подступает к “Гармоничному кузнецу”, склонив голову к клавиатуре тем ухом, которым еще хоть что-то слышал. В конце воскресного обеда дед объявлял, что хочет воспользоваться неформальными отношениями с присутствующими, вставал из-за стола, запирался в кабинете и слушал по радио воскресную оперу, пока мы, остальные, продвигались к концу своего гораздо более разнообразного меню, вдобавок поглощаемого совсем в другом ритме. Дед включал радиоприемник на полную громкость, так, что сотрясаясь весь дом, а сам – мы подглядывали за ним в щелку между портьерами – прижимался к нему ухом, чтобы хоть что-нибудь расслышать.

Когда мы были совсем маленькие, нас до дрожи пугал его взгляд во время субботних допросов – мы внятером стояли перед ним в шеренгу, по старшинству, и отвечали на его вопросы. Я хорошо помню этот взгляд. Нам казалось, что дед ни на чем его не фокусирует. Антония уверяла нас, что дедушка так смотрит, потому что он святой. Однако мы довольно быстро догадались, что, задавая нам вопросы, он не смотрел на нас вообще. Он смотрел на свое отражение в стеклах книжных шкафов, то поправляя без надобности галстук, то проводя рукой по тщательно прилизанному, словно нарисованному на голове волосам, то разглаживая на жилетке мельчайшие морщинки, словно хотел увидеть в этих стеклах безукоризненного себя на фоне мрачных тонов книжных переплетов. Наши ответы он не слышал отчасти из-за глухоты, но в основном из-за того, что они его не интересовали. А мы, почувствовав, что совершенно ему безразличны, расслаблялись и развлекали себя разными забавными открытиями: вот, например, из дедовых штанов с острыми, как ножи, стрелками свисают нелепейшие белые завязки, которыми он

подвязывал на щиколотках кальсоны, всегда, даже жарким летом, защищавшие его хрупкое тело.

Должны были пройти годы, прежде чем нелепость этих белых завязок отступила на второй план. Сейчас я думаю о дедовом эгоизме и безразличии к внешнему миру. Но думаю и о его одиночестве, когда он пытался не дать своим пальцам исказить до неузнаваемости мотив простейшей пьесы. Думаю о его тщеславии, о его молчаливом и беспомощном страхе перед наступающей старостью и глухотой. Мне ничего неизвестно о его жизни. Я не знаю, что он из себя представлял. Не знаю даже, представлял ли что-нибудь вообще, что-нибудь большее, чем та мафионетка, которую мы прозвали Манекеном. Возможно, сейчас, сидя за собственным письменным столом, я совершаю акт раскаяния, поняв, что на тот момент, когда дед начинает маячить в моем сознании, ему было не больше лет, чем мне сейчас, в то время как воспоминания о нем рождаются вместе с ощущением дряхлости и абсурда. Сейчас мне хочется думать, что дед все-таки понимал, насколько несуразно выглядел в наших глазах. И умышленно представлял на виду кальсонные завязки, чтобы, защитив себя дистанцированностью и ирреальностью фарса, не вступать в контакт ни с каким миром, кроме исключительно взрослого, в котором законы церафхии всегда стоят на первом месте. Таков был его способ izbавить себя от необходимости поддерживать с нами хоть сколько-нибудь человеческие отношения.

С другой стороны, мне кажется, что смех помогал нам маскировать свое недоумение. По крайней мере, в моем случае это так, сейчас я в этом уверен. Глядя на деда, такого претенциозного, отстраненного, пугающего, я чувствовал абсолютную невозможность какой-либо близости с этим существом. Однажды меня посетила мысль, что столь солидный возраст подразумевает изменения гораздо более таинственные и радикальные, чем те, которые я интуитивно себе представлял: полное перерождение клеток, изменение всех человеческих способностей. Нет. Мне не хотелось бы быть похожим на деда, ни в чем и никогда. Меня не оставляло ощущение – весьма размытое, конечно, – что дед принадлежит не к миру млекопитающих, как принадлежали к нему мы – я, бабушка, мои кузены, наши служанки и родители, – а совсем к другому, может быть, к царству насекомых с их удлинненными конечностями и угловатыми движениями, с их хрупкостью и ломкостью. Не знаю, как это лучше объяснить, но мне казалось, что, умерев, я буду гнить, и соки моей плоти растворятся в земле, а если умрет мой дед, то он, наоборот, усохнет и рассыплется, и ветер разнесет его останки, как пыль от обвалившихся руин.

Впрочем, хотя бы в одном дистанция между нами и дедом со служила мне добрую службу: мне удалось поверить, что я не самое странное и ошибочное творение природы (в чем постоянные ро-

дательские замечания должны были меня рано или поздно убедить), ведь дед был еще хуже! Я вместе с другими находился за пределами аквариума и видел, как он в нем бултыхается, наблюдал за его перемещениями, комментировал переливы его чешуи, вместе со всеми смеялся над уродливыми гримасами его жадного рта, когда он приближался к стеклу, не зная, что это стекло, но я-то знал, я-то, конечно, знал!

Пообщавшись с нами минут десять, дед отпускал нас со вздохом облегчения – хотя мы его не слышали, но легко могли себе представить. Выйдя из кабинета, мы тотчас забывали о дедке до конца своего пребывания в его собственном доме. Возможность вспомнить о нем возникала лишь тогда, когда кто-нибудь из взрослых велел нам замолчать, потому что дед выдвигал единственное требование к нашим визитам: сдерживать буйство и разговаривать тихо, чтобы не терзать его уязвимый слух. Мы росли, и, возможно, благодаря этому требованию наши игры утратили резвость гораздо раньше, чем игры других детей: беготню нам пришлось заменить воображением, а горластость – смелостью в суждениях.

Первоначально наш штаб в бабушкином доме располагался на заднем крыльце, на диване и креслах из синего плюша, которые прежде стояли в гостиной на месте купленного позже полосато-желтого гарнитура. Нас отправляли на заднее крыльцо для того, чтобы мы постоянно оставались под присмотром служанок, моловших в буфетной чучоку¹ для воскресной жареной индейки и ловко метавших на мраморный стол куски заварного теста – будущего печенья, альфеникес и мелькочас². Столь неуместная на крыльце, куда легко проникали дождь и солнце, синяя плюшевая мебель непрерывно разрушалась под действием всех стихий, усиленных нашими кульбитами и послеобеденным сном, но так до конца и не развалилась. В один прекрасный день, когда я был уже почти взрослый, плюшевая мебель навсегда исчезла, но нам даже не пришло в голову поинтересоваться, куда она подевалась, потому что в то время мы уже редко бывали на заднем крыльце: хорошенько изучив ограниченные возможности бабушкиного дома, мы пришли к выводу, что у крыльца их меньше всего.

Бабушка почти все дни проводила вне дома: ее предместья, ее развезды в маленькой машинке, которой она управляла сама, ее бедняки. Но субботы и воскресенья она оставляла для нас. Когда мы были совсем малышками, то лазили по ней, как по дереву, требуя сказок, сладостей, ласк, внимания и подарков, словно бабушка была неистощимым рогом изобилия. Став постарше, мы уже

1. Смесь из кукурузной муки для приготовления одноименного соуса.

2. Сладость наподобие медовых конфет.

не могли на нее взбираться, но само пребывание в ее доме по-прежнему воспринималось нами как физическое с ней соприкосновение, а дом – как продолжение ее тела и часть того же рога изобилия, который она придумала специально для нашего удовольствия. Конечно, нам запрещали входить в кабинет деда, и, думаю, я никогда не видел его большую полупустую спальню, только с порога. Рядом находился маленький альков, где спала бабушка. Напротив располагались спальни “девчушек” – моей матери и тети Мече времен их детства, с белыми лаковыми туалетными столиками, овальными зеркалами и пожелтевшими портретами Лесли Ховарда и Рональда Колмана на покрытых цветочным узором обоях – пугающе нежилые, несмотря на то, что Магдалена и Марта спали в них каждый раз, когда по субботам мы ночевали в бабушкином доме. Все это, а также гостиная, кабинет, музыкальная комната, буфетная, кладовые и кухня, находилось на нижнем этаже дома. Наверху была только одна просторная комната с балконом, предназначенная для хранения сундуков, где спали по субботам я и мои двоюродные братья. Дом был полон обычных и встроенных шкафов, погребов, фальшивых, спрятанных за шторой или заколоченных деревянными рейками дверей, которые ничего не стоило открыть; обклеенных сказочными этикетками чемоданов и баулов, формально защищенных от нас запретом вскрывать их при помощи изогнутой шпильки в поисках новых нарядов для игр; теней, наползающих друг на друга, влекущих за собой темноту, паутинок на потолках и неожиданных всплесков радости от распахнутого в сад окна, за которым в густой листве прячутся пятна света. Но больше всего нам нравились безголовые, обтянутые белой тканью портняжные манекены, которым мы давали имена бабушки, мамы и тети Мече, чтобы играть с ними в страшилки. И еще он был полон книг без обложек, разрозненных томов и дешевых изданий или просто вышедших из моды авторов: Бласко Ибаньеса, Бурже, Клода Фаррера, Паласио Вальдеса, Лоти, Мерешковского, Рикардо Леона, Мэри Вэбб, Мориса Декобра – забытых сейчас, забытых, возможно, уже тогда, а потому сложенных сыроватыми стопками в пустых гардеробах и в глубине обычных шкафов. В этих книгах мы знакомились с запретными темами, пока взрослые пребывали в уверенности, что мои сестры наслаждаются “Степной принцессой”¹, а мы – капитаном Марриетом². И горы пыльных журналов, так и не дождавшихся переплета. “Vogue” и “Ла Уаска” тех времен, когда дед еще ходил на бега, неистощимый “National Geographic” и розоватые не-

1. Книга немецкой романистки Евгении Йон (1825–1887), писавшей под псевдонимом Э. Марлитт.

2. Фредерик Марриет (1792–1848) – английский мореплаватель и писатель, автор приключенческих романов.

иллюстрированные книжки “Revue des Deux Mondes”, служившие нам кирпичами для постройки дворцов посреди парка – ковра с почти истертým узором. И шляпные коробки, битком набитые фотографиями незнакомых людей; иногда среди них мелькала бабушка на приеме в посольстве или человек, чертами лица похожий на деда, поедающий баранью ножку на каком-то допотопном пикнике. Еще в доме была прачечная и пошивочная мастерская, полная чрезвычайно занятых женщин, и запах утюга, и стопки белых, легких, как пена, дедовых рубашек, столь непохожих на затвердевшие до состояния картона рубашки моего отца. И близорукая портниха, мастерица чехлы, которой мы подрисовывали на стенах методично уничтожаемых ею москитов, и садовник, пьяница и враль, хватавший за ноги Магдалену, когда мы в качестве штрафа отправляли ее к нему с каким-нибудь поручением, чтобы она потом рассказала нам все, что вытворял Сегундо...

Субботними вечерами – окно открыто в летний сад, пурпурные чешуйки бугенвиллей сложились в сказочного, заглянувшего на наш балкон дракона – мы, трое кузенов, Луис, Альберто и я, ждем, когда бабушка и дед улягутся спать, а наши сестры Марта и Магдалена потихоньку поднимутся к нам в бельведер, чтобы начать новую игру.

Часть I

Он открывает дверь так осторожно, как будто боится обнаружить в кабинете что-то опасное, возникшее там за пять минут его отсутствия. Но на самом деле он боится расплескать чайник, за которым ходил в буфетную. Не слишком ли много в нем воды? Ногой он отодвигает электронагреватель к отопительной батарее, теперь уже не используемой, потому что нет смысла тратить деньги на обогрев всего особняка ради него и Чепы. Конечно, электронагреватель сушит воздух. Но он решил эту проблему покупкой небольшого чайничка: поставленное на три параллельные спирали, его приобретение будет потихоньку кипеть, смягчая воздух, пока не доведет до нужной кондиции как раз к его возвращению часа через полтора или два.

Действительно. Голубой эмалированный чайник переполнен. Если его так и оставить, вода может выплеснуться через край. Нужно что-то взять, эту вазу, например, и слить в нее воды не меньше чем на палец. Сколотая эмаль... конечно, служанки! Им ничего нельзя доверить, даже чайник, они все портят. Черный скол в его нижней части протянулся до самого дна и напоминает одно из тех родимых пятен, какие бывают на лице. Я думаю о ком-то малознакомом и неприятном,

но бывавшем здесь, в моем доме, у кого около губы такое же родимое пятно, похожее на черный скол эмали. Но кто... кто это может быть... впрочем, не важно. Важно то, что имена порой застревают где-то в закоулках мозга. Жаль, что по нему нельзя постучать, как по какому-нибудь механизму, чтобы потряхнуть эти имена наружу.

— Ладно, потом...

Но иногда они и потом не всплывают.

Он сливает воду в вазу Галье¹; они возвращаются, конечно, возвращаются. Его лицо озаряет улыбка, как будто в этом есть его заслуга. Он ставит чайник на электронагреватель, предварительно проведя пальцем по знакомой на ощупь неровности скола, и с неприятным чувством отдергивает руку.

Пока только с неприятным чувством. Позже оно может превратиться в страх. Даже в ужас. Сегодня, позже, в этот самый день. Потому что сделать это он решил непременно сегодня. Больше ждать нельзя. После обеда он не уйдет к себе в кабинет слушать оперу, а позовет в спальню зятя и покажет ему эту штуку. Он снимет рубашку и майку. Вообще-то она всегда была на этом месте, над левым соском. Но он не обращал на нее внимания, пока она не начала расти, темнеть на фоне белоснежной кожи, корявиться, как край сколотой эмали, ознаменовав тем самым мрачный поворот событий — поворот к началу конца. Он будет внимательнейшим образом следить за лицом, за тоном зятя, особенно за его тоном. Он хорошо знает этого человека с надменной физиономией молодого врача. Зять скажет, что ничего страшного нет, и как только он мог подумать, просто расшалившиеся нервы новоиспеченного пенсионера, и делать ничего не надо, но если уж ему так хочется получить результат биопсии, ну, просто ради своего спокойствия... Можно взять кусочек ткани на исследование. Но он будет начеку: слишком торопливая или слишком размеренная речь, непривычные акценты, чрезмерная сердечность, похлопывание по спине или попытка помочь надеть рубашку — не беспокойтесь, дон Альваро, я не думаю, что это серьезно, рак очень редко так себя проявляет, надевайте рубашку, не хватает только простудиться, — любая мелочь может выдать зятя и выпустить наружу страх уже сегодня. Эта штукавина стала расти. За последние три недели она втянула в себя пять волосков, которые прежде были свободны. И корявость... Обязательно сегодня, в это самое воскресенье. Он хотел сделать это еще на прошлой неделе, но удержался. Смиренное выражение, появлявшееся на лице зятя всякий раз,

1. Эмиль Галье (1846—1904) — французский художник, работавший со стеклом в стиле модерн.

когда он обращался к нему с какой-нибудь своей хворью, что-то вроде “приходится терпеть этого старого дурака”, пугало его гораздо больше, чем мысль о том, что в эти самые мгновения смертоносные метастазы обживают в самых любимых уголках его тела. Пятьдесят пять лет, декада рака. Четыре дня на то, чтобы сделать биопсию, все эти шаманские манипуляции, называемые у врачей “посевом”... и после короткой отсрочки — падение на дно кошмара и непрерывная бессонница до вечного сна.

Или нет.

Как знать? Может быть, в следующее воскресенье, в это же самое время, я, свободный от страха, буду, как и сейчас, собираться в дом Виолеты за эмпанадами, но уже с легким сердцем. В следующее и еще в пятьдесят, сто, тысячу воскресений потом, как и тысячу воскресений в прошлом.

Он смотрится в стекло самого большого из книжных шкафов. Нет, так не годится. Воротник перекинутого через руку пальто не должен быть вровень с нижним краем, нужно что-то поменять: воротник — на уровне Стендаля в зеленом тканевом переплете с лилиями, а подол — пониже, над томиком Карлейля, чей простенький переплет ему уже давно хочется поменять. Вернувшись домой, он проверит в газете, не проходит ли где-нибудь книжная распродажа, и, если голос зятя покажется ему спокойным, отметит свою радость покупкой книги. Например, Карлейля. В противном случае придется тебе, старина, довольствоваться тем простеньким, который есть, и вечер ты проведешь в кабинете за чтением “On heroes and hero worship”¹ — не худший вариант подготовки к смерти.

Подойди поближе к стеклу. Свет из окна бьет тебе в спину, так что ты почти себя не видишь. Но если встать к стеклу вплотную, затуманив его своим свежим, “листериновым” дыханием, и сразу его задержать, то ты увидишь гораздо больше подробностей, чем даже в ярко освещенном зеркале ванной, пока снова не выдохнешь и не исчезнешь, словно растворившись в облаках. Ты успеешь заметить: глаза у тебя слишком малы и близко посажены, это самая уязвимая часть твоего лица, и ты их не любишь, потому что именно по ним заметны годы, прошедшие совсем не бесследно, старина: выцветшая радужная оболочка, красноватый контур век, поредевшие, и раньше-то не слишком густые, ресницы... взгляни на свои, возможно, близкие к смерти глаза. Сейчас в них меньше силы, чем когда-либо раньше. Как будто метастазы уже обжили

1. Имеется в виду книга Томаса Карлейля “О героях, почитании героев и героическом в истории” (“On Heroes, Hero-Worship, & the Heroic in History”, 1841).

твою печень, простату, мозг, колени, мочевого пузырь и со-
сут жизненные силы из всего организма. И кожа. Прикоснись
к ней в этом старинном стекле. Ощути чуткими кончиками
пальцев симметричные изъяны: песчинка в стекле над буквой
“П” в слове “Прескотт” совпадает с маленьким порезом, кото-
рый ты нанес себе сегодня утром, бреясь, — хотя, может
быть, он уже был на этом месте раньше, там, где шея перехо-
дит в челюсть.

Она узнает обо всем последней. Он заставит зятя дать ему
слово, поклясться, как клянутся человеку, который хочет сам
распорядиться своей смертью, не желая никого к ней подпус-
кать. Она всегда смеялась над его чистоплюйством. Не уважа-
ла жертвенности его диет и фумигаций, поэтому она узнает
последней. Он распорядится, чтобы ей сообщили, когда уже
ничего нельзя будет сделать: например, когда его придется
положить в больницу, или он будет вынужден слечь в постель
дома, предоставив себя чужим заботам. Пусть остается в неве-
дении. Это было бы элегантной мстью, если бы он хотел
мстить. Но дело не в этом. Оценившаяся сука, брошенная на
подстилку, вот кто она такая, с голодными, прильнувшими к
ее соскам щенками, недовольная, если не чувствует их жад-
ных, помогающих ей, заботящихся о ней, утешающих ее, со-
чувствующих ртов у своей груди. Нет, ей не удастся принять
участие в его смерти. Это не месть. Это страх, что у него от-
нимут смерть.

— ...ты же видишь, как странно ведет себя Тринидад. Есте-
весы уверяют, будто ее норковое манто ничего из себя не
представляет. Но мне, как человеку несведущему, оно кажется
великолепным. Тринидад, конечно, обожает напускать ту-
ману. Когда-то она мне говорила, что Марио купил манто в
Париже. А вчера вдруг выяснилось, что вовсе в Лондоне. Но,
как бы там ни было, она убеждена, что ее норка — самая луч-
шая в мире. И знаешь, она даже посоветовала мне уговорить
тебя купить и мне такую: сказала, что знакома с одной амери-
канкой, которая возвращается обратно в США и распродает
свой гардероб... Кто-то ей сказал, что женский орден Почет-
ного легиона — это норковое манто... Можешь себе предста-
вить меня в норковом манто, в мои-то годы? И ради чего, хо-
тела бы я знать! Чтобы одалживать его деревенщине Росите
Ларе, когда она отправится на панель, потому что Лара про-
пил всю недельную зарплату? Знаешь, если на старости лет я
превращусь в такое же посмешище, как Тринидад, то пусть
меня усыпят у ветеринара. Она рассказывала, как ее норку ох-
раняли в Лондоне. Такая страховка, такие деньжищи, уму не-
постижимо, и она уверена, что у Скотланд-Ярда нет других за-
бот, как только охранять ее знаменитое манто. И конечно,
все Эстевесы...

Стоя нагишом у себя в ванной перед зеркалом, он приоткрывает дверь, чтобы слышать доносящийся из алькова голос. Сегодня он не закрыл дверь и оставил Чепу в пределах досягаемости на тот случай, если, сняв пижамную куртку, обнаружит, что пятно за ночь расплзлось, по-паучьи охватив всю грудь, и тогда — но только тогда — он закричал бы, призывая на помощь: Чепа, Чепа, я умираю.

К зеркалу он подошел после того, как принял душ и вытерся полотенцем: еще один волосок, который вчера находился на границе, сегодня оказался втянутым внутрь. Пять волосков. Сердце его под этой нашлапкой, расположившейся на груди, как орден, екнуло и сжалось. Впрочем, повода кричать пока нет. Есть повод не откладывать консультацию у зятя, но не кричать. Он потрогал эту бляшку, этот не знакомый жене орден, о котором он не мог ни говорить, ни наводить справки, в отличие от того, другого — ордена Почетного легиона, такой же шероховатой штуковины, обещанной ему за сотрудничество с местной французской общиной во время войны, но так и не полученной, возможно потому, что об этом слишком много говорили. Не надо было позволять Чепе судачить о награде раньше, чем ее повесили ему на грудь.

Песчинка над “П” в слове “Прескотт”. Белыми пальцами нотариуса он оттягивает кожу на скуле к виску. Нет. Пятдесят пять — это рано! Пока еще нет! Он смотрит на часы. Время поджигает. Надев пальто, он закрывает за собой дверь кабинета. В гостиной служанка пылесосит ковер “Wilton”.

— Я к Виолете, за эмпанадами к обеду. Скоро вернусь...

— Хорошо, сеньор...

Зачем он это говорит? Она и так знает, что каждое воскресенье утром в это время он отправляется к Виолете за эмпанадами. Однако тот факт, что он ничего не сказал жене, удержался от крика, оставив ее в уверенности, что ежедневный ритуал с “Люксом”, “Одором”, “Колгейтом”, “Листерином” и “Ярдли”¹ продолжался обычные два часа, вынуждает его хоть что-то хоть кому-то сказать, пусть даже такую ерунду — служанке, которой и без того все известно. Может быть, сообщить Виолете? Может быть, ей, столько лет заботившейся о нем, уже что-то бросилось в глаза? И все-таки — нет. Он и ей ничего не скажет. Потом, все потом.

В саду звуки не так назойливы, как дома: растворившаяся в облаках птица, проезжающая машина, барабанная дробь капели в водосточной трубе, смех ребенка где-то позади дома, отдаленные звуки радио. Он открывает гараж. Две машины стоят бок о бок: массивная, серо-стальная — его, а рядом при-

1. Косметические и гигиенические средства.

тулилась почти круглая синяя машинка Чепы. Как-то даже непристойно выглядит эта кокетливая близость дамской машинки рядом с мужской в этой их общей постели... что за нелепость! Он и представить себе не мог, что женщина может так наслаждаться менопаузой, как Чепка наслаждается ранним наступлением своей: вздох облегчения, выход на пенсию, метаболическое алиби. Она просто не хочет. Ей никогда не нравилась физическая близость. И вдруг она с каким-то намеком ставит свою машину рядом с его. Сколько лет они с обоюдного согласия и к общему спокойствию не спят в одной спальне? Сперва причиной были девочки: нужно было спать с открытой дверью, чтобы услышать, если что-нибудь случится. Что именно? Да что угодно! Болезнь, например, а позже, когда дочери стали ходить на вечеринки, нельзя было пропустить момент их возвращения домой. Потом пошли внуки: воскресным утром она валяется в постели с пятью внуками, которые скачут в пижамах по кровати, сосут пустышки, мелют вздор, и читает им, пригревшимся в тепле кормящей суки, детские сказки. И, конечно, ее нищие. С каждым днем они для нее все важнее. Она боится, что внуки вырастут. Что Мече и Пина их у нее отнимут. Но ни ту, ни другую материнские заботы совершенно не прельщают, и они с удовольствием поручают ей своих чад. Впрочем, все это до тех пор, пока детям не наскучит, пока они не найдут себе других друзей, другие интересы в школе и не оставят ее одну... и тогда ей придется довольствоваться только своими нищими. Каждый день она уходит рано, возвращается чуть ли не ночью. Оставляет его одного, без дела, сейчас, когда он только что вышел на пенсию! Даже не спрашивает, какие у него планы, не предлагает заняться чем-нибудь вместе, как делают другие супружеские пары в их возрасте и положении: сходить, например, в кино, навестить родственников или нанести визит вежливости знакомым. Она уходит. Неизвестно куда. Хотя, конечно! К своим вшивым! А вечером возвращается домой лохматая, в грязных туфлях, провонявшая парафином и горелыми дровами. Этот запах он чувствует даже через стол, когда они садятся съесть что-нибудь легкое: тарелку диетического супа или чаркуикану¹, и она рассказывает ему, как прошел день. Если бы не ее заверения, что для пенсии он слишком молод, он бы на нее, возможно, и не вышел.

Выезжая из гаража, он осторожно сдает назад, стараясь не коснуться тела Чепы. Дорожка через двор. У ворот он останавливает машину. Еще бы. И после этого Чепка будет обвинять его в том, что он не считается с людьми! Другой на его

1. Блюдо из тушеного мяса и овощей.

месте посигналил бы из машины, чтобы кто-нибудь из служанок открыл и закрыл за ним ворота. Но только не он, и это в такую-то сырость и дождь! Бедняжки уже староваты. Вечно копошатся, ничего не могут довести до конца, цепь валится у них из рук, они в ней запутываются... нет, лучше я сам. Несмотря на мнение Чепы (конечно, прямо она его не высказывает, никогда бы не посмела, но имеет в виду, как и многое другое), с людьми я считаюсь. Он выходит из машины, открывает ворота и выезжает на улицу.

Снова выходит, думая о том, что надо было бы надеть что-то потеплее, шерстяное белье например, потому что наползает полупрозрачный, липкий, промозглый туман, даже не туман, а мелкая морось, от которой холод пробирает до костей. Он закрывает ворота: одну створку, вторую, запирает их на цепь. Ворота требуют починки. Если бы Чепа почаще бывала дома, то давно смогла бы этим заняться: позвать кого-нибудь из своих подопечных, и дело уладилось бы за пару часов. Но чинить их нужно как можно скорей, особенно когда вокруг слоняются такие типы, как тот.

Человек как будто прячется за акацией, но вдруг размытое пятно выдвигается вперед и становится более четким: шарф на шее закрывает рот, руки в карманах брюк, плечи поникли. Незнакомец делает нерешительный шаг в его сторону, останавливается, снова делает пару шагов. Заперев ворота, Альваро ждет, сжав кулаки.

— Дон Альваро...

— Да...

Почему он закрывает рот шарфом?

Прежде всего глаза: сломленные, молящие, как у попрошайки возле церковных ворот, потерявшие на той части побитого нищетой лица, которая остается открытой. Однако он прихорошился. Приукрасил себя так, что даже смешно. Падшие люди не заботятся о своей красоте. Но у этого кое-что осталось. Да, намаженный чуб. Больше ничего, потому что рубашка несвежая, а синий мешковатый костюм выцвел до такой степени, что кажется лиловым. Но чуб его грациозен и лих, несмотря на дождь и тусклые глаза.

— Добрый день, дон Альваро...

— Добрый день...

Альваро придерживает дверцу машины. Поскольку незнакомец не решаетесь продолжать разговор и просто стоит, трясясь под мелким, намочившим ему плечи дождем, Альваро садится в машину и захлопывает дверцу. Затем немного опускает стекло. Теперь лицо этого человека находится в нескольких сантиметрах от него. Почему он не снимает шарф, если собирается что-то сказать?

— В чем дело?

- Дон Альваро...
- Что тебе нужно?
- Сеньора Чепи...
- Она еще не встала.
- А...
- Сегодня воскресенье...
- Да, конечно. Когда я смогу с ней поговорить?
- Ты из предместья?
- Нет...
- Кто ты такой?

Вопрос сразу же становится лишним. Хотя его имени Альваро не знает, но точно знает: если отодвинуть от его лица шарф, то над верхней губой окажется родимое пятно. Это он. Нищий не отвечает. Мне следует знать его имя? Плохо то, что он его знал, но забыл. Однажды в воскресенье этот человек обедал у него в буфетной, громко пересмеиваясь со служанками, он даже помнит этот смех, а вот имя ускользнуло. Пар от его дыхания пробивается сквозь шарф. Если бы он открыл родимое пятно, если бы Альваро смог увидеть его, изуродовавшее верхнюю губу, как смертельный скол эмали, то, возможно, вспомнил бы, кто он такой. Но для чего ему это нужно? Очередной Чепин нищий с вечными жалкими проблемами: болен ребенок, жена ушла к другому, у меня постоянно колет вот здесь, мне нужно свидетельство о рождении, но я не знаю, где его взять, в доме протекает крыша, соседка украла кастрюлю, сеньора Чепи, Бога ради, что мне делать, если я переехал из другого предместья...

Альваро заводит двигатель.

- Кто ты такой?
- Вы меня не помните?
- Нет...
- Майя...

Шея дона Альваро деревенеет. Майя. Ну конечно, тот самый оборванец с родимым пятном на губе, который донимал Чепу несколько лет назад. Альваро обратил на него внимание в то воскресное утро, когда заглянул на кухню, чтобы узнать, кто так громко пересмеивается с прислугой. Как же рыдала Чепи, когда этот Майя исчез! Но вот уже почти год, как она не упоминает его имени и не плачет, потому что нищий так и не вернулся, оголодав, искать сосцы оценившейся суки, которой нужно, чтобы ее срочно облегчили. Да, немало слез она пролила. Даже больше, чем... впрочем, он никогда не видел, чтобы она так рыдала. Да и не мог видеть, ведь, как он сейчас сообразил, тогда она рыдала впервые за тридцать лет их совместной жизни.

- Что ты здесь делаешь?
- Э-э...

— Сеньора думала, что ты умер.

— Дело в том...

— И что тебе теперь нужно?

Голос Альваро становится резким.

— Я хотел ее побеспокоить, потому что...

— Ну конечно, побеспокоить, как всегда побеспокоить! Только за этим вы сюда и таскаетесь. Чтобы выжать из нее все, что можно, попользоваться человеком, и ты хуже всех остальных...

— Я не...

— Сеньора на тебя зла. Она говорила мне, что ты даже денег ей задолжал. Сказала, что ты неблагодарный преступник, и она больше видеть тебя не желает...

— Она сказала, что я преступник?

— Именно так она и сказала...

Глаза Майи впиваются в глаза Альваро.

— Нет, сеньора этого не говорила.

— Да как ты смеешь, жалкий оборванец? Вообразил, что знаешь ее лучше меня? Она не хочет тебя видеть. Понятно? Все, уходи. Говорю тебе, проваливай, да побыстрей...

Шарф сползает с его рта — родимое пятно на месте, ужасное, черное, корявое, ошетилившееся небрежно подстриженными волосками, похожее на отвратительное насекомое, которое выползло из его внутренностей и добралось до губы. Но глаза его снова померкли, смирились, потерялись на этом лишенном выразительности лице.

— Все... я тебе сказал. Пошевеливайся...

— Она так сказала?

— Да, она так сказала. Сказала, что, если ты объявишься снова, она вызовет карабинеров, чтобы тебя уpekли за решетку. На этот раз навсегда. Сколько ты ей должен? Думаю, немало. Ты ей давно надоел.

— Надоел?

— Это ее собственные слова. С меня довольно. Больше я этого Майя не прошу, очередной проходимец из тех, что пользуются моей добротой...

— Стало быть, она меня больше не простит?

— А сколько можно тебя прощать? Всему есть предел. Если ты еще хоть раз ее побеспокоишь, я сделаю так, что тебя объявят в розыск, и через суд взыщу с тебя долги. Как тебе известно, я адвокат...

— Она знает, что у меня ничего нет.

А если у тебя ничего нет, то какое право ты имеешь ходить с таким напояженным чубом? Альваро закрывает окно. Майя подходит вплотную к стеклу и начинает что-то быстро говорить, жестикулируя, поднимая плечи и брови, впрочем, ни на чем не акцентируясь, ничего не выделяя, — его речь по-

хожа на размытый фон выцветшей фотографии. Я его не слышу. В холодную погоду я особенно плохо слышу. Окно закрыто, мотор работает, а Майа за стеклом все говорит и шевелит бровями, неспособными придать выражение этим смиренным, стеклянным глазам, которые пытаются разглядеть меня через запотевшее от его дыхания стекло...

— Послушай. Уходи, тебе говорят.

Майа отступает на шаг. Затем разворачивается и исчезает.

Каждое воскресенье Альваро Вивес выходит из дома рано утром, чтобы отправиться к Виолете за эмпанадами. Неспешная поездка на другой конец города, всегда по одним и тем же улицам, нравится ему не только спокойствием непрерываемой рутины, но и тем, что эмпанады Виолеты действительно бесподобны, и воскресный обед в доме Чепы и Альваро Вивесов — повторяют побывавшие в их доме родственники и друзья — не был бы таким особым без эмпанад Виолеты, их ароматного, невесомого теста с идеально приправленным специями фаршем. Да, после одной-единственной эмпанады, съеденной в доме Вивесов, любая другая покажется пирогом из тряпок с отдающей несвежим душком начинкой.

Собственно, ничего удивительного в этом нет: все понятно, что стол в доме родителей Альваро славился своей креольской кухней, а Виолета поступила к ним помощницей кухарки еще совсем девчонкой. Позднее, когда госпоже Элене пришлось, как и всему свету, сократить расходы, Виолета осталась при ней кухаркой и прослужила в доме до самой смерти хозяйки, то есть три десятка лет. Поэтому никого не удивило, что в своем завещании госпожа Элена не обошла Виолету. Этого даже ждали. Было оглашено дополнение к завещанию, согласно которому хозяйка отписала служанке симпатичный домик, а также ценные бумаги с небольшим доходом, позволявшим ей больше не работать до конца своих дней. Вся родня обсуждала щедрость госпожи Элены, хотя никто не стал бы спорить, что служанка оставалась преданной хозяйке до самого конца и даже взяла на себя роль экономки, а уж в ее кулинарных талантах никто усомниться не мог. Но как же Марелья? Чем объяснить, тихо недоумевали некоторые бедные родственники, известные своим безупречным поведением, но обойденные в завещании, что такая консервативная, строгих правил дама, как госпожа Элена, не только простила Виолете “опрометчивый шаг” и оставила ее при себе, но даже вознаградила за то, за что в ужасе осудила бы любую другую?

Чрезмерная щедрость матери смутила Альваро только в первую минуту, заставив почувствовать себя пойманным на воровстве конфет мальчишкой. Однако, промучившись неко-

торое время сомнениями, он пришел к выводу, что такое решение было предсказуемо: его мать была женщиной своеобразной. Проводя почти все время на веранде за молитвами и рукоделием и никогда не позволяя себе ни расспросов, ни подозрений, она каким-то образом в конце концов все узнала. И, видимо, простила. Очень скоро после ее смерти Альваро убедил себя в том, что вызвавшее столько пересудов завещание было определенной компенсацией Виолете, оплатой, как в нем говорилось, “предоставленных услуг” без уточнения самих услуг. Он понял, что, воспользовавшись непрозрачностью юридических формулировок, мать в первый и последний раз в жизни изменила своей сдержанности и из глубины могилы упомянула некие услуги, оказанные Виолетой очень давно, еще до его женитьбы на Чепе. Если бы мать считала, что он — отец Мирельи, то, безусловно, оставила бы служанке гораздо больше.

Альваро был назначен душеприказчиком. С удовольствием отдав Виолете предпочтение перед остальными наследниками, он сам решил, какой из всех однотипных домиков квартала будет для нее наиболее удобным. И выбрал самый лучший. В самом лучшем состоянии. Наиболее удачно расположенный по отношению к главной улице, что дополнительно повышало его цену. И каждые полгода привозил Виолете дивиденды в новеньких купюрах, за которыми сам ездил в банк. Для женщины, никогда не мечтавшей ни о собственном доме, ни о жизни в достатке, все это оказалось настоящим подарком. По иронии судьбы, думал Альваро, своим благополучием Виолета в большой степени обязана ему. А родня, придя однажды к выводу, что своим завещанием госпожа Элена переоценила заслуги Виолеты, вскоре полностью о ней забыла, что вполне логично, если учесть, что тот же самый документ дал повод для гораздо более серьезной критики, сожалений и молчаливого недовольства. Альваро был признателен матери за то, что, сделав благородный жест, она сняла камень с его души. Впрочем, нужно признать, что камень этот никогда не лишал его сна. И не без причин. Доказательством тому была Мирелья...

Когда имущество покойной было распределено, Виолета въехала в новый дом с небольшим количеством скарба, купленного ею на скопленные деньги, и с большим количеством хлама, перевезенного из дома сеньоры Элены: столами, ширмами, креслами, подставками для растений и огромной литографией на историческую тему в монументальной раме, которые никому, включая даже самых бедных родственников, не приглянулись не по причине своей ветхости, а по причине своей старомодности.

Утром первого же после переезда воскресенья Виолета явилась в буфетную Альваро Вивеса вместе с аккуратно при-

чесанной, одеревеневшей от крахмала Мирельей и с накрытой белоснежной салфеткой корзиной своих бесподобных эмпанад. Ах, эмпанады Виолеты, эмпанады Виолеты!.. Чепа и девочки обступили корзинку, на соблазнительный запах вышел из кабинета даже Альваро, хотя состояние его несчастного желудка не позволяло ему к ним прикоснуться. Чепа изобразила притворную гримасу.

...ах, Виолета... своими эмпанадами ты разбередила мне душу! Мне показалось, будто бедная сеньора Элена жива, и дом на улице Агустинас, и все-все остальное...

В следующее воскресенье Виолета снова принесла эмпанады, и в следующее тоже, и через неделю. Она являлась каждое воскресенье, держа в одной руке корзинку, в другой — руку Мирельи, и оставалась у них в буфетной обедать. После обеда Мече и Пина уводили Мирелью играть. Они развлекались тем, что красили ее, как куклу, делали ей экстравагантные прически, подсмотренные у киноактрис, а она со слезами терпела, потому что не могла дать отпор двум взрослым девушкам, заставлявшим ее сидеть смирно, пока они совали ей в волосы горячие щипцы. Она ненавидела ходить к Вивесам. И каждое воскресенье отбивалась, пока мать ее одевала. Ей хотелось остаться дома, гулять с соседскими детьми, она любила, когда мать отправляла ее в угловой магазин за хлебом и матэ. Мирелья ненавидела дом этих людей, вздумавших, по слухам, запереть ее в школе, чтобы она “кем-нибудь” стала. Как будто для этого надо учиться!

Виолета постарела. Ее тело, остававшееся белым и упругим, пока она работала, от праздной жизни стало дряблым, синюшным, и любая деятельность требовала от нее теперь невероятных усилий. Иногда Альваро задавал себе вопрос, почему Виолета, которая была всего на четыре года старше него, так сильно сдала. Она уже не могла приносить им по воскресеньям корзинку, и теперь он сам ездил к ней, чтобы забрать эмпанады и оставить деньги на следующую неделю. Потому что если сперва Вивесы воспринимали эмпанады как попытку Виолеты поддержать отношения с благодетельствовавшим ее семейством, то позднее, когда ее визиты вошли в привычку, превратились в ритуал, принимать такие подарки стало невозможно. Во-первых, семья росла, и первоначальной дюжины уже не хватало, особенно с учетом аппетита всех зятеев и внуков. Вивесы начали оплачивать Виолете “сырье”, а она вносила свой труд — но, послушай, ты ведь усташь, а Мирелья тебе не помогает! Нет уж, сеньора, позвольте, я прекрасно справляюсь, вы всегда были ко мне так добры, сил замесить тесто мне пока хватает, и как вам только в голову пришло платить! Вивесам не оставалось ничего другого, как принимать ее труд и мастерство в подарок.

Какое-то время Виолета отправляла с эмпанадами Мирелью. Однако, став постарше, дочь отказалась совершать эти лакейские визиты. Мирелья была влюблена в молодого брюнета с низко заросшим лбом — механика из автомастерской, которую открыли на углу взамен снесенной бакалеи. Механик подстрекал Мирелью к бунту. Бедняга Виолета не знала, что и делать. Никакая человеческая сила не могла удержать девчонку в школах, за которые платили Вивесы: ее отовсюду выгоняли, и не за плохое поведение, а за лень, за то, что мысли ее витали неизвестно где, занятые Фаусто и подружками по кварталу, с которыми она проводила время. Мирелья терпеть не могла Вивесов и отказывалась их посещать. Виолета пролила немало слез и даже имела разговор с госпожой Чепой. После разговора Чепе заперлась с Мирельей в музыкальной комнате и прочитала ей нотацию, но девчонка лишь рассеянно теребила оборки и запускала пальцы в нос. Бессмысленная затея.

— Очень современный ребенок. Что делать, пристрастилась ко всем этим танцулькам и фильмам! А я так мечтала выучить ее на медсестру, чтоб у нее был собственный доход, чтобы она кем-нибудь стала. Ей кажется, что ее мать миллионерша, настоящая миллионерша! Я уже несколько раз встречала девчонку размалеванной, как обезьяна. Невозможно поверить, что ребенок, родившийся в таком доме, как дом сеньоры Элены, вырос таким... таким не утонченным по сравнению даже с бедняжкой Виолетой...

— Ах, мама! Ты только представь себе, Мече: утонченная Мирелья! Уж эти мамины идеи!..

С тех пор за эмпанадами стал ездить Альваро. Пока Виолета укладывала их в корзинку аккуратной спиралью, чтобы не помять (одна из уловок, особо умилавшая Чепу), Альваро ждал и читал газету. Он никогда не отказывался немного задержаться, составить Виолете компанию и выслушать, что с Мирельей нет никакого сладу, что ее выгнали из школы, что Фаусто больше не работает в угловой мастерской, и теперь невозможно узнать, где пропадает девчонка, что она хочет выйти за него замуж, что она вышла за него замуж, что теперь пойдут дети, что она потеряла первенца, что теперь потеряла второго, что во рту у нее уже ни единого зуба, что Фаусто шляется по ночам... и что сама Виолета в последнее время чувствует себя неважно. Сегодня он между делом сообщит ей, что собирается прислать к ней врача, своего дальнего родственника, доктора Баскуньяна, она его хорошо знает: того самого, с которым он консультируется по поводу всяких незначительных хворей, когда не смеет беспокоить ими зятя. Виолета слишком располнела. Передвигаясь, волочет по полу тапки — единственную обувь, которую еще способны вы-

терпеть ее бесформенные ноги, и беспрерывно пыхтит, как медленно, меланхолично закипающий чайник. Виолета всегда умела найти причину, чтобы не ходить по врачам. Но сегодня после обеда Альваро позвонит Клементе Баскуньяну, к тому же одному из самых горячих поклонников ее эмпанад. Столько раз он уже собирался ему позвонить!..

Пока он паркует машину возле дома, его рука заметно дрожит, и он снимает перчатку, просовывает пальцы между пуговицами рубашки и нащупывает под майкой родинку, которая за время поездки могла разрастись до шести волосков. Такое вполне возможно. Он хочет их сосчитать. Квартал однотипных домов — входная дверь, два окна на кирпичной неоштукатуренной стене — совершенно безлюден. Никто меня не увидит. Никто не заметит, если я расстегну по две пуговицы на жилете и рубашке и привстану, чтобы разглядеть ее в зеркале заднего вида. А вдруг из какого-нибудь окна за мной кто-то наблюдает и посмеется над моей нелепой позой? Хотя что в ней нелепого?

Фаусто не сидит в припаркованной перед ним машине. Если можно назвать машиной эту гибридную колымагу, собранную из деталей от разных машин, с ящиками из-под сахара вместо сидений. Но если его нет в машине, значит, он в доме Виолеты. Они наконец-то помирились? Передумав, Альваро убирает руку от груди. Ему не хочется встречаться с Фаусто и Мирельей, еще меньше он ищет знакомства с пресловутой Маруксой Жаклин, которую они наверняка привезли с собой, если приехали впервые после ссоры. Их отношения с Виолетой испортились после того, как Фаусто отказался пригласить на свадьбу Вивесов — донна Альваро, сеньору Чепу и “девочек” с мужьями.

— Но почему, Фаусто?

— Они нам не родня. Родня нам только вы.

— Не понимаю...

— А Мирелья им не прислуга.

Да разве ее кто-то так называл? Фаусто мелочный и твердолобый. Ничего в нем нет, кроме спеси, сокрушалась Виолета, а уж о том, что хвостун, и говорить не приходится, ни денег, ни образования, хотя, конечно, работающий, этого не отнимешь. Но когда Фаусто отказался пригласить Вивесов на крестины Маруксы Жаклин, Виолета не вытерпела. То, что крестной матерью ребенка стала не госпожа Чепе, а кассирша из ближайшего кинотеатра, — это было уже слишком, и она выгнала их из дома. Они переехали в дом родителей Фаусто — по слухам, убогую развалюху. Чепе смертельно оскорбилась. Она предлагала все устроить. Вечернее платье Мече с небольшим количеством тюля на месте декольте чудесно по-

дошло бы Мирелье на свадьбу, а ребенка они назвали бы... но никто не спросил ее совета. Ее даже не пригласили. Виолета из солидарности с Вивесами тоже не пошла на крестины. В церкви не оказалось никого, кто помешал бы назвать новорожденную Маруксой Жаклин. Весьма в духе семейства Фаусто. Марукса Жаклин, что может быть ужасней! Чепа несколько дней ходила белая от злости.

— Нет, я не злюсь. С какой стати? Но пусть только придут у меня что-то просить. Тогда они узнают. Нет, я нисколько не сомневаюсь, что у них были все основания нас не приглашать... Но они у меня узнают, если захотят, чтобы я помогла им со всей этой возней в жилищной кассе¹ или с больничной картой... тогда они увидят, потому что я им прямо все скажу.

Прямо все скажу, а потом, естественно, займусь судьбой Фаусто, Мирельи и Маруксы Жаклин (Чепа наверняка добилась бы даже того, чтобы имя девочки сменили на то, которое хотела она, — Анхелика). Альваро звонит в дверь. Если открывает Фаусто, сделаю вид, что ничего не случилось. В конце концов, он даже сделал мне одолжение, когда не пригласил на свадьбу и крестины, потому что я бы все равно не пошел, а так не пришлось огорчать Виолету.

Дверь открывает Фаусто.

— Добрый день, дон Альваро, проходите...

— Здорово, приятель. Твоя машина?

Фаусто просит немного подождать: эмпанады еще не готовы, Виолета отвлеклась на Маруксу Жаклин. Но где-нибудь через полчаса...

— Дон Альваро, может быть, зайдете?

— Нет, спасибо, я лучше здесь подожду.

Фаусто нахохливается, как петух. Обижаться надо мне, сопляк ты эдакий, приглашает меня в дом Виолеты, как будто он здесь хозяин, — явно подумывает о ее смерти и о хорошем наследстве, которое ему перепадет. Но Виолета не умрет. Никогда. А ты будешь вечно дожидаться, пока не зачахнешь вместе со своей женой и Маруксой Жаклин, совершенно чужими нам людьми. Пожалуй, зайду. Хочу видеть Виолету.

— Хорошо, я зайду.

Еще какое-то время они топчутся вокруг его “крайслера”, и Фаусто, восхищенный красотой и мощностью машины, немного смягчается. Он открывает капот и, как белка, заныряет под крышку, чтобы объяснить Альваро устройство какого-то ме-

1. Государственное агентство, созданное в 1936 г. и просуществовавшее до 1952 г. Занималось обеспечением бедного населения Чили социальным жильем.

ханизма, показывает кольцо, гайку, что-то мелкое, но особенное, что делает “крайслер” по-настоящему необыкновенным. Альваро слушает его разглагольствования. Стоя перед открытым двигателем и упираясь ногой в бампер, Фаусто закуривает сигарету и говорит о том, в чем он дока. Он — младший партнер в небольшой автомастерской, в соседнем квартале. Начинает накрапывать дождь, и они идут к двери.

Эмпанады благоухают на весь дом ароматом горячего, поджаристого теста, лука, острого перца и кипящего в слоеной оболочке красного мясного сока, возрождая в самой глубине его детских воспоминаний этот божественный воскресный запах. Он садится на застекленной веранде и разворачивает газету. Виолета громко приветствует его со двора и подзывает Фаусто.

— С вашего разрешения, дон Альваро.

— Иди-иди, конечно!

Альваро видит, что Виолета отчитывает Фаусто. Она требует, чтобы он извинился за предполагаемые обиды, нанесенные семейству Вивесов. Промокая краем фартука потное лицо, она идет на веранду, чтобы поздороваться с Альваро, в то время как Фаусто остается понуро стоять возле кухни. Привалившись к косяку, он закуривает сигарету и сует руку в карман. Из кухни доносится крик младенца. Встрепенувшись, Фаусто бросает окурочек и уходит в кухню. Сквозь шорох дождя, поливающего глинобитный двор, журчащего в водосточках и капающего с навесов, Альваро слышит, как Фаусто что-то напевает не прекращающей вопить Маруксе Жаклин.

— Такой неотесанный этот Фаусто. С девочкой что-то не в порядке, скажу я вам, дон Альваро. Ночью покакала чем-то непонятно белым.

— Но ты довольна.

— Дело пошло на лад. Похоже, они ко мне переезжают. Вчера Мирелья поругалась со свекровью. Говорит, что согласна извиниться перед вашей семьей. Ослиная башка у них он...

— Виолета, перестань, ради бога! Я, между прочим, с ним сейчас говорил, и он был сама любезность, что тебе еще надо!

— Нет-нет, дон Альваро, мне надо.

— Но зачем?

— Обида есть обида. Вы знаете, я никогда не считала себя хозяйкой этого дома. Ваша матушка предоставила его мне в пользование, только и всего, а так — он ваш, и после меня должен к вам вернуться...

— Не говори глупости, Виолета, если не хочешь, чтобы я на тебя разозлился. Дом твой, твоей дочери и твоей внучки...

— Да, я знаю, но если они сегодня же не поедут к сеньоре Чепе показать малышку, сегодня же, после обеда, то вечером я не пушу их ночевать. А если все пойдет еще хуже, отпишу вам дом по завещанию...

Из кухни ее окликает Мирелья, и Виолета поспешно уходит. Лучше бы я остался в машине. Эта атмосфера младенческих криков и какашек, наследства и протекающих в подставленные ночные горшки и тазы потолков! Почему она не устраняет протечки? Денег у нее предостаточно. Видать, бедняжка стала скрягой. На старости лет. Как те старухи, что зашивают деньги в матрас. Альваро слегка меняет позу, чтобы торчащая из синего плюшевого дивана пружина не впивалась ему в годицу.

— Вот они.

Виолета ставит корзинку на стол, Альваро складывает газету. У Виолеты заплаканное лицо.

— Что случилось?

— Фаусто не хочет.

— Чего он не хочет?

— Вести ребенка к госпоже Чепе.

— Я же тебе говорю, что это совершенно не нужно...

— Поверьте, мне нужно. Но они останутся обедать. После обеда я его уговорю.

— Займись лучше крышей. Погляди на эти протечки. Куда ты деваешь деньги?

— Одолжила Фаусто на новую мастерскую, в которую он ввязался...

— И как у него дела?

— Отлично... лучше не бывает...

— Так почему бы им не снять квартиру?

— У меня столько места... уж сама не знаю, что им еще предложить...

Направляясь с корзинкой в руках к выходу, Альваро останавливается перед гостиной. Ему хочется просто посмотреть. Родинку на груди саднит. Как знать, может быть, он в последний раз в доме Виолеты. Если сегодня зять похлопает его по спине, или непривычно затараторит, или поможет надеть рубашку... тогда, скорей всего, его посадят под замок на весь остаток жизни, и сюда он больше не приедет.

— Послушай...

— Что?

— Потолок и в гостиной протекает?

— Кажется, нет. Не знаю, посмотрите...

— Ну-ка...

Они входят в гостиную, и Виолета открывает окна. Скучный уличный свет падает на мебель из гостиной моей матери. Все такое чистое. Для гостей. Такое безжизненное. Кресла сдвинуты к столику с ковровой скатертью и прошлогодним календарем — подарок гаража, в котором Фаусто тогда работал. Рядом, под растрескавшимся стеклом, благословение, полученное его матерью у Папы Пия XI.

- Послушай, тут какое-то запустение...
- Вы разве не видели?
- Уф, я сюда уж лет сто не заходил.
- Вот, полюбуйтесь, что тут творится.
- Почему все в таком виде? Мебель сдвинута в кучу.
- С тех пор как Майа увез свои вещи, все так и осталось.
- Майа? Какой Майа?
- Ох, дон Альваро, вы стареете, стали забывать...
- У меня есть дела поважнее.
- Ну, Майа сеньоры Чепы...
- А какие вещи?

— Те, которые он накопил, когда сеньора вытащила его из тюрьмы. Помнится, ему тогда втемяшилось в голову накопить всякой роскоши. Элегантную мебель, гарнитур такой дорожный, бог ты мой, словно из гостиной самой сеньоры Элены, еще из той, на улице Агустинас, а сколько одеколона! И больший телевизор, и проигрыватель с пластинками... я спать по ночам не могла. Потом он все это увез...

Альваро садится в кресло. Виолета отдергивает занавеску, чтобы посмотреть на улицу. В глубине дома продолжает хныкать Марукса Жаклин. Пришло время умирать. Им обоим. По крайней мере, нужно рассказать Виолете. Время существует для тех, кому оно требуется. Для Маруксы Жаклин, которая плачет, хочет есть, какает чем-то непонятно белым. Тишина в комнате, где Виолета расставляет емкости под капавшую с потолка воду возле неправдоподобно выцветшей мебели из гостиной его матери.

— Послушай, Виолета, я...

Она пристально смотрит ему в лицо. Но он ничего ей не скажет.

— Хорошо, что ты перестала валять дурака. Дом — твой. Забери их к себе. Глупо тебе жить в одиночестве. Будешь возиться с внучкой. Вот увидишь! Послушайся моего совета.

— Вы же знаете, я не в ладах с Фаусто. Он такой шумный, и мне не нравится, что он куда-то ходит по ночам, оставляет Мирелью одну, возвращается поздно, а по воскресеньям играет с друзьями. И я волнуюсь, а как же иначе, но вы ведь знаете, молчать я не умею, во все встречаю, настраиваю девочку против мужа, меня не изменишь! Нет, не хочу. Они сами знают, как жить. Нет ничего хуже, чем докучливая теща. Мать Фаусто, говорят, как раз такая: дескать, у девочки нет одежды, ты должна обеспечить, девочка перемазалась, как поросенок, надо ее вымыть, то да се, пятое-десятое, и, конечно, бедняжке Мирелье все это надоело... ее понять можно...

Ноги Виолеты все в варикозных венах. Уличный свет, пройдя сквозь занавески, отпечатывает на ее лице тканевый узор — еще одну венозную сетку. Альваро встает. Лучше ниче-

го ей не рассказывать. Может быть... может быть, уже через каких-нибудь пять часов зять не бросится помогать ему с рубашкой... такое возможно, и зачем тогда ее зря волновать... Он снова берется за корзинку.

— Не дури. Живите вместе.

— Благодарю покорно, мне и одной хорошо.

Еще несколько секунд Альваро ждет, пока Виолета запрет гостиную. Щелчок, и поворот ключа открывает совсем другие двери, заставив сердце Альваро биться с бешеной силой.

— Майа...

— Дон Альваро, вы что-то сказали?

— Сегодня утром я видел Майа.

Виолета закрывает уже открытую входную дверь. Дом наполняется молчанием Маруксы Жаклин.

— Ладно. Я пойду. Уже поздно.

— Вы видели Майа?

— Да. Почему он на свободе? Разве он не сидел в тюрьме, когда я в последний раз о нем слышал?

— Нет. Сеньора так думала, но наверняка не знала. Она велела следить за ним до порта, но там его след затерялся, и больше никто... он исчез.

Виолета прислоняется к двери.

— Сеньора тоже видела Майа?

— Нет. Не видела. На сей раз я его прогнал. Мне надоели люди, которые пользуются Чепиной добротой. И предупредил, что, если он еще хоть раз к нам явится или попробует с ней поговорить, я лично вызову карабинеров и заведу на него дело.

Лицо Виолеты исказилось.

— Бедняга...

— Конечно, во всем, что касается этого Майа, вы обе ведете себя как идиотки, мало он вас водил за нос.

— Как он выглядел? Худой?

— Плохо. Не знаю. Этот человек вас, двух дур, заморозил, хотя вам отлично известно, что он за птица. Сколько денег он выманил у Чепы? А у тебя? Скажи честно. Ты не починила крышу, потому что до сих пор выплачиваешь долги этого Майа, верно? Уже больше года? Признайся... признайся, тебе говорю!

Альваро хотел добавить "старая шлюха", но не стал.

— ...нет, ведь это же негодяй, не понимаю, что вы в нем нашли! Знаешь, я умываю руки. Я тебе все сказал. И не надо мне жалоб. Не приходите потом ко мне в слезах, что, мол, Майа то, Майа се... Нет, с меня довольно. Уже год, как мы отделались от этого Майа, и вот тебе здравствуйте!

Виолета порывается что-то сказать, но не говорит. Она берет из рук Альваро корзинку, открывает дверь, пропускает

его вперед и идет за ним к машине. Он садится за руль. Она ставит корзинку перед задним сиденьем. Корма у нее действительно огромная... а ноги похожи на столбы, сплошь в синяках и болячках... словно в чулках. Да, зачем теперь Виолете... ей уже нечего ждать, кроме смерти. Он заводит двигатель и уезжает.

Машина мгновенно наполняется праздничным запахом горячих эмпанад... запахом всех воскресений его жизни. Снаружи дождливо и промозгло. Не надо было ей выходить вместе с ним... ну да ладно. Сегодня воскресенье. В местной церкви звонит колокол. Какие-то мальчишки, обернув себя газетами, играют в футбол, и он медленно их огибает, но едва машина проезжает мимо, они возобновляют игру, как будто его здесь и не было. Этот теплый, золотистый запах. Сегодня воскресенье, я забыл оставить ей деньги для будущей недели. Ну, ничего... потом, все потом... но этот наполняющий машину аромат воскресенья, аромат того воскресенья...

...того воскресенья, аромат воскресного, не самого раннего утра, когда служанки уже хлопчут по дому, но где-то далеко, в других его частях одна, обвязав голову платком, наводит порядок в гостиной, другая прислуживает матери, третья одевает младшего брата, четвертая поливает на веранде цветы, пятая, мурлыча что-то себе под нос, открывает дверцу печи, чтобы проверить, как выпекаются эмпанады; и вот тогда, в этот самый момент, запах воскресного, не самого раннего утра начинает медленно распространяться по дому из глубины кухонного двора, по галереям и коридорам, просачиваться под двери закрытых комнат, где мы еще не проснулись; проползает он и под дверь моей разогретой летним жаром спальни — ставни закрыты, шторы задернуты, простыня натянута почти до затылка — и подавляет в ней все прочие раскаленные запахи, достигает моего носа и оттуда начинает сообщать в глубину моего теплого сна о чем-то влажном, потном и липком, что находится под простыней, едва ли не продолжающей мою кожу, под которой пробуждаются разные части тела, о влажном мраке там, внизу, о чем-то тактильном и эректильном, что тоже составляет часть меня, но взмокшего от жара там, внизу, между ног; и от запаха подрумянивающегося теста у меня в паху словно сжимается кулак; и этот запах копошится в моей сонной памяти в поисках несуществующих воспоминаний, придумывает ласки и ароматы, и белое, подрумянивающееся в печке тесто похоже на незнакомую мне кожу, и горячий запах воскресного утра ласкает мой пенис, который я стискиваю руками, потому что он сейчас взорвется. Ну, нет! Нет, нет, нет...

— Виолета!

Печь открыта.

Я сбрасываю простыню и заставляю себя широко раскрыть глаза. Полотнища занавесок слегка шевелятся, ищут, избегают друг друга — расходящиеся, соприкасающиеся, ласкающиеся силуэты, провисшие на жаре. Нет, нет! Я с силой распрямляю руки, ноги, пальцы. Я знаю, что этого нельзя делать одному, даже если желание вызывает боль. Сделать это так просто, но это нехорошо, потому что я худой, низкорослый и хилый, и, говорят, могу остаться таким навсегда, если буду делать это один, руками, которые я распрямляю до боли в пальцах, чтобы больше не теребить пропотевшую простыню, упавшую рядом с кроватью, словно сброшенная моим сном одежда. Сегодня нет никакого шума. На улице тоже. Да, где-то кричит газетчик. За два квартала отсюда останавливается трамвай. Все погружено в тишину, все отдыхает, безлюдный город освободился от суеты, мостовая плавится на жаре, люди ищут тени — тонкой ленты, протянувшейся вдоль фасадов, и по мере того как поднимается солнце, лента становится все тоньше и тоньше... какой-то человек, читающий газету, старуха со своим требником, две спешащие подруги, переговаривающиеся так тихо, словно боятся нарушить одиночество этого воскресного летнего утра... чтобы не распалить пожар в своем худом, расprostертом на потной простыне теле, я думаю о другом, отыскиваю в памяти воспоминания о чем-нибудь холодном, лишенном запаха, гладком, твердом, неподатливом, или придумываю это, чтобы его утихомирить, потому что не хочу навсегда оставаться худым, тщедушным и малокровным. Я чувствую, что проголодался.

— Виолета!

А они сейчас, наверно, в бассейне, возле виноградной беседки, на даче. Тяжелые от персиков деревья вычерчивают на земле ароматную, бодрящую тень... жужжание пчел, мух и москитов, стремящихся, подобно моим кузенам и кое-кому из выбравшихся из бассейна взрослых, укрыться в этой тени.. ззз-т, ззз-т... москит оставляет красное пятно на руке моей двоюродной сестры Исабели. Я наблюдаю за Исабелью. И представляю себе Исабель. Но сейчас я не могу этим заниматься, потому что они в деревне вместе со всей семьей, и взрослые кричат им, что этого делать нельзя, что нужно соблюдать осторожность, что нельзя так долго сидеть в воде, что не нужно есть неспелые сливы, потому что от них пучит, что вредно так долго сидеть на солнцепеке, и чтобы они вышли из тени, потому что замерзнут, чтобы прогнали эту приبلудную корову, потому что она все вокруг изгадит, чтобы не таскали по земле полотенце, чтобы не кричали... но в это воскресное летнее утро их крики не долетают до моей городской комнаты. Я наказан. Отец уехал вчера, потому что в пятницу

работал допоздна и не успел сделать этого, как обычно, после обеда, чтобы вернуться в нотариальную контору утром в понедельник. Провести семью, по которой он так скучает и которая проводит лето в поместье, снова и снова повторяет он, но, по счастью, это близко, и я могу ездить к ним по пятницам и возвращаться в контору в понедельник. Но этот мальчик, Альварито, так плохо закончил год по математике. Пришлось его наказать и оставить без летних каникул. Не знаю, сможет ли он, как сам того хочет, пойти по моим стопам и стать нотариусом. Он размазня. Отец передаст от меня маме привет и скажет, что я искренне сожалею о своей плохой учебе в течение года и что наказание уже принесло свои плоды. Быть снисходительными к детям нужно до определенного предела, только до определенного предела, Элена, позволь мне самому поговорить с Альварито. И каждый день, когда отец приходит домой, он проверяет весь материал, пройденный днем со специально нанятым для меня репетитором по математике. Но, Элена, пойми меня наконец: наказание есть наказание, и я бы не привез его к тебе на дачу, даже если бы он плакал, хотя Альварито кремень и не плачет, но даже если бы он плакал... И утром в понедельник отец вернется с дачи и проверит у меня урок, который я должен повторять один все воскресенье, пока он будет за городом, и снова скажет, что оставляет меня в городе на лето одного, без денег, без разрешения выходить из дому, на попечение единственной служанки, получившей приказ обслуживать меня, но не потакать моим капризам, пока я не сдам экзамен на хорошую оценку, потому что парень не должен расти размазней. Пусть Виолета о нем позаботится. Она может готовить всю неделю для тебя, а в субботу и в воскресенье будет оставаться и готовить только для Альварито и присматривать за домом. Виолета серьезная, разумная, чистоплотная и исполнительная. Нужно держать все приличные костюмы, выходные рубашки, новые ботинки, всю хорошую одежду Альварито запертой в шкафу, чтобы у него было меньше соблазна выходить и развлекаться, ведь он такой привередливый и не может вытерпеть ни малейшего пятнышка грязи на ботинках. Что за ребенок этот Альварито, Боже мой, каким бездарным к математике он у нас уродился! Конечно, ему бы не помешала дача, потому что он сейчас растет, и растет хилым, и ему бы пошли на пользу свежие фрукты, подвижный образ жизни, солнце и все такое, но чувство ответственности — безусловно! — прежде всего. Он, который хочет стать нотариусом, как его отец... ты должна поговорить со своим сыном, чтобы он взялся за ум. За ум-то он возьмется, но математика ему не по уму. Так говорит сеньор Парра, а он очень опытный репетитор.

— Виолета!

Она где-то в глубине дома и ничего не слышит. Он замирает, затаив дыхание, ни к чему не прикасаясь, чтобы не издавать никаких шорохов и расслышать, как она, Виолета, передвигается в глубине дома, наводит порядок, может быть, что-то моет, чистит, сама такая чистюля. Такая чистюля, что однажды я зашел в ее комнату и увидел накрахмаленные простыни, какие можно получить только от деревенских прачек, но, услышав ее шаги, бросился бежать, потому что от нее пахнет чистотой, но не чистотой мыла, а чистотой кожи, постельного белья и подрумянивающихся эмпанад. И поэтому Альваро сбежал. И спрятался в ванной, где сделал это, сделал себе сам, а священник сказал ему на исповеди, что это грех, самый тяжкий после самого тяжкого, но что же делать, как этого избежать, если то, что жжет между ног, обладает пугающей самостоятельностью. Избегай грязных мыслей. Не вставай на дурной путь. Будь непорочным. Будь чистым. Что сказала бы твоя мать, если бы узнала! Потому что если ты продолжишь этим заниматься, то, как ты сам уже знаешь, навсегда останешься хилым, щедрым и бессильным, не сможешь иметь детей, превратишься в отвратительного монстра, и это будет тебе карой за то, что ты, пусть иногда, пусть даже — потому что боишься — редко, делаешь это один в своей комнате, воскресным утром, когда жарко и где-то в глубине дома Виолета открывает дверцу печи, чтобы проверить, пропеклись ли...

Нет. Нет. Он выпрыгивает из кровати и встает под душ. Прохладный, хлесткий душ, чтобы отклеиться от этого липкого летнего дня, от этого воскресного запаха в доме, где он весь день один, без разрешения выходить, даже в кино, лишенный приличной одежды, в которой можно выйти, весь день взаперти без всяких развлечений, кроме одиноких игр, дурных мыслей, темного брожения внутри, всплывающего бесконтрольно, помимо его воли, незначительного воспоминания о том, как Исабель раздвинула в бассейне ноги, и он увидел это. Нужно гнать от себя то, что одноклассники болтают в школе, тебе уже шестнадцать, парень, пора сходить к проституткам, послушай, Альваро, ну сколько можно, я знаю самых лучших, они тебе все устроят... Что значит "все устроят"? Это и есть страх: воображаешь себе тело в ночной рубашке, я скольжу руками вверх по ее ногам до живота, чистое, чистое тело... и тогда, что тогда, Господи, что же тогда? Что происходит во время этого тайного объятия, в этом жару, похожем на горячее соприкосновение двух силуэтов, двух танцующих в воздухе занавесок. А вместо этого — все воскресенье один. Так велик безлюдный дом, населенный ничтожным скрипом мебели, шорохом садовой листвы, вздрогнувшего валика пианолы, весь долгий день валяешься на подушках-

думках в креслах гостиной, и подушки превращаются в тела, и тогда ты снова делаешь это себе, только поглаживая и обнимающая шелковистые подушки, или бежишь в спасительный душ... как сегодня... как сейчас.

— Дон Альварито...

Он хотел войти в ванную, но не вошел. Виолета хотела войти в его спальню, но не вошла. Он замер голый посреди комнаты, два силуэта у окна оглаживают друг друга, дотрагиваются друг до друга, он не дышит, она за дверью тоже не дышит, и сквозь грохот крови в ушах он улавливает, ему кажется, что он улавливает, деликатное трение ее кожи о безупречно чистую одежду.

— Виолета... завтрак! Слышишь?

Она могла бы войти. Но не вошла. Он слышит ее дыхание за дверью. Он мог бы ее позвать. Приказать ей войти. Давай, заходи, Виолета, ведь я только безобидный ребенок и никогда не вырасту, так и останусь бледным и хилым из-за своих грязных мыслей, не надо меня бояться. Тогда она увидела бы его в жарком полумраке спальни, стоящим на ковре, в огромном и пустом доме, отец в деревне до завтрашнего дня, мать далеко, спальни запираются на ключ, кругом зачехленная от пыли мебель, его двоюродные братья твердят, что служанки только для того и существуют, только этого и ждут, и никому ничего не скажут из страха потерять работу, а она по другую сторону двери его спальни тоже прислушивается, прежде чем уйти за завтраком, и представляет себе его голым, как он представляет себе голой ее, под нежной оболочкой из чистой одежды. Тихо! Не издавать ни звука, чтобы услышать, как она прислушивается к нему.

Теперь он слышит, что Виолета уходит.

Сейчас душ не подойдет. Ванна. Он открывает краны. Холодную — нет, чуть теплее. Бодрящую. Этим заниматься нельзя. Но, конечно, в ванной дело всегда заканчивается этим, потому что времени много, ванну принимаешь не так быстро, как душ, плаваешь в слегка зеленоватой воде, словно обернутый другим, огромным телом, оглаживающим тебя, как две занавески, как Виолету — ее одежда, эта слегка зеленоватая вода держит меня на плаву, и я чувствую ее, только когда пошевелюсь, ее живительное, сладостное прикосновение. Но как сделать так, чтобы этим не заниматься? Как отогнать от себя дурные мысли, желание ласкать и чувствовать ласки, когда нет ничего, кроме двух неудовлетворяющих рук бездарного к математике мальчишки, который хочет стать нотариусом, но, скорее всего, им не станет? Эти до боли знакомые, тощие ладони, не пахнущие ничем незнакомым, оглаживают все его тело, от пениса и живота до ребер и шеи, и жаркие простыни, способные иногда помочь, и глад-

кая поверхность мебели и воды, вода в ванной — лучше всего, она самая подходящая, так говорят его школьные приятели, конечно, мы этим занимались в детстве, но теперь, когда выросли и ходим к проституткам, теперь, конечно, нет, хотя ту зеленоватую воду мы помним до сих пор... но для Альваро это пока реальность. Иногда достаточно даже брюк. Когда жарко. Пока учитель у доски выводит алгебраические формулы, его рука шарит в кармане и обнаруживает, что он готов, и тогда достаточно прикосновения, легкого незаметного прикосновения — пристальный взгляд направлен за неимением другой обнаженной плоти на белую шею сидящего впереди Линареса, а мысли переносятся к Исабели возле бассейна: она лежит с закрытыми глазами, и мушка жужжит возле ее век, кружит у рта, Исабель лежит, согнув одну ногу так, что он видит это, хотя она ничего не замечает, и руки Виолеты в пустом доме, и запах эмпанад, румяных, как ее кожа. Немного влажная от пота кожа. Да, говорят, что эмпанады потеют в печи перед тем, как стать золотыми, похожими на руки Виолеты, и тоже немного влажными... Нет. Он не ляжет в ванну. Он ляжет в постель, чтобы Виолета подала ему завтрак на подносе, и тогда он сможет увидеть внутреннюю сторону ее немного влажных, золотистых рук, когда она протянет их вперед, чтобы поставить поднос ему на ноги, накрытые одной только тонкой простыней — тогда ее руки будут близко, настолько близко...

Но он ложится в ванну. Муха бьется о стекла. Нет, две — о матовые стекла окна, там, где стоит синий флакон с молочком магнезии, перекрашивающий воду в ванной из зеленоватой в голубую. Две мухи дерутся. Нет, не дерутся. Занимаются любовью. Да, он их видит, они его не боятся, в отличие от тех, которые не занимаются любовью и в испуге улетают, да, эти остаются, они его даже не замечают, одна на мгновение садится на другую, трясет ее, вибрируя крыльями и вдруг с коротким “ззз-ас!” исчезает, а нижняя остается и в своей особой, мушиной манере растирает лапки, крылья и зеленоватое, ворсистое брюшко. Так же и она. Будет растирать свои конечности, когда он оставит ее в покое. Все его тело содрогается в воде, и вода ласкает его, пробегая по коже миллионами теплых чистых пальцев.

Дверь начинает открываться.

Он замирает, не сводя с нее глаз.

Дверь продолжает медленно открываться, и на ее ребре он узнает пальцы Виолеты, потом видит ее саму, заглядывающую в щель. Рукава закатаны выше локтя. Шея открыта. Волосы полностью откинута назад, полностью оставляя на виду широкое, гладкое лицо с пунцовыми щеками, и белая плоть, слегка поджарившаяся ради воскресного, но не очень ран-

него утра, и ноги, и ступни... Ступни. Она босая! Но почему она босая, если прежде никогда так не ходила? Но даже если бы так было заведено, то голые ноги Виолеты все равно нарушали бы ритуал, и они его нарушают, и нарушают успешно, когда приближаются вот так, босиком, по каменным плиткам пола. Он непроизвольно прикрывает пах руками.

— Вылезайте, дон Альварито.

— Послушай, уходи, я голый.

— Кофе стынет.

Она улыбается, подходя к ванне. Берет банное полотенце и кладет его рядом с ним на табуретку. Затем наклоняется, чтобы накрыть ковриком деревянные половицы пола, и на секунду в расстегнутом вороте блузки он видит две полусферы белых грудей, рисунок красных сосков, видит их в эту секунду целиком, и теперь знает точно, как они выглядят, видит даже ниже, до самой глубины разогретого телом платья, до тех частей ее тела, которых не знает, теплых от одежды и утренней жары. Если бы он расстегнул это платье, пытаясь его снять, то эта золотистая кожа, эта упругая белая плоть обдала бы его ароматом воскресного, не очень раннего утра, сбила бы с ног своим одуряющим запахом, вырвавшимся, как арестант из распахнувшихся ворот, и тогда он перестал бы понимать, что творит. Однако удивительное дело! Он все равно совершил бы грех, еще более ужасный, чем тот, прежний, намного более ужасный, но не такой уродливый и унижительный, как грех делать это самому себе, ужасный грех, который того стоит, в то время как прежний грех не стоит ничего и вызывает стыд, но этот, этот — совсем не стыдный!

— Да выходите же, дон Альварито, вам говорю. У меня дел по горло. Мне не нужно, чтобы ваш кофе остыл и пришлось нести вам вторую чашку, а потом третью и так до тех пор, пока ваша милость не соизволит съесть завтрак... хватит мерзнуть! Вылезайте, вам говорят!

Виолета разворачивает банное полотенце, чтобы принять в него Альварито. Он встает, и ласковые прикосновения стекающих по телу капель кажутся предчувствием чего-то неизбежного, что, как подсказывает рвущееся из груди сердце, сейчас должно произойти, потому что, встав во весь рост, он уже не прикрывает напряженный пенис, и она, улыбаясь и слегка прикрыв веки, не сводит с него глаз... дом сегодня пуст, и у них впереди целый день и целая ночь, и мебель дремлет в полотняных чехлах, дремлет томный город, поздно пробуждающийся, соблюдающий сиесту, рано отправляющийся спать, в это летнее воскресное утро на улицах почти безлюдно... и она оборачивает его махровой простыней.

— Я спекла вам эмпанады.

— Эмпанады?

— Ваши любимые.

— Да, но... Разве мама тебе не говорила, что наказание в том и состоит, чтобы не давать мне ничего вкусного?

Виолета пожимает плечами и принимается его вытирать.

— Ба! А мне захотелось. Уж вы на меня не сердитесь, дон Альварито.

Он смеется. Виолета растирает его очень бережно, ее лицо так близко от его затылка, он стоит к ней спиной, словно боясь, что все это ужасная ошибка... на всякий случай, пока еще нет, пока не буду, возможно, я ошибся, и Виолета разочлится. Дождусь какого-нибудь знака. Лучше смотреть на жужжащих на стекле мух. На синий флакон. Лучше ничего не предпринимать. Пусть она все делает сама, растирает махровым полотенцем ему спину, шею, велит поднять руки, после чего, просунув под них полотенце, промокает грудь, а для этого прижимается своими грудями к его спине, обеими грудями, двумя сгустками горячей пульсирующей плоти, пока ее руки через полотенце растирают ему грудь — полотенце белое, плотное, немного влажное, накрытая им рука сползает к его животу, подбираясь все ближе и ближе, но он еще не обернулся, хотя страх уже потихоньку отступает под натиском этих рук, приближающихся к напряженному и болезненному от желания пенису, вытирая, промокая его тело, и ее горячее дыхание возле самого уха, когда она сдавленно признается: ей стало жалко, что мать оставила его без вкусной еды, она решила устроить им обоим пир, потому что в это воскресенье он в городе один, они одни посреди пылающего лета, сегодня, в это воскресенье, ей исполнилось двадцать два года, и она хочет отметить свой день рождения с ним, потому что он один, и она тоже одна.

Отсюда подрумянивающиеся эмпамады: они пируют.

И когда руки Виолеты наконец касаются его паха, он обочивается, а она с закрытыми глазами уже его обнимает, обнимает сто лет, и он прячется в этом теле, облепившем и ласкающем его со всех сторон, как прежде ласкали пальцы и тепло воды в ванне, только приятней, прикасающемся к нему везде, трущемся о него целиком, всей этой плотью, вырвавшейся из блузки, которую он порвал, и оттуда, из-под легкой, летней, спадающей на пол одежды с силой бьет аромат белозолотистого теста, в это воскресенье, совсем не похожее на другие, и аромат Виолетиного тела липнет к его телу, и она шепчет бедный, бедняжка, вас оставили без вкусной еды, в наказание лишили дачи, вы такой же несчастный, как я, у которой сегодня день рожденья, ведь до моего деревенского дома так далеко, а здесь никто не знает, да и знать не хочет, все от нас далеко, поэтому я хочу тебя приласкать, не бойся, мне будет приятно, если и ты меня приласкаешь в этих опустев-

ших хоромаш, дверь заперта и никто, кроме нас, не живет в огромном, одиноком доме, мы здесь одни и обнимаемся так далеко от всех, от твоей дачи и от моего деревенского дома, от моего вечно злого отца, и от твоей мамы, которая всегда все знает, хотя ей, занятой шитьем в деревенской виноградной беседке, никто ничего не говорит.

— Нет, рукой — нет...

— А как?

— Ты, ты...

Я. То, что в тебя проникнет, это я. Весь я. Ничего от меня не останется снаружи. Мы с тобой одни в это воскресное, не очень раннее утро, в это неспешное, долгое утро, способное растянуться на весь день, на всю ночь...

По пятницам после обеда Альваро провожал отца до двери, приподнимался на цыпочки, чтобы поцеловать дону Альваро в щеку, и снова уверял его, что очень хочет на дачу. Пусть дон Альваро, ради всего святого, возьмет его с собой! Пусть передаст маме, что он обещает заниматься математикой на даче, ведь персики и виноград, его кузены, лошади, прогулки и бассейны... папа, возьмите меня с собой! Нет, сынок, я делаю это для твоего же блага. Расплата есть расплата, а дисциплина есть дисциплина. Альваро так никогда и не понял, почему в тот момент у него наворачивались слезы, но голос отца при виде его слез начинал дрожать. Они ползли по его щекам... да, папа, я клянусь, что проведу эти выходные с пользой и хорошенько позанимаюсь, клянусь, что к понедельнику, когда вы вернетесь, я проштудирую всю алгебру от корки до корки. Я понимаю, что это для моего же блага... но дача есть дача, а лето для того и существует, чтобы проводить его на даче, не в городе, который плавится на солнце. После того как Альваро целовал отца в щеку, стоявшая поодаль Виолета подавала хозяйину шляпу, предварительно обмахнув ее щеткой.

— До понедельника, Виолета.

— До понедельника, сеньор.

— Приглядывай мне тут за парнем.

— Конечно, сеньор.

— Пусть не отвлекается.

— Конечно, сеньор. Передайте от меня поклон сеньоре Элене...

— Да, папа, передай привет маме...

— До понедельника, Альваро.

Он закрывал за собой дверь и уходил. Виолета запирала дверь на ключ и задвигала щеколду. После чего она оборачивалась к поджидавшему ее Альварито, и они с хохотом обнимались тут же, на пороге, всего секунду назад покинутом доном Альваро. Вечером его отъезд отмечался пышным ужином, при-

готовленным Виолетой и оплаченным из ее же сбережений. А после ужина они отправлялись к Альваро в спальню и проводили там всю ночь.

Иногда Виолета приглашала Альваро в кино. Не в центральный кинотеатр, где его мог узнать какой-нибудь оставшийся на лето в городе родственник, а в один из местных - тех, что крутят два-три старых, сильно порезанных фильма. Они брали самые дешевые билеты на галерку, под потолок, где зачастую не бывало других мест, кроме деревянных приступок, сидели там, тесно прижавшись, но никогда не берясь за руки, и комментировали все подряд, со смехом, затерянные среди публики в глубокой раковине темного кинозала. Теплым вечером они брели домой по безлюдным улицам и обсуждали игру актеров. Поскольку ключ от платяного шкафа был у Виолеты, то по пятницам она его отпирала, чтобы в субботу и воскресенье Альваро мог вырядиться франтом. Воскресным вечером она стирала его надеванные рубашки, обращаясь с ними крайне бережно, чтобы вернувшаяся в город сеньора не дай бог ничего не заметила. Пока Виолета занималась глажкой, Альваро сидел на корзине с грязным бельем и грыз яблоки. Виолета научила его танцевать фокстрот, танго и шимми. По вечерам она накрывала ему ужин в гостиной, во главе стола, на отцовском месте, а пока она мыла на кухне посуду и ужинала сама, он готовился ко сну. Она приходила позже. Остановившись на секунду, чтобы разглядеть его в темноте, она раздевалась, ныряла под одеяло и прижималась к нему, окутывая его своей ароматной, упругой плотью, смеялась и отвечала на его объятия и смех. Потом они зажигали свет, он объявлял, что хочет есть, и она отправлялась в кухню за чем-нибудь вкусным, что припасла для него заранее - персики или пирожное, и вот он уже ест и курит, а она прислуживает ему нагишом и снова ложится в постель, но уже при свете. Альваро изучал ее вагину и задавал вопросы, что, почему и как, она теребила его мальчишеский пенис, а потом, поскольку стояла такая жара, что хоть в душ, хоть под дождь, они шли опробовать разные позы в ванной и забрызгивали ее до потолка. Потом вытирали друг друга, вытирали полы и стены, снова ложились в постель и засыпали в обнимку, а полетнему опустевший город понемногу стихал, и уже на пороге глубокого сна Альваро угадывал на улице шаги запоздалого прохожего, который, возможно, возвращался домой, раскуривая последнюю за день сигарету, с немного влажным лбом и перекинутым через плечо жакетом.

Проверяя у него уроки, отец выходил из себя. Сколько бы Альваро ни занимался, в голове у него ничего не оставалось. Виолета никогда ему не говорила: "Занимайтесь больше, экзамены на носу, дело кончится плохо, вы останетесь на второй

год”. Нет. Она говорила прямо противоположное: “Послушайте, дон Альварито, пойдите-ка лучше в театр, сегодня играет Лупе Велес, хоть немного отвлекетесь от такой уймы цифр, ведь им тоже нужно время, чтобы как-то улечься в голове, уж вы мне поверьте, все будет хорошо, и нет никакой причины для волнений”. Ее глаза сияли, сияли в улыбке румяные щеки, и Альваро говорил: “Хорошо, пошли, но, если я завалю экзамен, ты будешь виновата, и я пожалуюсь на тебя маме”.

— И все ей расскажете?

— Конечно.

— Даже то, что вчера я примеряла вечернее платье сеньоры Элены?

— И это тоже.

— А остальное?

— И остальное.

После чего оба заливались смехом.

И оказалось, что не зря. Потому что Альваро, которого мать по возвращении нашла подростком, поплывшим и не таким прыщавым, как прежде, сдал экзамен хорошо, гораздо лучше, чем от него ожидали. Мать, братья и служанки вернулись с дачи; лето подходило к концу, для всех начинался новый учебный год, и вместе с мартовским утром их приезда, заполненным суетой, чемоданами, узлами из клетчатых шалей, фруктовыми корзинами, ящиками с вареньем, шелушащимися носами, выцветшими вихрами и огрубевшими руками пришел конец той эпохи. Сильно изменившийся за лето Альваро стал держаться более независимо, и ему уже не приходилось напоминать о необходимости учиться, поскольку он сам прекрасно понимал, что и с какой целью должен делать.

Но связь с Виолетой тем мартовским утром не оборвалась. Уходить из комнаты по ночам было трудно, потому что Альваро делил ее с братом Роберто, и тот не понял бы его отлучек. Тогда Альваро завел себе школьных приятелей, с которыми занимался по вечерам, вступил в молодежную либеральную партию, созывавшую собрания тоже в вечернее время, и таким образом получил возможность возвращаться поздно. И часто, когда по его расчетам весь дом уже спал, он, вместо того чтобы идти в свою комнату, прокрадывался в комнату Виолеты. Им удавалось довольно много времени проводить вместе. Но, конечно, это было уже не то, что в первое лето, когда они жили в доме одни.

Бывало и так, что, отправившись на какую-нибудь вечеринку, Альваро уходил с нее не под утро, как все его друзья, а на пару часов раньше и забирался в комнату Виолеты, чтобы побыть у нее до зари. Фрак он бросал на стул, а после секса пересказывал ей события вечеринки: Алисия не захотела с

ним танцевать, ему очень нравится Ирене, он познакомился с некими Моникой и Александриной, прелестными и деликатными созданиями, к которым даже прикоснуться невозможно, потому что они пай-девочки и годятся только для женитьбы, к тому же в своих платьях из шелка и тюля они похожи на хрупких мотыльков, и в танце их нельзя к себе слишком сильно прижимать из страха как-нибудь покалечить. Не то что ты, моя крепышка, тебя я тискаю как хочу, ты не святыня для поклонений, ты просто служанка и не можешь ничего от меня ждать, как вечно ждут они, потому что я уже на первом курсе юридического, на втором, на третьем... сокурсницы в университете мне тоже не по душе, они все уродины, манерные, а иногда — грязнули, и либо слишком много о себе мнят, либо слишком много себе позволяют, и они внушают мне страх. Иногда мы с университетскими друзьями ходим в публичный дом, и я там пью пунш и танцую, но ничего больше... я их боюсь. А вот тебя я не боюсь. Потому что ты чистая. Виолета смеялась и обнимала его, ведь он уже стал мужчиной и учился на четвертом курсе юридического факультета, заканчивал обучение, и она понимала, отчего после занятий любовью они так долго болтают, знала, что родители настойчиво советуют ему подыскать себе невесту, ведь на свете столько симпатичных, порядочных девушек из хороших семей, с которыми он ходит в кино, ездит за город, на вечеринки, куда угодно, и, если чувствует в темноте кинозала, что девушка не против, целует ее и — самое большое — кладет ей руку на грудь, словно пытается нащупать сердце. Собственное его сердце в такую минуту воспаляется, воображение и боль в паху не дают покоя, и тогда он, страстно желая Алисию или Полу, которым дарит почтительные поцелуи, спешит в комнату всегда готовый принять его Виолеты и развлекается с ней, стараясь вымолить у этого горячего, упитанного, страстного тела изящные руки Полы, длинную шею и маленькую головку Алисии, юные, едва наметившие груди Софии, ты София, да, ты София, завтра ты будешь Алисией, потом — Полой, все, все эти недостижимые девушки принадлежат мне через твоё крепкое, горячее тело. Ему пора найти невесту. Так говорит его мать. То же самое говорит и Виолета: подумайте о женитьбе, дон Альварито, самое время, вы уже работаете у дон Альваро, получаете какие-то деньги. Надо бы вам влюбиться, дон Альварито...

— А ты, Виолета?

— Что — я?

— Ты почему не выходишь замуж?

— Ой, дон Альварито, бога ради...

Он внимательно смотрит ей в лицо.

— Ты плачешь?

Встревожившись, он садится. Она плачет из-за него? Она плачет из-за меня? Если она плачет из-за меня, я немедленно уйду и больше до нее не дотронусь. Он зажигает ночник, чтобы увидеть ее лицо, возможно даже искаженное, и по его вине. У нее красивые глаза, какая гадость! Он гасит ночник, но все еще сидит.

— Нет, нет...

— Как это — нет?

Виолета не отвечает. Он ложится. Она льнет к его голому телу и утыкается лицом ему в плечо.

— Просто...

Вдруг он резко отталкивает ее и снова садится. Ах вот в чем дело! Эту мысль он гнал от себя все шесть лет, пока занимался с ней любовью. И вот оно его настигло: у служанки от него ребенок, это должно было случиться, не такая уж редкость! Случилось же такое с одним из его дядьев, и бедняга кончил свою жизнь в убогой лачуге, в беспробудном пьянстве, потому что был вынужден жениться на своей зазнобе. То же произошло с его приятелем в университете: "...она забеременела, что ты будешь делать, и ничегошеньки мне, идиотка, не сказала, прождала несколько месяцев, и где я теперь достану столько денег, боже мой...", и парень мечется в поисках подпольной повитухи, но только хорошей, потому что не хочет, чтобы его деваха померла, но дешевой, потому что у него нет денег, и друзья скидываются ему в помощь, ведь повитухи — слишком дорогая роскошь. Нет! Альваро весь взмок. Да нет же, глупый, не пугайся. Виолета почувствовала ужас напрягшегося рядом тела и тянет его к себе, гладит, приговаривает, нет, ничего страшного не случилось, она предохраняется травами и разными народными средствами, о которых ей рассказала тетка в деревне, она не настолько глупа, чтобы пакостить самой себе. Один раз, конечно, было. Но она не стала ждать, сходила к знахарке, и та приготовила ванну, очень жгло, это правда, жгло ужасно, зато все обошлось. Она даже месяца не стала ждать. Ведь она не дура!

— Не дура — в каком смысле?

— Ох, дон Альварито...

— В каком смысле, я тебя спрашиваю!

Настроение у него испортилось. Он начал одеваться.

— Да разве вы не видите, что у меня есть любовь?

Она тянет его за руку, чтобы он снова лег рядом, и выкладывает все. Есть человек, которого она любит. Из крестьян, оттуда, с юга, где живет ее родня, года на три ее моложе, почти ровесник дона Альварито. Они видятся только месяц в году, когда Виолета приезжает в отпуск, и у этого дурня вечно нет денег, чтобы жениться: то не повезло с урожаем, то нужно продать упряжку волов, или случается еще какая-нибудь

напасть, и нужно ждать, пока дела пойдут лучше, пока он снова встанет на ноги, но уж тогда они точно поженятся, все будет чин по чину. Виолета его любит. Когда он рядом, она вся дрожит. Он только до нее дотронется, а у ней аж зубы стучать начинают.

— И часто он до тебя дотрагивается?

Ну, он-то, конечно, не прочь бы затащить меня в постель, но я — ни в какую! Мне этого не надо. Думаю о нем я постоянно, но воли себе не даю, просто считаю дни, хотя кто его знает, сколько их еще считать, и когда еще он разбогатеет, и мы сможем пожениться. Но так просто она ему не уступит. Ей не надо, чтобы он о ней плохо думал. Если она ему уступит, то этот крестьянский парень, Марин, не будет любить ее так, как положено, поэтому она предпочитает ждать, терпеть и постоянно о нем думать... а этим летом я чуть с ума не сошла, все мечтала о нем, лежала здесь в городе одна, в кровати, едва не рехнулась, пока дождалась наконец вас, дон Альварито, потому что, когда вы меня обнимаете и все такое прочее, я думаю о нем. Вы — это он, Марин. Благодаря вам я могу держать себя в узде в деревне и прикидываться святой, а он мне верит, и пишет письма, и хочет, чтобы мы поженились, а иначе он не стал бы на мне жениться.

Альваро с облегчением перевел дух. Это значит, что между ними ничего не существовало, кроме физической связи под горячими простынями, взаимного наслаждения запахами и прикосновениями. И это прекрасно, потому что, несмотря на интимность таких отношений, оба сохраняют себя: установив границы и правила, человек становится неуязвимым. Она пользуется им, он пользуется ею, и оба знают, что если бы тем летом они не нашли друг друга, то каждый мог бы сойти с ума. Друг для друга они не опасны. Виолета знает, что дон Альварито никогда ее не полюбит, потому что постоянно влюблен в какую-нибудь из своих подружек. Она тоже. Она не любит его так, как Марина. Ей хочется вернуться в деревню, выйти замуж за этого деревенского парня, завести семью, стать замужней деревенской матроной, такой же, как ее мать и тетки, бабки и прабабки... толстой, горластой, беззубой, надрывающей спину постоянной стиркой в ручье, увешанной детьми, регулярно дерущейся с пьяным мужем и всегда сетующей на нехватку денег. Это ее идеал. Ее норма жизни — то, что чтут, чего желают, судьба, для которой она родилась, место во вселенной, где ее не тревожат никакие сомнения, потому что она принадлежит этому месту.

От такого признания Альваро сперва слегка опешил и напрыгся, но, переварив сказанное, чуть не задушил Виолету в объятиях, потому что сам поступал точно так же. Развлекался на балах, целый вечер надраивал ботинки, выбирал одну из

белых рубашек, которые Виолета гладила лучше всех в мире, оставляя их ароматными и приятными на ощупь, а потом уезжал с Полой или Виргинией; ходил на обеды, торжества, в кино и оперу, в театр, в нотариальную контору, в университет, на собрания студенческих федераций; ему звонили Алисия, София, Сесилия, трубку брала Виолета, да, сеньорита Пола, он сейчас занят учебой и разрешил беспокоить его только ради вас, конечно, сеньорита, минутку, он уже идет. И когда вечером он уезжал на машине с Полой и по дороге принимался ее целовать, то чувствовал, что жжение в сердце вот-вот перерастет в пожар, что он любит эту девушку, потому что она красива и элегантна, и говорит на его языке, на языке его близких, потому что она верит в те же ценности, в которые верит он и его семья. И тогда его охватывало желание заполучить эту девушку себе: она девственница, отменно воспитана, их родители знают друг друга всю жизнь, и, если они пожениятся, то ничего не придется менять, все останется, как прежде. И он любил их всех по этим, не столько веским, сколько смутным и немного нелепым причинам, и никому бы в этом не признался, кроме Виолеты, ночью, когда, возвратившись домой после прогулки с Полой, пробирался в комнату служанки, чтобы кататься с ней по кровати и шептать: “Пола, красавица моя, обними меня, Пола, я так тебя хочу, обними меня крепко”, и толстое тело Виолеты трансформировалось в глянцевое тело Пола с его едва заметными, до боли желанными грудями, которые он мог трогать и ласкать только сквозь огромные груди Виолеты, убеждавшей его: “Да, да, мой милый, я Пола, ваша Пола”, с узкой талией, с элегантным покачиванием чуть выпяченных вперед бедер, словно при невероятной худобе она была слегка беременна, и он находил все это ночью, когда дом затихал, и улица смолкала, в неизменно упоительных бедрах Виолеты. Она перебивала всеми. Полой. Лаурой. Алисией, его кузинами... всеми.

Побывала она и Чепой.

Когда Альваро впервые ее увидел, солнце остановилось в небесах. Ему казалось невероятным, что в одной девушке соединились все его мечты. Оркестр играл “Poor Butterfly”, пары вскидывали ноги — вправо-влево, вправо-влево — в кейкуоке, а в самом центре она, Чеп, в красном платье, с прической, похожей на черный резиновый шлем. Толпа молодых людей вымаливает у нее следующей танец. Спортсмены. Миллионеры. Отпрыски знатных семей. Редкие таланты. Знаменитые остроусловы. Все такие пугающие. Каждый лучше него. Он никого не стал просить себя представить и ушел с вечеринки рано. Виолета в своей комнате бросилась ему на шею. Позволяя себя обнимать, он говорил о Чепе.

— Разве она согласится со мной танцевать...

- Ну почему вы так говорите!
- Сама подумай, какой я конкурент всем этим...
- Да вы чудесный!
- Уж куда там... Насмехайся над кем-нибудь другим!

Она обнимает его. Прижимается к нему бедрами, ласкает его, заставляет воспрянуть духом, забыть танцы, забыть страх. Альваро принимает ее ласки и отзывается на них.

— Ты, ты... такая молодчина... Ты...

Позднее он снова говорит о Чепе. Он ее не любит. Но сможет полюбить. Он собирается ее полюбить. Для этого в ней есть все. Уже на ближайшей вечеринке он проложил себе путь сквозь толпу грозных соперников — худощавый, с орлиным лицом, сдержанный и застенчивый — и пригласил ее на одиннадцатый танец.

— Почему на одиннадцатый?

— Потому что...

— Нет, лучше на этот...

Когда они закружились по залу, она призналась, что этот танец у нее просил Педро Салинас, но Педро так оглушительно смеется, и руки у него похожи на грабли. Она предпочла его, Альваро Вивеса. Он расхрабрился и стал приглашать ее еще. Много раз. На всех вечеринках — только ее, самую красивую. Эти волосы, похожие на черный шлем. Фарфоровая кожа. Немного резкие, монументальные черты лица, тонкая прорезь темного рта. Самая красивая. Самая богатая. Лучшая во всем. Ночью, в комнате Виолеты, он объявил:

— Я на ней женюсь.

Он ее не любит. Но полюбит. Он в этом уверен, потому что в ней есть все, чтобы ее полюбить, она — олицетворение всего лучшего, его идеал. Через год он станет адвокатом. Он уже сейчас работает в известной нотариальной конторе отца. На следующий день Альваро повез Чепу на машине в парк. Он почти к ней не прикасался. Как можно было ее трогать? Он пообещал одолжить ей “Марианелу”¹. Она пообещала одолжить ему “La robe de laine”². Обоих не интересовали романы, но ведь надо было с чего-то начинать! Теперь они почти все вечеринки проводили вместе, сначала танцевали шимми, потом сидели и болтали, и юноши все реже пытались ее пригласить, потому что знали, что эти двое — пара. Он рассказал об этом Виолете.

— Женись...

— Думаешь?

— Не глупи...

1. Роман испанского писателя Бенито Переса Гальдоса.

2. “Шерстяное платье” — роман французского писателя Анри Бордо (1870–1963).

— Она такая, как бы тебе объяснить...

— Женись...

Альваро обнял Виолету, чтобы погрузиться в это неописуемое, чистое, сладкое тело и искать в нем стройное, прохладное тело Чепы. Через два месяца Альваро и Чепы поженились.

С корзинкой эмпанад в руке Альваро останавливается под иланг-илангом и смотрит на балкон второго этажа, но, чтобы понять происходящее в бельведере, он вынужден отойти немного назад и влево.

Свита из пяти его внуков шествует к раскрытому балкону вслед за Чепой, размахивающей невидимым кадиллом. Три внука, изображая скорбь и распевая псалом, держат плашмя усыпанную цветами подушку, за ними следом движутся стенающие внучки. Отгадать эту шараду нетрудно: Funerailles, древняя похоронная процессия, он даже где-то видел такую, только статичную и поярче. Движения всех трагических персонажей неспешны, походки величавы. Они облачены в бархатные лоскутья, задрапированы в хитоны из оконных штор, алебардами им служат палки, плюмажами — перья, гирляндами — ветки, саблями — куски картона. Снизу Альваро хорошо видны их босые ноги и полосатые пижамы.

— Чепы...

Его оклик не прерывает Funerailles.

Но вот они уже вступили на балкон. Боже, какая же ненормальная эта Чепы, ведь дети простудятся под дождем! Они молятся. Все участники процессии поют, как в трансе, почти не открывая глаза. Мальчики стонут, девочки рвут на себе волосы, с седой головы Чепы, из косы Магдалены, из-за пояса Марты летят на землю веточки бугенвиллеи. Они дружно приподнимают гроб над ограждением балкона и собираются предать его земле. Альваро прячется за похожим на элемент классических декораций лавром: он хочет все видеть, но не хочет, чтобы видели его. Гроб уже опускают... Альваро хватается за грудь. Он не чувствует бешено бьющегося сердца, только контуры родинки под рубашкой. Нет! Не хороните его, пожалуйста! Может быть, он еще жив: ведь известно, что тело умирает не сразу. Он может очнуться. Но актеры уже бросили урну в бездну — стенания, слезы, псалмы теперь не нужны. Наконец Альваро убирает руку от глаз. Где-то рядом, пробуксовывая на мокром асфальте, поворачивает за угол машина. На балконе никого нет. Он подходит к кустам. Конечно, он с самого начала знал, что это только подушка. Скатившись по мокрым кустам, она покрылась грязью.

— Чепы...

Теперь она его слышит. Дети тоже выбегают на балкон, чтобы посмотреть оттуда на Альваро. Он поднимает с травы подушку и пытается смахнуть с нее соринки.

— Посмотри, во что вы ее превратили...

— Она старая...

— Но кому-нибудь могла бы пригодиться. Чепа, ради бога, что ты делаешь? Разве ты не понимаешь, что в этом наряде умственно неполноценной тебя может увидеть любой прохожий? Вытащи цветы из волос. Честно говоря, женщина в твои годы... И пришли кого-нибудь за подушкой, ее даже в руки взять страшно.

— Ты все испортил.

— Что — все?

— Похороны Мариолы Ронкафорт.

— Что еще за чушь?

— Похороны одной... не важно. Что ты хотел? Говори скорее, я замерзла и хочу закрыть балкон.

— Спустись вниз.

— Иду. Ты привез эмпанады?

— Конечно. Что за вопрос...

— Зачем я тебе нужна?

— Хочу с тобой поговорить.

Зачем?

Чепа у себя в алькове одевается. Перенеся сюда двадцать лет назад свою кровать, она объяснила это тем, что ей нужна некоторая независимость. Но дверь между спальнями она не закрывает, и по вечерам, когда оба уже лежат в постели и он читает, чтобы заснуть, иногда разговаривает с ним из своей комнаты, и приходится ее слушать. После этого ему всегда трудно заснуть. А когда Чепа одевается... чувство стыдливости ей совершенно чуждо. Например, сейчас. Что ей стоило хотя бы прикрыть дверь, пока не наденет корсет?

Альваро входит не сразу, глядя из своей спальни на ужасающие разрушения, произведенные целлюлитом в ее ягодичках. Лучше подождать: пояс с чулками, бюстгальтер. Неужели она не понимает, что выглядит непристойно? Наконец она прикрывает свою наготу панталонами.

— Послушай, Чепа...

Вскинув руки, она продевает их в нижнюю юбку, и та падает ей на лицо, проскальзывает вниз и накрывает разрушающееся тело, оставив на виду только силуэт пятидесятилетней женщины.

— Альваро?

— Что?

— Как поживает Виолета?

Альваро садится на край незастеленной кровати, хранящей следы утреннего набега внуков: сказки, журналы, одна

тапка, остатки фруктов на подносе и пропитавший всю постель запах гренки и кофе с молоком. Скажу ей. Скажу для того, чтобы не улыбалась так, как улыбается сейчас, когда делает вид, будто все на свете прекрасно, будто сегодня такое же воскресенье, как и любое другое.

— Послушай, Чепи...

— Что?

А если это не смертельно? Он прочищает горло.

— У тебя кашель?

— Нет. Ты спросила про Виолету.

— Да.

— У нее все отлично. Похоже, что Фаусто и Мирелья наконец-то будут жить с ней вместе. Честно говоря, я этому рад, потому что бедняге очень одиноко. Хотя, конечно, стычек им не избежать... я познакомился с их пресловутой Маруксой Жаклин.

— Ну, расскажи скорее!

Она задирает юбку, чтобы пристегнуть чулок к подвязке. Почти на уровне его лица открывается кусок голого тела. Совсем близко. Если немного наклониться, то можно укусь этот кусок старческой плоти между панталонами и краем чулка. Но такого желания у него не возникает. Мир, восстановленный ими после того, как она узнала о его романе с Матильдой Грин, не был настоящим. До той истории они никогда не повышали друг на друга голос. Зато в те дни кричали даже слишком громко, с истинным упоением людей, которые знают, что уже никогда в жизни не смогут так кричать, и не хотят упустить уникальную возможность. В одной из тех перепалок он выложил ей все: я никогда тебя не хотел, никогда, даже сразу после свадьбы. Она перебралась в альков. Девочкам лучше сказать, что ты слишком громко храпишь по ночам, тем более что это правда. Нет, развода я не хочу, и как тебе такое в голову могло прийти, нет, Альваро, я не питаю к тебе ненависти, хотя Кармен Мендес тоже была твоей любовницей, и Пича тоже. Мне это безразлично. Не настаивай. Послушай, дорогой, никакой ненависти я к тебе не питаю, не будь смешным, ты ведешь себя, как герой фильма с участием Кэй Фрэнсис, но, если хочешь знать, это уже не модно. Просто будем спать отдельно, и все. Ее спальня была симпатичной, но с чересчур низким окном, которое заслоняли садовые кусты. Через неделю их отношения восстановились, но вместе они больше никогда не спали. Альваро знал, что через какое-то время Чепи приняла бы его в своей постели, хотя физическая близость ее никогда не привлекала. Но в знак того, что их взаимная приязнь не прошла, она бы смирилась. Однако Альваро так ни разу и не решился войти в ее спальню; шли годы, но все оставалось по-прежнему. Только однажды, когда

он узнал о нелепом самоубийстве тогда уже старой и некрасивой Матильды Грин, совершенном в какой-то захолустной гостинице Нью-Йорка, он решил пойти к Чепе. Направляясь по ковру в сторону ее спальни, он услышал:

— Альваро?

Чепе всегда перехватывала инициативу. Он затаил дыхание. Попятился к кровати. Снял тапочки и лег спать. На следующий день они встретились, привычно улыбаясь, как улыбаются и до сих пор.

— Представь себе, Чепе.

— Что?

— Я забыл тебе сказать...

Она причесывается перед туалетным столиком.

— Что такое?

Сейчас он ей расскажет, сейчас, когда видит в зеркале ее лицо. Расскажет про родинку. Про рак. Про то, что умирает. Пожалуй, именно сейчас... Но ничего из этого он не говорит и, начав фразу со слова “представь”, продолжает:

— ...сегодня утром я видел Майя.

Он слышит стук упавшего на стеклянный столик гребня.

Чепе пересаживается на край кровати рядом с Альваро. Как он выглядел? Исхудал? Что он говорил? Он что-то просил мне передать? Она накрывает ладонью руку Альваро, лежащую в узком пространстве между ними. Глаза ее широко раскрыты и поглощают весь зеленый, льющийся из сада свет.

— Где он сейчас?

— Ушел.

— Куда?

— Откуда я знаю?

Некоторое время она сидит неподвижно.

— Ты ему что-то сказал.

Альваро не отвечает.

— Что ты ему сказал?

А если сейчас, в эту самую минуту, рассказать ей про родинку, продолжит ли она допрос про своего ненаглядного Майя? Рассказать ей... Нет. Невозможно, пока он не будет знать точно, пока ему не подтвердит зять. Тогда — да, тогда с помощью этой бурой родинки он сможет уничтожить Майя.

— Ответь, что ты ему сказал...

— Послушай, Чепе, хватит играть в игрушки. Все кончено. Мне надоело. Я сказал твоему Майя, что ты на него зла и никогда больше не станешь с ним разговаривать.

— Ты солгал.

— И если я поймаю его, когда он будет крутиться возле нашего дома, звонить тебе по телефону или вытворять еще что-нибудь в этом роде, то я вызову карабинеров, объявлю его в розыск и отправлю обратно в тюрьму, где ему и место.

— Ты так ему и сказал?

— Именно так и сказал.

Чепа немного помолчала, прежде чем произнести:

— Майа опасный.

Альваро встал.

— Я тоже.

Она посмотрела на него снизу вверх. Издевка, которую он увидел в ее глазах, заставила его снова сесть. Когда Чепа засмеялась, издевки в ее смехе уже не было.

— Над чем ты смеешься?

— Над тобой.

— Это еще почему?

— Над тем, какой ты опасный.

Когда она убрала от глаз платок, которым вытерла проступившую от смеха слезу, лицо ее было настолько горестным, что Альваро стало не по себе.

— Наверно, он в отчаянии, бедняга.

Конечно. В отчаянии. Майа всегда в отчаянии. Всегда на пределе. Поэтому он так интересен Чепе. И поэтому она презирает меня. За мою неспособность приходить в отчаяние и разваливаться на куски. За то, что я ни разу в жизни не попросил ни помощи, ни прощения у этой развалившейся на подстилке суки с набухшими молоком сосцами. Он наблюдает за тем, как она достает из шкафа кунью горжетку и обматывает вокруг шеи. Теперь-то он знал, что, безусловно, осчастливил бы Чепу, если бы в первую брачную ночь оказался импотентом, предоставив ей возможность утешить, поддержать его, прочесть ему наставление. В ту ночь, хотя она этого никогда не узнает, он и впрямь чуть не оказался импотентом. Я восхищаюсь этой женщиной, потому что она красива, элегантна, потому что ее тело под роскошной кружевной рубашкой кремового цвета устроено именно так, как надо — гармонично, по всем правилам хорошего вкуса. Она — предмет гордости и станет моей, она — идеал, которого я ищу во всем, и она здесь, рядом, в моих руках, полна страсти и готовности отдаться... Он восхищенно ласкает ее, ошеломленный таким совершенством, но ничего не хочет... Дело почти дошло до слов: “Прости, но я не могу, боюсь разрушить такое совершенство”, и тогда — теперь он точно знает — она приласкала бы его и, постепенно прощая, вернула бы ему уверенность в себе. И тем связала бы навеки. Но ей это не удалось. Нужно было что-то срочно делать, куда-то сбежать, сбежать навсегда, зарыть свое бессилие и страх в землю, сбежать туда, где от него ничего не требуют и где его никто не будет искать: в комнату Виолеты. Там его ожидало знакомое, ничуть не почитаемое тело, предмет наслаждения, не более того, тело, с которым его ничто не связывало, кроме мимолетных плотских наслаждений.

Альваро гасит свет. Закрывает глаза. Дыхания Чепы подле него не существует. И самой Чепы под рубашкой кремового цвета тоже не существует. Не ей принадлежит эта кожа, которую он пытается раздвинуть дрожащими руками, чтобы высвободить из-под нее другую кожу, другую плоть, щедрую, дружелюбную, сговорчивую. Виолету. Это не Чепа дрожит в ожидании в его объятиях, это — Виолета. Он гладит ее подмышечную впадину, да, да, это подмышечная впадина Виолеты, но, если это так, значит, это вся Виолета, голубушка, Виолета, ляг вот так, положи руку сюда, теперь сюда. И, закрывая глаза... да, я смогу, теперь я выдержу, я точно овладею Виолетой, спрятанной в этом несведущем теле Чепы.

— Чепа, я больше не могу.

— Чего ты не можешь?

— Терпеть твою историю с Майя.

— Пожалуйста, не лезь в мои дела.

— Но, Чепа...

— Послушай, Альваро, в свободное время я имею право заниматься тем, чем хочу.

— Но с этим нищепородом Май...

Она не отвечает. Она надевает перчатки.

— Чепа, а я?

— Что — ты?

— Я...

— Пусти меня, мне надо идти.

— Я чувствую...

— Ты прекрасно знаешь, что меня это не интересует.

Он не сдавался.

— Конечно. Ты всегда была фригидной.

Чепа остановилась и обернулась.

— Что ты знаешь о том, какая я на самом деле?

И вдруг на Альваро напал страх. Да, он не знает. И никогда не знал. Но пока она шла обратно к своей неопрятной кровати, чтобы снова оказаться с ним лицом к лицу, в зеленом, льющемся из сада свете она напредила ему дикого зверя в джунглях. Он даже непроизвольно сделал шаг назад. И с размаху сел на кровать.

— Ты влюблена в этого Майя.

Некоторое время Чепа преспокойно разглядывает себя в овальном зеркале платяного шкафа. Затем прижимает ладонью дверцу, закрывая ее поплотнее. Она улыбается, гладит кунью горжетку на шее. Неожиданно в ее улыбке мелькает торжество.

— Да. А почему бы и нет?

— Чепа, ради бога... ты отвратительна.

— Это же твои слова. Я тебе верю. Я пока не знаю, какую мерзость ты имеешь в виду, когда говоришь, что я “влюблена”

в Майа. Но знаешь, ничто, абсолютно ничто из того, что ты вкладываешь в эти слова, меня не пугает. Все может оказаться правдой. Дуреха Фанни говорит, что я влюблена в Майа, и постоянно отпускает шуточки на этот счет. Но то, что говоришь ты, это совсем другое дело. Никто, никогда, ни ты, ни девочки, ни родители, ни внуки, никто так меня не... никто так меня не интересовал, как Майа.

— Извращенка... и это в то время, когда я умираю...

— Не смейся меня. Ты всех нас похоронишь. Вечно носишься с собой как с писаной торбой.

— В твоём-то возрасте вспылать любовью к оборванцу!

— Дай мне пройти.

Он шел за ней следом.

— Чепа. Я умираю.

— Оставь меня.

— Я могу тебе показать.

— Что показать?

— Родинку у себя на груди.

— Она всегда там была.

— Она растёт.

— Я тебе не верю.

Чепа открывает дверь.

— Куда ты идёшь?

— Искать Майа.

— Я тебе запрещаю. Говорю тебе, я болен!

— Разве ты не понимаешь, что после всего, что ты ему наговорил, он, должно быть, в отчаянии и может совершить чудовищную глупость? Ты этого не понимаешь?

— Да какое мне до этого дело?!

— Мне тоже нет дела до твоих чувств. И, честно говоря, Альваро, если бы ты даже действительно в это самое воскресенье умирал, я бы все равно пошла искать Майа.

— Где ты собираешься его искать?

— Понятия не имею. Но сейчас, когда я знаю, что он жив...

— Ради бога, Чепа, зачем?

Чепа захлопывает дверцу машины.

— Не знаю — зачем.

Дозволенные игры

Почему в бабушкином доме это называлось “воскресеньями”? Сами воскресенья были короткими, официальными и требовали от нас образцового поведения, аккуратных причёсок и чистых рук. Наши родители приезжали около одиннадцати. Они устраивались в креслах-качалках или, если светило солнце, на стульчиках крыльца: мама приводила в порядок ногти, тетя Мече

читала газеты, а дядя Лучо выравнивал газон, чтобы учить моего отца удару по мячу в гольфе. Мы в это время должны были находиться возле родственников и гостей. Когда заканчивалось долгое обеденное застолье, а иногда немного позже, все разъезжались по домам.

Субботы были другими, потому что полностью принадлежали нам. Оставив нас перед зелеными деревянными воротами, родители и дядя Лучо с тетей Мече уезжали по своим делам. После церемонии с Манекеном на нас никто больше не обращал внимания, и весь бабушкин дом переходил в наше распоряжение для игр. После ужина мы, трое братьев, отправлялись спать в бельведер на втором этаже. Как только бабушка, дед и служанки гасили свет в своих спальнях, луг и кусты за окнами погружались в темноту. И тогда к нам, прямо в ночных рубашках, поднимались сестры, чтобы вместе с нами начать игру. Я уверен, что бабушка знала об этих несанкционированных визитах, но никогда ничего не говорила, чтобы не отравить нам сладостное ощущение тайны. Такого рода радости ей были понятны. Ей нравилось все, что родители называли нашими “причудами”, и, защищая нас, она не позволяла дарить нам настольные игры вроде пинг-понга, лудо, “лошадиных скачек”, домино и прочих в том же роде.

— Я не хочу, чтобы детей лишали воображения. Пусть учатся развлекаться сами. У моих внуков достаточно ума, чтобы придумать себе собственные игры.

Когда не было гостей, бабушка садилась за столом справа от деда, рядом с ней — мама и тетя Мече, напротив — отец и дядя Лучо, которые обсуждали политику, в то время как женскую половину занимали темы, гораздо больше интересовавшие нас, детей.

— Это так типично для мамы — заморачиваться детскими забавами! Осложнять жизнь себе и другим — это ее любимое дело!

— Естественно! Ведь у вас, мама, есть время и просторный дом. А представьте себе, каково приходится нам, с единственной служанкой, в тесной квартире; это был бы сущий ад, если бы дети переворачивали все вверх дном во время своих странных игр. Вам просто нечего делать!

Это была неправда. Бабушка постоянно занималась проблемами предместий и бедноты. Мы не раз замечали возле дома какую-нибудь беззубую женщину с парой орущих близнецов на руках. Она звонила в дверь и просила разрешения поговорить с бабушкой. Мы знали, что бабушка всю неделю колесит на своей машинке, улаживая дела бедняков. Но, несмотря на свою занятость, она всегда давала себе труд найти для каждого из нас в подарок на Рождество или именины что-нибудь по-настоящему необыкновенное. Однажды она объездила весь город в поисках мастерской, в которой ей смогли изготовить стеклянные шарики с моим именем

внутри, после чего во всей семье и во всей школе я стал единственным обладателем такого сокровища. В другой раз она подарила Марте и Магдалене расшитые стразами платья, в которых ходили на балы во времена бабушкиной молодости. И я никогда не забуду то Рождество, когда она сделала нам общий подарок: огромный ключ с тяжелой барочной головкой и позеленевшим стержнем – ключ от средневекового замка, сокровищницы, монастыря, от города или порохового склада. Она предложила нам найти в доме ту замочную скважину, к которой подойдет этот ключ. Несколько выходных мы вели безрезультатные поиски, пока наконец не наткнулись в подвале на нужный встроенный шкаф. Открываясь, дверь заскрежетала. Видимо, бабушка позаботилась даже о таком пустяке. К нашим ногам хлынул поток всякого хлама, приведшего нас в полный восторг, потому что он не только не отвлек нас от игры, но и прекрасно ее дополнил.

Антония принесла “пирог-перевертыш”¹.

– Очень типичный для мамы подарок.

– Она всю жизнь тратит на подобные причуды.

– А потом дети в школе не могут сосредоточиться и получают плохие отметки по таким важным предметам, как математика.

Потянувшись за куском пирога, дядя Лучо потерял нить политического дискурса и, будучи по натуре миротворцем, попенял тете Мече:

– Ну, вот! Ты уже грубишь маме.

– Лучо, ты просто не понимаешь! Меня разозлило, что ей в очередной раз взбрело в голову проделать такое с детьми. Ты только не подумай, что с нами она вела себя так же. Она очень изменилась. Тогда ее занимали променады и визиты, а нас она бросала на слуганок.

Пока дедушка объявлял, что идет к себе в кабинет слушать оперу, тетя Мече молчала. Но едва он вышел, бабушкины дочери снова бросились в атаку.

– Нет, она была еще большей хулиганкой, чем теперь. Вспомни Роситу Лафу...

Уязвленная бабушка встала из-за стола. Отец и дядя ушли в сад курить сигары. Но мы остались сидеть, словно прибитые к стульям, чтобы слушать и катать хлебные катышки по клеенке.

– Этого я не помню...

– Ой, ну что ты, Мече! В тот раз, когда я вернулась домой и обнаружила у себя в ванне Роситу Лафу, которая мылась моим мылом “Элена Рубинштейн”, тем самым, что ты подарила мне на день рождения...

Тетя Мече засмеялась.

1. Пирог, который после выпечки переворачивают вверх дном.

– Я устроила маме чудовищный разнос. Она в ответ сказала, что нет причин так волноваться. Что у Роситы Лары проблемы с мужем: дескать, он, получая по субботам зарплату, отправляется тратить ее на другую женщину. Мама советовала ей снова обворожить мужа, но когда в один прекрасный день советы ей надоели и стало ясно, что Росита ничего не предпринимает, она притащила ее к нам домой, заставила вымыться в моей ванне моим мылом, выкрасила ей волосы, подарила платье – подозреваю, что твое, – и научила, как нужно в столь соблазнительном виде поджидать Лару возле выхода со стройки, а потом сразу вести домой, кормить вкусным обедом, который сама же научила ее делать, и отправляться с ним на сиесту.

– Совершенно этого не помню.

Услышав слово “сиеста”, мы переглянулись и, потыкав друг друга локтями под ребра, выбежали из гостиной, чтобы снова встретиться в бельведере. Не помню, сколько нам было тогда лет, но точно совсем немного. Сама мысль, что Росита Лара, казавшаяся нам в ту пору исплакавшейся старухой, ходившей к бабушке жаловаться на жизнь, проводила сиесту с мужем, показалась нам чудовищно смешной. Потому что в целом сиеста была чем-то очень странным, какой-то непонятной игрой взрослых, частью того, что они называли “важным”, то есть недоступным для нас. Однажды, сгорая от нетерпения скорее ехать к бабушке, я залез на стул и на ящик, чтобы поглядеть на родительскую сиесту через слуховое окошко в ванной. Сначала я испугался: мне показалось, что родители стали жертвами какого-то насилия, заставившего их, полуголых, корчиться под простыней в раскаленном полумраке спальни. Потом я решил, что отец пытается искалечить маму, возможно даже убить, и уже собрался закричать. Но вдруг сообразил, что ошибаюсь, что это всего лишь игра, потому что они бормотали друг другу какие-то нежные словечки. Я с облегчением слез на пол, хотя страх во мне остался. Страх совсем иного рода.

Добравшись в тот день до бабушкиного дома, я пулей побежал наверх к братьям и сестрам и все им рассказал. Рассказ мой был встречен весьма равнодушно.

– Наши родители тоже этим занимаются.

– Но почему вы мне ничего не говорили?

– Потому что ты был невинный.

– А теперь ты больше не невинный.

Магдалена и Альберто попытались заняться тем же, но у них ничего не вышло, потому что они чуть не умерли от смеха. Вскоре вся затея им надоела, и они больше к ней не возвращались. К тому же какой-то одноклассник объяснил Луису, что если брат и сестра занимаются тем, от чего бывают дети, то у них рождается монстр, что-то среднее между кошкой и жабой, или идитот с гигантской головой и порочным нравом. То же самое быва-

ет, когда этим занимаются двоюродные братья и сестры, так что дисквалифицировали и меня. Мы сделали вывод, что взрослые только прикидываются, будто во время сиесты заняты чем-то важным, и делают это с единственной целью заставить нас слушаться и хорошо учиться. Иногда Луис и сестры нарочно просили что-нибудь у тети Мече непосредственно перед сиестой. Она всегда злилась. Было ясно, что они с дядей Лучо, запершись у себя в спальне, собирались заняться чем-то “важным”.

Зато бабушка никогда не бывала настолько занята, чтобы не уделить нам внимания, и игнорировала сиесту. Мысль о том, что бабушка может проделывать это с Манекеном, повергала нас в ужас. Как минимум по субботам и воскресеньям бабушка была в нашем полном распоряжении, отзывалась на любой наш зов и на любую просьбу. Даже если в это время ей нужно было присутствовать в музыкальной комнате на заседании женского комитета, она все равно не оставляла нас до тех пор, пока мы ее не отпускали. Только тогда она возвращалась к покинутым дамам. Четыре листа оцинкованного железа для Кармен Ройас я могу купить за полцены прямо на фабрике. Килограмм шерстяной пряжи для Аманды, чтобы она смогла связать что-нибудь на продажу, может быть, это ей как-то поможет. Визитная карточка для Бенисии – пусть устроит свою девочку в школу к тем монахиням, которые заботились о моей маме, когда она умирала; девочка далеко не глупа, надо ей помочь. Если, выходя из дома, дамы сталкивались с кем-нибудь из нас, то неизменно приходили в экстаз от нашего совершенства:

– Как же хороша Магдалена, благослови ее Бог, вылитая сеньора Чепе! А Марточка, такая светленькая и такая пампушка, ну просто Ширли Темпл собственной персоной! Чудеснейшая у вас бабушка, детки, храни ее Господь, после ее смерти мы воздвигнем ей анимиту¹, и вот увидите, она будет самой чудотворной в мире!

Как-то зимним воскресным вечером мы возвращались домой уже в сумерках. Устроившись в машине сзади, я пытался понять разговор сидевших впереди родителей. Возле самого парапета реки, под растрепанными ивами, я заметил пару свечей, горевших под жестяным навесом – что-то вроде крошечной часовни. Это и была анимита. Мама объяснила мне, что невежественные люди, которые в отличие от меня, уже почти первоклассника, никогда не ходили в школу, верят, будто души внезапно умерших или убитых людей, не успевших раскаться в

1. Анимиты — своеобразная форма увековечивания памяти внезапно умершего человека. Культ анимит широко распространен в странах Латинской Америки, особенно в Чили. Анимита может представлять собой небольшой домик, крест, грот или пещеру. Туда приносят цветы, свечи и другие предметы, связанные с воспоминаниями об умершем.

своих дурных поступках, скитаются вокруг места своей смерти, и если зажечь на этом месте свечку, то умерший заступится за тебя перед Богом.

– Что значит “заступится”? Кто такой Бог?

Отец знаком велел маме замолчать. Отец и дядя Лучо были людьми науки, очень современными и, несмотря на устроенный бабушкой скандал, запретили нас крестить. Они также запретили рассказывать нам о религии и учить нас молиться. Но бабушке не было дела до запретов, она тайно нас крестила, и меня, и моих кузенов, и постоянно рассказывала нам поучительные истории о душах, о святых и о божественных видениях. В школе мы не посещали уроки религии, потому что такова была воля наших родителей. Благодаря этому мы жили в лучшей части обоих миров: с одной стороны, разделяли страшную тайну совершенного над нами бабушкой обряда крещения, а с другой – наслаждались той душевной, даже несколько преступной атмосферой, которая окружала нас, единственных учеников, не посещавших урок Закона Божия. Тот факт, что нашей бабушке предстоит обрести статус чудотворной анимиты, мы, лопаясь от гордости, рассказали всей школе. Нам почему-то казалось, что именно бабушке, как никому другому, подойдет умереть в случайной катастрофе, от рук убийцы или еще каким-нибудь доблестным способом, но только не в постели, бледной и бессильной, как, по нашему представлению, умирали обычные бабушки. Конечно, подобные рассуждения относились только к тем случаям, когда мы в игре воображали, что бабушке предстоит умереть, поскольку точно знали, что на самом деле она не умрет никогда.

Зимними субботами мы много времени проводили в бельведере. Слушали барабанную дробь дождя по цинковой крыше и шелест мушмулы, которая даже в такое время, когда акации стояли свинцово-серые, как столбы дыма, не сбрасывала своих изящно вырезанных листочков. Огромный, выцветший до оттенка галеты брюссельский ковер – напоминание о другом доме и других временах, связанных с еще большим раздольем, чем у бабушки, – покрывал пол бледными призраками почти утраченных медальонов и замысловатых тыкв. Мы устраивались возле балкона, за шкафом, между кроватями, в своеобразном бастиионе, построенном нами из старых, потрепанных книжных томов. В то время мы очень увлекались игрой, которая называлась “совершенство”. Я говорил Магдалене:

– Ты совершенство.

Она отвечала:

– Почему?

– Потому что ты – властительница Китая.

Мы гасили свет, оставляя гореть только ночник. Парафиновая печь, вокруг которой мы сидели, отбрасывала на наши лица узор печной решетки и проецировала разлапистую световую ро-

зетку на потолок. В теплом и немного смрадном полумраке этого бастiona, воздвигнутого нами в бельведере, становились возможными любые превращения. Магдалена рылась в мешках и ящиках в поисках подходящих тряпок, красила глаза и примеряла украшения до тех пор, пока не превращалась во властительницу Китая. Но мы не подавали вида, что удовлетворены. Луис говорил:

– Ты совершенство.

– Почему?

– Потому что ты высокая и анемичная.

Магдалена была очень маленького роста. Но после пожелания Луиса должна была, не переставая быть властительницей Китая, двигаться так, как если бы была высокой и анемичной. Мы ее всячески критиковали. Если в какой-то момент она переставала быть китайкой или не казалась нам высокой и анемичной, как требовалось от придуманного нами “совершенства”, ей приходилось платить штраф. В случае Магдалены это означало пойти в мастерскую и позволить Сегундо потрогать ее ноги. Вернувшись, она должна была нам все подробно рассказать.

Во время одной из таких стилизаций и родилась Мариола Ронкафорт. В тот раз мы создавали совершенство из Марты, которой тогда было не больше девяти лет. Наши требования изобразить развязность, элегантность, влюбленность и бог знает что еще она, обладавшая, несмотря на свою полноту, воображением и раскованностью актрисы, исполняла безукоризненно. Как ей подчинялись руки, ноги! Расхлябанность ее позы, когда она приваливалась к косяку, эйфория, с которой она курила, растянувшись на диванных подушках! А как она вдыхала аромат воображаемого фимиама, как пародировала экстравагантность и богатство при помощи нескольких тряпок, парочки шнурков с кистями, срезанной с кресла бахромы и вырванных из метелки для уборки пыли перьев! В какой-то момент нам приходилось прикручивать парафиновую печь. Мы закутывались в пальто, шали, надевали шерстяные носки, обкладывались подушками и одеялами, чтобы продолжать наслаждаться совершенством Марты даже тогда, когда пламя окончательно гасло. Марта ставила посреди ковра светильник и накрывала его красноватой бумагой. Увлекая за собой накидки и ожерелья, она танцевала, влюблялась, путешествовала, становилась одной из сказочных женщин, возлежавших на верандах своих вилл в окружении средиземноморской флоры, иллюстрируя собой допотопные журналы “Vogue”. Она говорила по-французски, не произнося ни слова. Она влюблялась в какую-то тень и следовала за ней в Африку, чтобы охотиться на тигров, в Париж, чтобы танцевать на балах; она поднималась на борт яхты или самолета, окруженная всеобщим восхищением,

она была моделью для великих живописцев, надменная, ошеломляюще прекрасная.

– Ты совершенство.

– Почему?

– Потому что тебя зовут...

Марта колебалась. Она витала в атмосфере, которую создала в полутьме бельведера. Ей нужно было подыскать себе какую-то личину, имя, абрис, способный охарактеризовать ее творение, чтобы целиком объять его, обособить и сберечь. Марта выгнула одну бровь и простерла вперед увешанную браслетами руку.

– Йоланда... Мария. Мария Йоланда. Мари-Йола. Мариола. Мариола Ронкафорт...

Подняв плечо и прижав к нему подбородок, прикрыв глаза и вытянув вперед руку, она двигалась по комнате, в то время как ее губы с бесконечным презрением и надменным удовлетворением роняли один слог:

– Уэкс, уэкс... уэкс...

Что было в этом слогe такого, что немедленно стало для нас символом, знаком достатка, абсолютной уверенности в себе, красоты и надменности? В устах Мариолы Ронкафорт он звучал безупречно. Он все объяснял, над всем расставлял точки, хотя мы понятия не имели, что именно он объяснял и что именно значил.

С того дня Мариола начала жить вместе с нами своей очень сложной, четко расписанной жизнью. Мы перестали играть в “совершенство”, потому что игра была лишь формой поиска, а теперь мы нашли то, что искали. Теперь мы выстраивали мир Мариолы Ронкафорт и сами поселились в этом мире. Мариола была уэкс. А все люди-уэкс были настолько красивы и талантливы, настолько богаты и беспечны, что остальным смертным оставалось только любить их и восхищаться ими, купаться в их свете, в том сиянии, к которому каждую минуту каждой субботы, едва нам, Альберто, Луису, Марте, Магдалене и мне, удавалось собраться вместе, добавлялись новые подробности, придававшие ему еще больше ярких оттенков. Марта не была Мариолой. Никто не был Мариолой. Она существовала только в наших разговорах, и, хотя мы вырезали из журналов корабли викингов, которые она приказывала строить для плавания между сложными переплетениями выцветших медальонов нашего ковра, сама она жила только в наших разговорах. Мы возводили для нее бело-снежные африканские дворцы, чтобы она отправлялась в них лечиться от какого-нибудь легочного недуга. Мы до мельчайших подробностей прорисовали ее ожерелья и самолеты. Мы строили розовые замки из томов “Revue des Deux Mondes” на самом большем, самом главном медальоне ковра, где географически располагалось ее королевство. Женищина-астроном и специалистка по

отлову рыбы с подводной лодки. Чахоточная больная – после того как нас сводили на “Травиату”. Балерина характерного танца – после того как мы побывали на балете Йосса¹. Ее интрижки с Сегундо и Манекеном случались постоянно, потому что она снисходила и до простых смертных. Но вообще-то ее мир был миром уэкс, миром красивых людей, миром избранных. Вскоре бабушка, служанки и, кажется, даже Сегундо переняли у нас это словечко, “уэкс”, и оно закрепилось в лексиконе всего дома.

В тот день под иланг-илангом Антония сказала мне:

– В брюках-гольф ты выглядишь уэкс.

А бабушка предупредила:

– Не шумите там, наверху, имейте в виду, что к нам сегодня придет пить чай одна знакомая дама, весьма и весьма уэкс.

Постепенно вокруг Мариолы Ронкафорт и ее мира уэкс возникли другие миры, другие персонажи. Например, “куэки”, чья страна географически занимала симметрично противоположный медальон нашего ковра: это были некрасивые и бедные люди, с короткими толстыми ногами, в большинстве своем кучерявые и невыносимо елейные. Однако несмотря на свою внешность медоточивых дурачков куэки могли проявлять – и зачастую проявляли – порочность и коварство. Во время войн, которые люди уэкс вели в огромном центральном медальоне нашего ковра, куэки неизменно оказывались трусами, но кровожадными и коварными. Их женщины считались чудесными кормилицами. Мужчины слыли отменными поварами. Мариола для всех своих дворцов набирала поваров из куэков. Во время войн уэкс с куэками это обстоятельство приводило к многочисленным бедам, связанным со шпионажем, отравлениями, предательством и постоянным героизмом.

Потом появились “люди-стариканы” – племя одержимых профессионалов, похожих на наших отцов. Народ весьма серьезный. Некоторые из них были очень громкоголосы. Они знали все на свете и курили сигары. Друг друга они хлопали по спинам, приговаривая:

– Чертовски рад тебя видеть, старикан. Как поживает супруга? Нормально? Ну что ж, я рад. Передавай ей от меня привет. Послушай, старикан, у меня к тебе деловое предложение – уверен, оно тебя заинтересует. Но что мы тут встали, старикан? Пойдем пропустим рюмашку в баре!

Таким малолеткам, как мы, люди-стариканы всегда рассказывали о нашем сходстве с отцом, с которыми они, как правило, учились в одной школе. Они водили знакомство со всеми политиками. К государственным министрам и барменам в пивнушках

1. Курт Йосс (1901–1979) – немецкий артист балета, балетмейстер и педагог, основатель театра танца.

они обращались по именам. Политикой в стране Мариолы занимались исключительно люди-тариканы.

Мы придумывали и другие миры, занимавшие свои места на других медальонах ковра. Светловолосые и румяные “серафимы” всегда отлично учились в школе и знали все, даже если им никто об этом не рассказывал, но одновременно были глупы, лишены воображения и отваги и жили по принципу “куда кривая выведет”. Были еще “храпуны”, которые я даже не помню что из себя представляли. Народы эти сменялись, разорялись, завоевывали и истребляли друг друга. Только люди-уэкс со своей королевой Мариолой жили постоянно. В один прекрасный день мы решили, что Мариола должна умереть, чтобы превратиться в богиню.

Кто-то из тех, кто не знал, что бабушке не нравится, когда нам дарят игры, подарил нам “Монополию”. В следующую субботу мы не нашли ее в бабушкином доме. Бабушка призналась, что отнесла ее в подарок одному человеку, которого навещала в тюрьме – скоро ему предстояло выйти на свободу, и он бы непременно спятил, если бы она не принесла ему что-нибудь такое, что могло его отвлечь. К тому же она не хотела, чтобы мы играли в настольные игры. Мы были очень возмущены, потому что планировали ввести в безобидную “Монополию” своих персонажей: людей-уэкс, людей-тариканов и куэков, привлечь к игре Мариолу, ее возлюбленных и верноподданных. У нас уже были приготовлены накидки и тюрбаны, чтобы сперва в них наряжаться, не помню только, в кого и зачем. Мама и тетя Мече страшно разозлились на бабушку. Весьма для нее типично, повторяли они, весьма типично. Им она все детство отравила подобными выходками. Одевала их только по своему вкусу, не позволяла выбрать даже какую-нибудь мелочь. Заставляла ходить к мессе и причащаться, хотя сама и не думала подавать им пример.

– Разве я не сопровождала вас и прислугу в месяц Марии¹?

– Да, сопровождали, потому что вам нравились процессии, цветы и прочая мишура – все это вас завораживает, как колдовское зелье.

Бабушкины глаза наполнились слезами.

– У меня своя религия.

– Ах вот как! Превосходно! Почему же в таком случае не могло быть своей религии у нас?

Секунду бабушка молчала. Затем стала красная как рак, и внезапно вся ее ярость выплеснулась наружу.

– Ты думаешь, что Бог – идиот? Ты думаешь, он предпочел бы, чтобы я таскалась в церковь слушать вздорный лепет свя-

1. Католическая церковь посвящает месяц май Пресвятой Деве Марии.

щенника и теряла время, вместо того чтобы пойти и научить этих несчастных женщин, как избавить детишек от вшей? Да, Мече, избавить от вшей, ведь ты у нас такая левачка! Вот этими руками, настолько уэкс, научить их, из чего готовить еду, когда не хватает денег, что именно шить и вязать, чтобы помочь своим мужьям...

— А что вы сделали, чтобы помочь нашему отцу?

Сидя на другом конце стола, возбужденные выдвинутыми против бабушки обвинениями, мы пользовались горячностью спора, чтобы остаться и услышать побольше сведений, всплывавших в разговоре всякий раз, когда мама и тетя Мече были на нее злы. Бабушка немного помолчала и высморкалась в платок.

— Что вы в этом понимаете?

— Он даже не может выйти с вами из дома, потому что вы ходите в таком позорном виде.

— Что плохого в этом платье?

— Могу спорить, что вас такой сделала Росита Лара.

— Конечно. Не вы, которые так со мной себя ведете. Немедленно пойду к Фанни и расскажу, как вы со мной обращаетесь.

Мы встали из-за стола и с достоинством удалились в бельведер. Оскорбление было нанесено всем нам. Мы были довольны, но молчали, потому что мама и тетя Мече расправились с бабушкой, как иногда расправлялись с нами. Ненужные маскарадные костюмы полетели на пол. Войска Мариолы остались валяться на ковре. На стене висела репродукция картины, на которой несколько юношей и девушек в послеобеденной тени пиний скорбели над накрытым белым покрывалом и осыпанным цветами трюпом. Мы думали о том, как было бы хорошо вот так же плакать, стоять на коленях, рвать на себе волосы, бросать цветы и курить фимиа в золотистом свете заката, переживая настоящую, большую потерю. Но ничего страшного не будет, если мы все это придумаем сами.

Часть II

Однажды ранним утром Чепе позвонила Фанни Родригес и рассказала, что слышала, будто заключенные в тюрьме шьют превосходные изделия из кожи — те же самые модели ремней, сандалий, портмоне и бумажников, которые в центральных магазинах продаются в пять раз дороже. Поскольку близилось Рождество, и им обоим нужно было многих поздравить, они решили сходить туда и попробовать за разумные деньги купить подарки всем, кому смогут, чтобы не метаться по магазинам в последний момент. Фанни уже все разузнала: посетителей пускали по средам, с двух до пяти, а начальник тюрьмы, Бартоломэ Паэс, служил в Верховном суде делопроизводителем.

лем в те времена, когда в нем председательствовал дон Алехандро Росас.

— Ты его не помнишь, Чепа?

— Абсолютно...

— Ничего, главное, если нам что-то понадобится или если нас не пустят, достаточно будет произнести имя твоего отца.

Их пустили без лишних вопросов. Однако, пробыв на тюремном дворе не более пяти минут, они поняли, что поживиться здесь ничем не смогут. Они ходили по пыльному, обнесенному гладкими стенами солнечному квадрату с небольшим треугольником тени в углу. На прибитых по периметру лавках посетители раскладывали перед заключенными пакеты с фруктами и маринованной свининой и так и оставляли их на расстеленных газетах, в то время как сами заключенные гораздо охотнее утоляли голод, чем общались с теми, кто пришел их навестить. Некоторые арестанты носили по двору связки кошельков и ремней и предлагали их посетителям. Тщательно осмотрев товар, Фанни и Чепа разочаровались: хотя модели действительно были те же, что в лучших магазинах города, но сделаны они были грубо, с дешевенькой подкладкой и неровными швами, однако больше всего огорчало то, что некоторые умельцы в неудержимом порыве вдохновения разукрашивали строгие, элегантные модели цветочками из разноцветной кожи.

— Ну зачем столько финтифлюшек? Знаешь, Фанни, если бы не аляповатые цветочки, я купила бы те три аккуратненьких портмоне. Но в таком исполнении они мне не нравятся.

И они шли дальше — осматривать продукцию других заключенных. Уже собравшись уходить, они заметили одного арестанта, ремни которого выглядели прилично, а классической формы кошельки были сделаны строго и просто.

— Разве что вот эти...

— Да, эти хороши...

— Какой вам больше по вкусу, сеньорита?

— Вот этот. Правда, Чепа?

— Мне больше нравится другой — вон тот.

— Такой у меня остался один, сеньорита.

— Я его возьму.

— А я?

— Но ведь тебе понравились другие?

— Да, но нам лучше купить одинаковые, иначе потом мне будет казаться, что я выбрала не те...

— Получится, будто мы на распродаже побывали...

Стоя на солнцепеке со связкой ремней и портмоне, заключенный ммуро наблюдал за Фанни и Чепой, пока те, укрывшись в тени, считали, сколько им нужно кошельков: один для Мече, один для Пины, еще один для Берты Лепе, бессменной

секретарши Альваро и жуткой зануды — бедняжка умрет от радости, если я подарю ей такой кошелек, и еще один для... короче, куплю лучше четыре, нет, пять — на всякий случай. Произвела подсчет и Фанни: один для Виктории, один для моей сестры Мануэлы — мы как раз с ней немного повздорили, и два, нет, один — про запас.

— Нам нужно таких восемь.

— У меня остались только эти...

— Ну вот! Какая жалость!

— В таком случае уходим?

Фанни зевнула и оглядела двор в поисках еще кого-нибудь, у кого они не успели осмотреть товар. Продавец красивых кошельков это заметил.

— Но я могу их сделать.

— Когда?

— А когда вам нужно?

Чепе на секунду задумалась.

— К следующей среде.

— Нет, сеньорита, к среде я не успею...

— Ну, что тут поделывать... Тогда уходим? Разве ты не видишь? Здесь мы ничего не найдем, к тому же очень жарко... Всего вам доброго, любезный!

Они уже повернулись к нему спиной, когда хозяин красивых кошельков наконец встрепнулся. Чепе почувствовала, что он обращается именно к ней, а не к Фанни:

— Хорошо. К среде. Только ради удовольствия снова вас увидеть...

Фанни засмеялась:

— Экий проказник!

— Как вас зовут, чтобы мы знали, кого спросить, когда придем в следующую среду?

— Майа, к вашим услугам.

— Меня зовут Хосефина Росас де Вивес.

— А меня Фанни Родригес де...

Майа записал в черную записную книжку имя Чепы, проговаривая каждую букву себе под нос. Попрошавшись с дамами, продавец пошел через двор. По дороге он остановился, чтобы сравнить свой товар с продукцией другого арестанта. Когда он наклонился и стал пить воду из крана, к нему подкрался еще один заключенный и, смеясь, толкнул его головой под струю. Майа выпрямился, как пружина, с перекошенным от злости лицом. Он хлестнул шутника связкой кошельков. Чепе ахнула и схватилась за горло, но второй заключенный успел увернуться. Майа вслед за ним вошел в дверь мимо раступившейся охраны.

— Бедный парень! Такой молодой! Ты заметила, как проказник дурачился с приятелем?

— Он и не думал дурачиться! Это грубое животное, Фанни. Разве ты не видишь? Если бы тот, другой, не успел отпрянуть, он бы сбил его с ног.

Фанни и Чепе каждое утро общались по телефону, но только в следующую среду, ближе к полудню, Фанни сообщила подруге, что с дачи неожиданно приехала Виктория с больным ребенком, и они должны сейчас везти его к врачу. Ты же понимаешь, как встревожена бедняжка Виктория! Я не смогу пойти с тобой в тюрьму, так что будь добра, захвати мои портмоне. А мы с тобой потом сочтемся. Когда у ворот тюрьмы Чепе попросила вызвать Майю, ей ответили, что он болен.

— А где он?

— В лазарете.

— Я могу его навестить?

— Вы ему родня?

Вопрос охранника, не видевшего очевидных различий, вызвал у Чепы усмешку. Она подтвердила: да, я родственница Майи. Надо было принести ему фрукты, как делают другие родственники. Но как выглядит этот Майя? Сможет ли она его узнать, чтобы не топтаться на пороге лазарета, а сразу найти его среди больных? Чепе не помнила его лица. Пробираясь между желтоватыми кроватями, с которых на нее смотрели небритые лица арестантов, в то время как их бедно одетые родственники сновали мимо с ночными горшками и стряхивали с кровати крошки, Чепе говорила себе: нет, не этот. И не этот тоже. Майя при ней не улыбался. Но у него что-то было на губе, такого я и пытаюсь найти, что-то на губе, я это точно помню, но не помню, что именно. Вон тот, что улыбается, тоже не он... Слава богу, Фанни не смогла прийти, она умерла бы от вонии дезинфекции, грязной одежды и мочи... Вот он. Это Майя. Родимое пятно.

— Майя...

Он лежал под грубой простыней, закинув руки за голову, и неотрывно смотрел в безоблачное небо. Глаза его моргали, как у обычных людей, но несколько медленнее. Черты обмякшего лица словно слиняли, оставив на виду только очень темное, ошетилившееся волосками родимое пятно над верхней губой. Чепе села в ногах его кровати, но Майя ее не узнал. Она его окликнула. Он продолжал дышать и моргать в прежнем ритме. Чепе знаком подозвала санитаря.

— Что с ним?

— У него такое бывает...

— Он словно в ступоре...

— Сейчас он у нас под присмотром, сеньора. Лежит, смотрит в потолок, ничего не ест и не говорит. Приходится кормить его с ложки, как младенца. Не сказать чтобы он сопротивлялся, нет! Но сам ничего не делает ни для того, чтобы

поестъ, ни для того, чтобы попросить у меня — уж вы простите за грубое слово, сеньора! — помочиться... ничегошеньки. Лежит себе, смотрит в потолок, и так целыми днями, и хотя это не болезнь, но доктор говорит, что его нужно держать в лазарете.

— Сколько он уже здесь?

— Шесть дней.

— Нет. В тюрьме.

— Майита? Уф, откуда же мне знать! С десяток лет уж точно будет. Я думаю, поболее моего.

Поскольку Майа было не больше тридцати, значит, посадили его лет в двадцать. Господи, что же натворил этот бедолага, чтобы просидеть в тюрьме десять лет? От постели Майа шел знакомый запах нищеты — я чувствую его каждый день, когда бываю в предместьях, он копится в промерзших жилищах бедняков, и вонь из них не выветривается никогда, хотя туда проникают и ветер, и дождь. Ноги на утоптанном полу и босые детишки с вечно сопливыми носами смердят, сколько их не мой... Майа. Такой агрессивный на прошлой неделе. Чуть не убил связкой кошельков другого арестанта. А теперь лежит здесь, как кукла. Но эта неподвижность — обратная сторона его агрессивности, обратная сторона той же натуры. Но как? Почему? Она — дама из приличной семьи, и для нее достаточно помогать бедным в решении неотложных проблем: не дать им замерзнуть, не позволить голодать, и с этим я умею справляться. Мои дочери и зятья шепчутся за моей спиной, что я глупа, не понимаю этих людей и обо всем сужу очень примитивно. Но что поделать? Я вижу их нищету. И грязь, которая их окружает. И только это мне и по силам, потому что, к несчастью, я необразованная женщина: помимо чтения и письма, бонна научила меня только счету. В игре на пианино я не продвинулась дальше простейших этюдов Черни, а французский давно выветрился у меня из головы. Я делаю для этих людей то, что умею: учу их не жить в грязи, оклеиваю их комнаты газетами, потому что, если этого не сделаю я, они сами палец о палец не ударят, а ведь зимние ночи грозят пневмонией; да, я умею помогать, позвольте мне им помогать, но не милостыней, а попытками приучить к чистоте, к умению считать деньги, сохранять здоровье... только это, не больше, потому что ни в политике, ни в истории я не разбираюсь. Наводить чистоту, дезинфицировать. Иногда утешать. Но что делать с Майа? Как его реанимировать? Как вернуть к жизни? Невозможно узнать, что скрывается за печалью его лица, которым он сейчас даже не владеет, чтобы что-то выразить или попросить. Почему его агрессивность идентична его беззащитности, что предполагает мир ужасных противоречий, в который он заставляет

меня заглянуть? Страх. Нет, не страх. Есть в Майа и что-то жалкое, а там, где есть что-то жалкое, открыта дверь, в которую я могу войти. Мне хотелось бы к нему прикоснуться!

Чепа попросила у санитара немного теплой воды и какую-нибудь тряпку, чтобы обмыть нечистое лицо Майа. Протирая его залитые потом глаза, она заметила, что он их закрывает, чтобы защитить. Хороший признак. Вскоре она ушла, потому что молчание Майа герметично заперло его внутри незнакомого ей “самого себя”.

На следующей неделе Фанни снова не смогла составить Чепа компанию. Но Чепа все равно отправилась в тюрьму и нашла Майа очень опрятным, с недавней стрижкой, обнажившей бледный череп между черной щетиной над ушами. Он был уродлив. Такой страшненький, бедняга! С этими маленькими глазками и родимым пятном возле рта. К тому же он был высокий и нескладный, обладал развязной, хоть и не лишённой грации походкой и немного длинноватыми руками. Они сели на скамейку в тени, недалеко от крана с питьевой водой.

- Майа, что с вами было?
- Черная хворь, сеньора...
- Что это такое?
- Недуг, который на меня иногда нападает.
- Но в чем он состоит?
- Не знаю, сеньора, просто черная хворь...

Он не хотел больше об этом говорить. Чепа поняла, что Майа ничего не знает о ее предыдущем визите. Он извинился за то, что не сшил обещанные восемь портмоне. Готовы были только четыре. Может быть, она окажет ему любезность и зайдет в следующую среду еще разок? Он обещает дошить остальные четыре и не доставит ей больше беспокойства.

- Никакого беспокойства, Майа, о чем вы говорите!

Но он ее не слушал. Его глаза были прикованы к высокому человеку надменного и мрачного вида, который равнодушно прошел мимо, пока Майа жадно ловил его взгляд, чтобы по приветствовать.

- Кто это?
- Аэдо.
- Какой неприятный!
- Он о себе много понимает...
- С какой стати он о себе много понимает?
- Потому что одержимый.
- Одержимый?

— Ну да. Из тех, кто попал сюда из-за ревности, из-за любви или еще чего-нибудь такого. В тюрьме они сильно важничают. У них тут всякие вольности, потому что считается, что они не настоящие преступники.

Чепе слегка запнулась, прежде чем спросить:

— А вы, Майа?

Он впился в нее злыми глазами, чтобы увидеть, моргнет она при его словах или нет.

— На мне убийство, сеньора.

— А...

— Да, убийство.

— Из страсти?

— Нет... просто убийство.

Какое-то мгновение она надеялась, что Майа подтвердит: да, я тоже одержимый. Тогда она смогла бы потерять к нему интерес. Просто забрала бы свои портмоне и ушла. Но если Майа другой, если он из тех, кто убивает от нужды, от голода или по глупости, тогда он ее подопечный. Она представила себе, как всю жизнь ходит по средам навещать Майа, и испугалась этого приговора, поразившего ее своей притягательностью. Она могла бы рассказать Майа, что такое страсть, как она гибнет от одного удара, и как человек продолжает жить без нее. Никого не убивает, просто придумывает себе что-нибудь взамен, ведь можно быть счастливым и так. Она намеревалась ему это сказать, чтобы он не считал себя недостойным Аэдо.

Намеревалась, но не сказала, потому что Майа уже начал говорить о том, что она хотела слышать: убил он от нужды и по глупости. Она незаметно расспрашивает его, подталкивает к откровенности, но я не могу, не должна, мне нужно идти, пора приводить себя в порядок, чтобы вечером сопровождать Альваро на коктейль в посольство Коста-Рики, иначе он на меня разозлится. Но она слушает, расспрашивает, а этот парень с такими маленькими, жуткими руками, с миниатюрными суставами и расчетливыми, деликатными движениями ей отвечает, и Чепе уже не нужно задавать вопросы, потому что Майа и сам не может остановиться, как человек, покотившийся по наклонной, и выкладывает все, что сам о себе знает. Даты. Места. Север, такой же безотрадный, как этот пыльный двор, только протянувшийся до горизонта. Покрытый кальциевым налетом поселок посреди пампы, вдаль от всего на свете, там, где только ворота домов могут втянуть в себя тень. На проволоочной ограде ждет своего часа хищная птица. Босоногие дети, голодные мухи доедают крошки у них на губах, мальчики и девочки, играющие с камнями, пустыми банками и бутылками, а то и просто с землей, когда больше не с чем, как чаще всего и бывает. В восемнадцать лет он совершил преступление. Самым богатым человеком в поселке был узкоглазый владелец продуктовой лавки. Майа и его приятель готовили убийство целый месяц. В пустыне некуда бежать. Убийство нужно было совершить перед самым отходом

автобуса к побережью и сесть в него, пока никто их не засек. Наконец как-то вечером они явились в лавку и огрели хозяина мешком с камнями по голове. Потом забрались в автобус до Токопильи. Они успели купить себе костюмы, рубашки и галстуки. Денег после этого осталась самая малость, только на хорошую пирушку. Их арестовали в увеселительном заведении Токопильи, где они ели куриный бульон с вермишелью. Майа приговорили к двадцати одному году и одному дню, а другого, несовершеннолетнего, отправили в исправительную колонию для подростков, но климат в столице сырой, и, говорят, он в первый же год скончался от пневмонии. Зачинщиком убийства был Майа, и он же втянул малолетку — отсюда такой долгий срок. Двадцать один год и один день. Он отсидел девять лет, четыре месяца, двадцать два дня, пятнадцать часов и тридцать три минуты. Майа посмотрел на свои часы одной из тех солидных, увесистых моделей, которые показывают час, день, месяц, год и даже фазу луны, — это были дорогие, очень дорогие часы, но для заключенных питавшийся временем аппаратик имел особое значение.

— Тогда я был совсем мальчишкой.

— А теперь уже взрослый человек.

— Да.

— Вы знаете, что я заходила к вам в среду?

— Нет.

Казалось, Майа в своем повествовании докатился до конца наклонной и теперь выглядел опустошенным, как будто на душе у него ничего не осталось, а катиться дальше было некуда. Чепа встала.

— В таком случае — до среды.

Майа тоже встал. Угрюмый, одинокий. В его непроницаемых глазах не отражался яркий свет двора.

— Знаете, сеньора, лучше вам не приходить в следующую среду. У меня будет много работы, и я не успею дошить кошельки.

Настаивать Чепа не стала. Лучше было уйти, пока она еще могла. В противном случае она останется здесь навеки. Она торопливо попрощалась. Вернувшись домой, она попросила Альваро сходить в посольство Коста-Рики без нее, сославшись на сильную головную боль. Ему безразлично, если я не пойду. Кажется, у него интрижка с женой посла или, может быть, с женой консула. Нет, все-таки посла. Не важно. Меня это не интересует.

Она надела халат. Придуманная головная боль стала реальной. Она раскрыла окно в сад, и подступавшие к самому подоконнику ветки гортензий сомкнули уличные сумерки с полумраком комнат. Она навела порядок в ящиках, пришила пуговицу, заштопала порванное кружево на нижней юбке,

разложила попарно перчатки, перебрала накопившиеся в гардеробе и комодке бумаги, отделяя нужные от тех, которые можно было выбросить в помойку, и все только ради того, чтобы отвлечься. Позднее Антония подала ей в постель какао и хлеб со сливочным маслом. Она уснула рано.

В следующую среду, когда ей уже почти удалось забыть Майа, позвонил тюремный охранник и передал, что Майа просит ее оказать ему любезность и зайти за кошельками, что они уже готовы. Чепа отменила свидание с Мече, которой обещала съездить с ней на фабрику и помочь выбрать ткань для портьер в ее новую квартиру. Проигнорировав возмущенные протесты дочери, она отправилась в тюрьму.

— Я думал, вы не придете.

— Почему же?

— Я думал, вы на меня рассердились.

Она промолчала.

— Разве вы не рассердились?

— Нет...

— Возьмите, это вам от меня подарок.

Майа вручил ей ужасающий пояс, на котором было вышито кожей: “сеньора Чепа”. Она благодарно улыбнулась, и от ее улыбки беспокойство Майа улеглось. Они сели в тени. Неожиданно Майа стал на нее поглядывать. К тому моменту они уже о чем-то говорили, но теперь он замолчал, и все указывало на то, что он сейчас выскажет какую-то просьбу. Не хочу. Не хочу, чтобы он у меня что-то просил, и не хочу ничего для него делать. Лучше отдам деньги за портмоне и уйду, меня и так гложет совесть, что я подвела Мече. Может быть, она еще не ушла, и, если ей сейчас позвонить, я еще успею застать ее дома. Чепа попрощалась с Майа. Возле выхода из тюрьмы она спросила охранника, откуда здесь можно позвонить. Он указал на дверь в конце коридора, перед которой стоял секретарский стол с телефоном. На двери висела табличка: “Бартоломэ Паэс, начальник тюрьмы”. Фанни говорила, что Паэс — человек приличный. Вместо того чтобы попросить у секретарши разрешения воспользоваться телефоном, Чепа попросила ее доложить дону Бартоломэ о своем визите.

— Хосефина Росас де Вивес. Дочь дона Алехандро Росаса. Дон Бартоломэ был с ним знаком.

Секретарша пригласила ее в кабинет. В глубине кабинета над столом маячило толстое потное лицо с отвисшими дряблыми щеками, подпертыми не очень свежим воротничком, с черными, подвижными усами, терявшимися в темных недрах ноздрей — возможно, изнутри этот человек был сплошь покрыт шерстью, словно вывернутая наизнанку обезьяна. Он

встал. Заговорил... огромная честь, дочь дона Алехандро... замечательный человек, таких теперь не встретишь... ну, как я мог забыть... конечно, ваш дом на улице Мерсед, иногда я привозил дону Алехандро документы, когда он был настроен поработать дома, и он угощал меня сигарой... замечательный человек. И, конечно, дон Альваро! Как же, как же! Кабальеро, столько лет преподававший на юридическом факультете, его весь белый свет знает! Еще бы, садитесь, пожалуйста, для вас я всегда свободен, одно удовольствие и только...

— Чем могу быть полезен?

Она спросила про Майя.

— Золото! Настоящее золото этот Майита! Заключенный с самыми лучшими характеристиками. Безоговорочный эталон и в поведении, и в работе.

Паэс произнес импровизированную речь о пороках общества и его нечаянных жертвах. Взять, к примеру, Майя. Хороший парень, куда его ни определи. Бедность и необразованность повинны в том, что этот образцовый человек сидит в тюрьме, в то время как истинный порок гуляет на свободе. Чепе пришлось сдерживать усмешку, потому что идеи Паэса ничем не отличались от ее собственных, но в его устах звучали по-другому, абсурдно... человек, который, по словам Фанни, учился в США и бог весть где еще, должен был, как ей казалось, говорить и содержательнее, и умнее.

— Но возвращаясь к Майя...

Он не только прекрасный работник, но и берет себе учеников, обучает их ремеслу. У него нет ни семьи, которую ему пришлось бы содержать, ни друзей, и ничего, на что заключенные тратят деньги. Правда, он любит новую одежду, потому что большой франт, и, когда приходит Марухита Буэрас со своим чемоданчиком, скупает у нее все подряд. Тем не менее он отложил неплохой капиталец, да, по-настоящему неплохой, я бы сам не прочь иметь хотя бы половину этой суммы. Майя мог бы открыть мастерскую, стать богачем...

В тот же вечер сразу после ужина Чепе закрылась у себя в спальне с телефоном, позвонила Фанни и изрядно рассмешила ее историей с пояском.

— Ну что же, Чепе, дело ясное, Майя в тебя влюблен, да-да, и не рассказывай мне сказки! Когда пойдешь туда в следующий раз, я пойду с тобой в качестве сопровождающей. В твоём-то возрасте! Ты не можешь пожаловаться на отсутствие удачи. Я, кстати, нахожу этого Майя прелестным. Да, я пойду. Не могу допустить, чтобы ты натворила глупостей...

— Говорю тебе, я туда не собираюсь! Все портмоне я уже забрала. И, сказать тебе по правде, при ближайшем рассмотрении они не так уж хороши.

— Ты сгораешь от нетерпения пойти туда снова.

- Фанни, не говори глупости.
- Я пойду с тобой.
- Повторяю: я никуда не собираюсь.
- Ладно, оставим это. Но мне еще нужно нескольких ремней для подарков, а одна я туда пойти не решусь.
- Фанни, не лги. Не далее как вчера ты говорила, что, слава богу, в этом году уже приготовила все подарки.

Увидев их, Майа не удивился. Они купили у него еще кое-что, затем все трое сели в тени на скамейку. Чепа передала Майа слова начальника тюрьмы и поздравила его с ними. И с накопленной суммой денег тоже.

— Ты мне об этом ничего не рассказывала, Чепа...

— Ну, забыла.

Майа, обычно такой скучный и понурый, вдруг сделался страшно разговорчив. Он шевелил руками и бровями, задышался от слов, вытирал пот со лба и промокал носовым платком шею. Заикаясь, краснея, разглядывая ладони, землю, проходивших мимо людей, он обращался к ним обеим. Потом уже только к Чепе: он очень хочет выйти на свободу. Девять лет в столице, а он ее даже не видел... парки, ведь на севере парков не бывает. Залитые светом магазины, которые, говорят, здесь есть. На улицахлюдно до самой ночи. Девять лет. Он был ребенком, когда совершил преступление. Теперь он взрослый человек. Тюремный священник научил его читать, писать, считать, и у него есть кое-какие деньги... Да. Если бы кто-то за это взялся! Марухита Буэрас, та, что приходит продавать им одежду, поговорила с адвокатом, но надо иметь связи, знать нужных людей, иметь, как говорится, свою руку среди судейских, а у вас она есть, сеньора Чепа. Не говорите, что нет. Есть! Я знаю. Ваш муж адвокат. И профессор. Так мне сказали. Я ведь и сам навожу справки. Я вам заплачу, отдам все деньги, которые заработал здесь за девять лет отсидки, я их вам отдам, только сделайте все возможное, чтобы вытащить меня отсюда, а там, на свободе, я легко начну все сначала, без единого песо, для этого у меня есть руки... маленькие, но умелые. Марухита Буэрас никто. Из таких же простых, как я сам. Ее никто не будет слушать. Невозможно понять, в каком ведомстве застряло мое дело, а раз у меня нет ни друзей, ни родных, оно никогда не сдвинется с места. Два, даже больше, чем два, года оно болтается неизвестно где. А ведь так просто добиться смягчения приговора с зачетом прошлых лет! Именно для этого я так хорошо себя вел все это время.

В машине она сказала Фанни, что не возьмется. Ей не нужны новые обязательства. Мне и так продохнуть некогда со всей этой публикой из предместий. Да еще Альваро со своими ма-

ниями. И девочки, которые постоянно принимают его сторону и критикуют все, что делаю я.

— Ты только представь, что они на это скажут!

— Зачем тебе обращать на них внимание?

— Я чувствую себя виноватой, потому что не была хорошей женой Альваро, хорошей матерью дочерям. Ты ведь знаешь, они никогда меня не интересовали... нет, ты не подумай, что я какой-то монстр! Но они так рано перестали во мне нуждаться...

— Тебе всегда было безразлично, что они скажут.

— Фанни, давай пообедем вокруг парка, мне пока не хочется домой. Поговорим, мне нужно излить душу.

...и конечно мне, дочери Алехандро Росаса, это было бы совсем не трудно. Для меня открыты двери всех судов, Альваро все на свете знают, сама понимаешь, что значит преподавать столько лет... даже министры. Но нет. Я не могу. Я стара. И за последнее время очень устала. Не успеваю дух перевести, к тому же я ничего не знаю об этом человеке. Бывают такие вещи, которые мне совершенно не по нраву. Да еще это родимое пятно. Ответственность слишком велика. Как ты можешь советовать мне за это братья, Фанни?

— Помилуй, я тебе ни слова не сказала! Ты сама все это говоришь. Если ты будешь так невнимательно вести машину, ты меня угровишь. Я согласна, это было бы безумием...

— Что именно?

— Я про Майю.

— Почему безумием?

— Ты можешь нажить себе неприятности.

— Я нажила их уже столько!

Чепе отвезла Фанни домой. Свет на письменном столе, профиль Альваро на занавеске. Он играет сам с собой в шахматы. Если бы она могла собраться с силами и научилась играть в шахматы, чтобы составить ему компанию! Если бы она не испытывала такой лютой ненависти к музыке! Если бы заставила себя продолжать хоть немного интересоваться делами дочерей, когда они начали обретать самостоятельность! Если бы! Столько “если бы”! Почему этот Майя так вкрадчиво разговаривает? Гнусаво, как дьякон... наверно, какой-нибудь монашек научил его так тщательно произносить “с” и “д”. И это родимое пятно на губе, которое слегка шевелится, когда он ведет свою монотонную речь... только когда он улыбается, пятно начинает подрагивать и обнажает большие, крепкие зубы. Конечно. Северянин. Кальций. Такое количество шахт... Улыбка Майи обворожительна.

Этот вечер Чепе провела при свете: рисовала контурную карту для одной из дочерей Роситы Лары. Обычное школьное задание, но девчонка, такая же бестолковая, как и мать,

не смогла с ним справиться, так что лучше Чепа нарисует карту сама, чтобы не огорчать плохими отметками Роситу Лару, которой и без того забот хватает. А еще счета из “Центра материнства”. Альваро в соседней спальне рано погасил свет. Прежде чем лечь спать, Чепа твердо решила завтра же утром спросить мужа, как можно добиться смягчения приговора сроком в двадцать один год и один день.

Весь тот год Чепа провела в беготне по судам, добиваясь смягчения приговора для Майя, роясь в заваленных пылью и личными делами подвалах, стоя в очередях к судьям и министрам, обхаживая их секретарш, чтобы получить подпись, сертификат, аналитический материал, отчет, любую бумажку, которая могла бы помочь беспрепятственному прохождению дела через многочисленные инстанции, пока наконец оно не легло на стол министра юстиции для получения последней подписи. К счастью, мир юриспруденции был привычным миром Альваро, который, хоть и вел себя порой недружелюбно, когда она просила написать для нее рекомендательное письмо или кому-то позвонить, в целом был честолобив и любил пускать в ход свои связи. Чепе стало казаться, что весь белый свет либо учился вместе с ним на факультете, либо побывал у него в учениках, а уж найти в этом городе конкретного человека никогда не составляло труда, и, хоть он и разросся, и стал уже не тем, что во времена ее отца, здесь по-прежнему все друг друга знали. Нужно только сохранять терпение, и со временем дело непременно решится.

— Зачем тебе нужно, чтобы я снова звонил министру?

— По поводу Майя.

— Разве он еще не на свободе? Ты уже чуть ли не год этим занимаешься...

Чепа опустила на колени руки с курткой одного из внуков, которую тот порвал в предыдущее воскресенье и которую она теперь чинила.

— Ты ведь сам знаешь, как все медленно происходит. Иногда мне приходится по три, по четыре часа дожидаться в душном, битком набитом коридоре единственно для того, чтобы сеньорита в окошке объявила, что я ошибаюсь, что мне не сюда, что по этим вопросам нужно обращаться к такому-то в таком-то месте, на другой улице и в другое время. А когда я наконец попадаю к сеньору, который имеет право подписать бумагу, вдруг выясняется, что он тебя знает и чем-то тебе обязан или что-нибудь в этом роде, и умоляет меня в следующий раз не утруждать себя стоянием в очередях, а просто ему позвонить. Клянусь тебе, это в последний раз...

— Я с самого начала советовал тебе взять адвоката.

— Как будто ты не знаешь адвокатов! Чтобы Майа ухлопал на них все деньги и в результате не смог открыть кожевенную мастерскую? Меня злит, что приходится, как идиотке, целыми днями ждать в каком-нибудь ледяном коридоре, когда у меня столько дел в предместьях! И с какими людьми приходится иметь дело! Этот несносный начальник отдела, коммунист или кто он там еще, который постоянно выходит из себя. Представь, не меньше месяца задерживал решение по делу Майа, пока я не попросила его начальство, чтобы ему устроили головомойку, и только после этого он прекратил вставлять мне палки в колеса.

— Зачем тебе нужно, чтобы я снова звонил министру?

— Дон Педро Бенитес обещал мне позвонить около пяти. Уже половина седьмого, и никто до сих пор не позвонил. Если ты сейчас с ним не поговоришь, то завтра мне придется опять толкаться в приемной. Майа уже сходит с ума.

— У меня просто нет слов! Как ты помнишь, я звонил ему на прошлой неделе, а ведь тебе отлично известно, что все министры сейчас очень заняты вопросами реформ. Эти реформы чрезвычайно важны!..

— А мне что прикажешь делать? Бедняга Майа всю прошлую неделю чуть ли не на успокоительном сидел, дожидаясь подписи министра, самой последней в его деле. Скажи, что мне с этим делать?

— Успокоительное нужно в первую очередь тебе!

— Какой же ты все-таки несносный!

Альваро захлопнул книгу и опустил ее на колени, предвзительно заложив пальцем нужную страницу.

— Ты сама в это ввязалась.

— Хорошо.

Чепа уколола палец. Они сидели в кабинете, распахнутые в сад окна отражались в стеклах книжных шкафов, на дворе начинало темнеть.

— Чепа...

— Что?

Альваро сидел на противоположном конце серой кушетки. Он зажег настольную лампу. Свет упал на книгу, оставив в тени его лицо, но очертив яркой линией профиль. Орлиный профиль с широкими крыльями носа и изящно вылепленным черепом. В молодости я глаз оторвать от него не могла, когда он сидел в профиль. Выходи за Альваро, не будь душой, он такой красавец, выходи за Альваро Вивеса, твердили ей подружки и родители, и, когда она смотрела на его профиль, ей тоже казалось, что да, безусловно, то, что она чувствует, — это любовь, ведь ее подружки, выходявшие замуж примерно в то же время, радостно толковали о любви, приходя в восторг от го-

раздо большей ерунды, чем профиль. Чепа откашлялась. Альваро обернулся.

— Ты простужена?

— Нет.

Но глядя на него вот так, анфас, она никакой любви не испытывала. Изящество его черт оборачивалось их скудостью: очень узкое лицо, близко, как у мыши, посаженные глаза. Но что ее так ослепляло, почему она не могла разглядеть это лицо до самой свадьбы? Одного месяца хватило на то, чтобы увидеть его совсем по-другому.

— Чепа...

— Что?

— Ты твердо уверена?

— Ты о чем?

— О Майа.

— Я уже сто раз тебе говорила, что в тюрьме он на самом хорошем счету. А иначе зачем бы начальник тюрьмы собственноручно подписал ему особую характеристику?

Альваро снова раскрыл книгу, и, повернувшись к Чепе в профиль, стал выглядеть моложе. Любой пустяк, но с официальным штампом — досье, рекомендация, отчет, поощрение — безоговорочно его убеждал. Подпись компетентного лица, бумага с печатью, гербовая марка, свидетель... поэтому он и предпочитал состоять в браке. Не из-за девочек, как сам уверял, а именно по этой причине: из-за официальности их отношений, подтвержденных сертификатом. Делая последние стежки на заплатке, Чепа вдруг почувствовала, что вся ее кровь прилила к голове. Лицо ее запылало. Она закрыла глаза: действительно, а если, выйдя из тюрьмы, Майа во что-нибудь ввяжется, во что-нибудь ужасное, во что-нибудь такое, что отразится на ней и на Альваро и разом уничтожит все сертификаты, повергнет жизнь Альваро в убийственный хаос? Она прикусила губу — какая же я дура, нет, нет! На подоконник упал редкий для весны сухой лист, за окном Антония поливала газон. Альваро принес себе стакан молока и постное печенье. В гортензиях шумит вода из шланга... ветерок едва ли можно назвать ветром, он хочет расшевелить во мне что-то, чего давно не существует. Нет, Боже мой, я должна позаботиться о Майа, должна спасти его от самого себя, помочь ему выкарабкаться, только это. Господи, больше ничего! Хватит, и она со злостью перекусывает нитку, закончив шитье. Альваро моргнул, не отрывая глаз от книги, мое движение его отвлекло, он потерял строчку и не может найти, теперь нашел. Морщинка пролегла между бровями. Я его отвлекаю. Он раздражен. Хочет, чтобы я ушла со своим рукоделием в другое место. Вот он переворачивает страницу. Он или ветерок? Ветерок. Альваро задремал.

Она поклялась, что принесет его сразу, и он ждет. Разве можно не сдержать слово, разве можно быть такой жестокой, если речь идет о пустяке. Нужно разбудить Альваро. Хватит кашлять и прикидываться, будто не заметила, что он спит. Нужно снова его попросить: позвони дону Педро Бенитесу, что тебе стоит, если бы ты знал, как росло нетерпение Майа все эти месяцы, весь этот год, состоявший из сред, по которым я его навещала, с двух до пяти, чтобы рассказать последние новости... нет, Майа, я ничего не смогла добиться от судьи, и голова его откидывается к стене, и он закрывает глаза, и маленькие руки сжимаются в кулаки, как у ребенка. Да, Майа, дело перешло на следующий этап, осталось еще три этапа, всего месяца четыре, из них две недели — в этом департаменте, где проведут необходимую юридическую экспертизу, так что две недели вы должны проявлять терпение и спокойствие, и две недели Майа смеется, ест виноград, рассказывает ей... нет, он весь год, каждую среду рассказывает ей о своей камере, о мастерской, об учениках, друзьях и врагах, о хороших надзирателях, о санитарях, о причудах донна Бартоло Паэса и о плохих надзирателях тоже. А когда он выйдет... когда он выйдет... сколько еще осталось, сеньора Чепе, сколько, поторопите их, ради бога, я больше не могу, я умираю. Она слушает и замечает, как затягивается в узел, становится невыносимой его тоска именно сейчас, когда конец уже виден, когда он все ближе, и его уже можно чуть ли не коснуться руками, два месяца, один, две недели, неделя, дни, два дня, один, завтра они подпишут, Майа, министр мне обещал, конечно, я тоже вам обещаю, неужели вы могли подумать, что я заставлю вас ждать, конечно, Майа, я сразу же позвоню... И эти месяцы в тюремном дворе, среда за средой, она уже подружилась с охранником на воротах, и он через нее пытается пристроить свою дочурку в монастырскую школу. Среда за средой... вы такая же, как все, вам нечем заняться, вот вы и делаете из человека игрушку, а потом, когда я выйду — могу биться об заклад! — не пустите меня даже на порог своей кухни, да, я знаю, не говорите, что нет, потому что я знаю. И плачет. В эту среду его нет во дворе. Он в изоляторе, с черной хворью, и Чепе проводит три отведенных для посещения часа, разглядывая его лицо, в котором нет ничего, кроме обреченности: неподвижный взгляд в потолок, вялые черты и размеренно, чересчур размеренно моргающие веки. Он не может объяснить, в чем заключается черная хворь, боится новых приступов, и не знает, в чем их причина. В одну среду он весел, в другую — даже счастлив, потому что осталось совсем немного, а в следующем месяце, когда все хорошо, занавес вдруг опускается, и она должна идти по лестнице в зал, полный небритых, погасших лиц, терпеть запах мо-

чи и маринованной свинины и сидеть в ногах у Майя, который не узнаёт ее, исключенную из его достигшей дна тоски. Он лежит между грубыми простынями, заложив руки за голову, и неотрывно смотрит в потолок. В следующую среду он зол. Я вам не игрушка. Больше не приходите. Пусть она передаст дело адвокату. Он не хочет ее видеть. Ночью она не может заснуть. Не обращая внимания на его слова, она продолжает вести дело, но ночью не может спать, и как-то вечером Майя просит приятеля-охранника позвонить ей и от его имени попросить, чтобы она его простила, чтобы, ради бога, его простила, а ведь так сладостно прощать и помогать...

...когда они сидят в треугольной тени возле питьевого кра-на, он задает вопросы. Магазины. Какие они, я хочу знать, путь расскажет подробно. Пусть рассказывает еще, чтобы утолить его жажду хотя бы в воображении видеть эти огни, сияющие витрины с позолоченной мебелью и зеркалами, полные хрусталя, костюмов, туфель, часов, холодильников, чтобы он мог себе представить: в любой момент, когда захочешь, можно открыть дверцу и налить себе ледяную воду, я никогда не пил ледяной воды, первым делом куплю себе холодильник. Теперь, когда он не жалкий нищий и в карманах у него кое-что есть, он может купить себе все что захочет. А еще уличные деревья. Майя видел всего несколько кривых от ветра в Токопилье. Но никогда не видел здешних, южных, тех, что переплетают ветви над дорогой, в то время как там, внизу, под их сенью, снуют легковые машины и грузовики — грузовики, подумать только, как это возможно, такие огромные, вы надо мной смеетесь! Иногда ее рассказы похожи на разговоры со слепым. И каждый раз, когда Майя с пересохшим от томительной жажды ртом спрашивает: “А еще что? А еще?” — она чувствует спазм наслаждения, как будто Майя — ее младенец, которому она предлагает свою разбухшую от молока грудь, и он сосет ее, потому что его голод неутолим, сосет еще и еще, словно она — его родная мать, та, что однажды попросила соседку пару дней присмотреть за ее сынишкой, пока сама она уладит дело со своим сожителем-шахтером в соседнем городке, после чего села в автобус, и босоногий мальчик, игравший в камни на краю деревни, видел, как автобус растворился в клубах пыли. Она не вернулась. В один прекрасный и одновременно страшный день в середине лета, когда солнце терзало пересохшую землю тюремного двора, Майя ей признался, что каждый раз, когда она идет к воротам, ему мерещится этот эпизод, облако пыли, и он боится, что она его забудет и больше не придет...

И, конечно, едва оказавшись снаружи, в своей машине, дуреха заливается слезами и ничего не говорит несносной Фанни, которая только и знает, что насмехаться. В те дни, когда

на улице рано темнеет, я чувствую по дороге домой, что Майа ведет такие речи, пока сидит в тюрьме. А когда выйдет? Кем я буду в его жизни, когда он выйдет? Сейчас я ему нужна. Сейчас я для него — центр вселенной. А потом? Он бросит меня, как бросили дочери, как скоро бросят внуки, и Альваро, который никогда?.. Нет, не хочу, чтобы он вышел на свободу. Хочу, чтобы он всегда сидел в этом обнесенном грязными стенами дворе, в треугольнике тени, на нашей скамейке возле крана с питьевой водой и смотрел, как я ухожу по пыльному двору, и чувствовал тоску, которую я смогу смягчить, только я одна, потому что буду навещать его каждую среду своей жизни. Майа зол. Он ест виноград. Косточка прилипла к его верхней губе. Чепа протягивает руку, чтобы ее смахнуть. Но это не косточка. Это родимое пятно. Глаза Майа лучатся, когда он хохочет. Потом они молчат до тех пор, пока Майа не начинает хрустеть пальцами, и тогда она просит его, ради бога, этого не делать, потому что он действует ей на нервы, а он отвечает, что гораздо больше нервничает сам, несмотря на успокоительные препараты. Это было вчера.

— Майа...

Он крепко сжимает кулаки.

— Завтра. Наверняка.

Но дон Педро Бенитес не звонил. Она встала с кушетки, чтобы через открытое окно приказать Антонии полить запылившиеся кипарисы. Когда она вернулась, чтобы сесть, Альваро уже не спал. Она разложила куртку на кушетке между ними. Альваро опять уткнулся в книгу.

— Заметно?

— Ни капли.

— Ты не смотришь.

Он с силой захлопывает книгу.

— Чепа, почему бы тебе не дать мне спокойно почитать, ты не можешь пойти в другое место? Дом достаточно большой...

Чепа собралась ему ответить, собралась высказать ему все, хотя не знала, что именно скажет, но собралась за несколько часов выплеснуть перед ним, наконец, весь список никогда прежде не извлекаемых на свет злодеяний, молчаний, недобрых поступков, а он, держа закрытую книгу на коленях, ждал этого, ждал этого всего... но зазвонил телефон. И Чепа бросилась бегом отвечать в свою комнату. Это был дон Педро Бенитес, все готово, боже мой, все готово. Майа выйдет на свободу через три месяца, свободен, свободен, подписано, да, спасибо, дон Педро, спасибо, нет, дон Педро, не отправляйте в тюрьму с посыльным, я сама сейчас за ним приду и отвезу его Паэсу.

— Но зачем вам так беспокоиться, Чепита?

— Я дала обещание.

Она надела горжетку поверх элегантного костюма, потому что уже становилось прохладно, а терпения и времени, чтобы переодеться, у нее не было. Она хотела войти в кабинет, но дверь оказалась запертой на ключ.

— Альваро...

Она прислушалась и снова позвала:

— Альваро...

Он приоткрыл дверь, но только чуть-чуть.

— Почему ты не открывал?

— Я тебя не слышал.

— Ты не слышишь, только когда хочешь.

— Тебе прекрасно известно, что я избегаю слышать неприятное. Куда это ты так вырядилась в столь поздний час?

— Это мое дело.

Чудовищная улыбка исказила лицо Альваро. Неизменным остался только блеск его вставных зубов.

— Романтическое свидание?

Чепа со злобой толкнула дверь.

— Ничего другого тебе на ум не приходит, извращенец. Ты не мужчина, ты извращенец, ничего больше. Когда-то ты сказал, что покончишь с собой, когда станешь импотентом, но тебе не придется, потому что ты угаснешь...

Некоторое время они боролись, толкая дверь каждый в свою сторону.

— Сколько пафоса, Чепа, я готов поддаться ревности!

Альваро дожал дверь до конца и повернул ключ. Чепа некоторое время прислушивалась.

— Дай мне спокойно почитать!

Паэс оставил Чепу в кабинете одну. Конечно, сеньора, для вас я нарушу любые инструкции и просто позову Майа сюда. Единственная, закрепленная в центре потолка лампочка. Потертая кожаная мебель. Календари с голыми девицами. Несвежая роза в вазе — наверно, подарок секретарши, которая, по словам Майа, влюблена в дона Бартоло, о чем в тюрьме даже камни знают. Огромные, похоронного вида пишущие машинки “Ундервуд”. Вещи. Беспольные предметы. Отключиться, именно отключиться, чтобы ничего не чувствовать, не ждать шагов Майа, которые прозвучат еще бог знает когда. Отключиться, как во время монологов Альваро, ведь она привыкла так поступать уже через месяц после свадьбы, когда поняла, что, занимаясь с ней любовью, он держит в объятиях не ее, а другую, что для него она существует только при физическом контакте, но и тогда вполне заменима. Это не я. Меня нет. И она отключается. Когда девочки, такие хорошенькие в

раннем детстве, стали расти, а их лица — сужаться, и глаза — сходиться друг к другу, когда они начали обсуждать непонятную ей музыку и обучать непонятной ей музыке внуков, которые, наверно — и этого она страшно боится, — скоро тоже станут ей непонятны... тогда, именно тогда ей нужно было полностью отключиться, и это был бы бесповоротный, окончательный уход в себя, в то время как сейчас ее отчуждение с Альваро еще не дошло до предела и проявляется по временам, когда она того хочет, а с приближавшимся по коридору Майа — да, она уже слышит его шаги — она чувствовала себя живой, наэлектризованной и ждала его, чтобы ему об этом рассказать.

Майа появился в дверях кабинета злой. Такой знакомый ей нахмуренный лоб. Дальше порога он не пошел.

— Что с вами, Майа?

Он не ответил.

— Я принесла...

Он шагнул в кабинет и закрыл за собой дверь.

— Почему вы мне не позвонили?

— Когда?

— Когда обещали. Днем, как только узнали, что министр подписал...

— Боже мой, Майа, да я сама только что узнала! Три четверти часа назад.

Он засмеялся.

— Думаете, я вам поверю?

— Но почему вы мне не верите? Чем, по-вашему, я до сих пор занималась?

Он скривил губы.

— Откуда мне знать, чем занимаются важные дамы по вечерам. Играли в канасту...

Чепа положила документ на диван. Рядом — кунью горжетку. Как его убедить? Как помочь ему набраться смелости и осознать тот факт, что он свободный человек, как подавить в нем это недоверие, являвшееся, по сути, продолжением его паталогического страха перед всем, что было заведомо значительней него? Майа медленно подходил к дивану. Цель была совсем близка. Чепе приходилось смотреть вверх на его голову с черной щетиной волос на фоне разохшегося дощатого потолка с облезшей на стыках краской. И его руки, такие маленькие, почти детские, у самого ее лица: достаточно чуть-чуть, едва наклонить голову, и она сможет уткнуться в эти руки, когда-то убившие человека, но ее они бы приласкали.

— Я ждал вашего звонка.

— Майа, не валяйте дурака...

— Конечно, вам и дела мало!

Он отказывался верить. Продолжал отказываться. Его замкнутое лицо там, наверху, под самым потолком, все более далекое, все более мрачное, и если она не вернет его сейчас же, сию же минуту, то потеряет навсегда. Она его хорошо изучила. Майа был на волосок от того, чтобы развернуться и уйти. Уйти и громко хлопнуть дверью.

— Майа.

Он продолжал смотреть в стену. И тогда с той же злостью, которую вызывала в ней Росита Лара, когда отказывалась мыться, Чепа выкрикнула мучительные для нее самой слова:

— Майа, вы свободны...

Его взгляд сфокусировался, и он посмотрел на нее сверху вниз. А потом рухнул с самого потолка к ее ногам и зарылся лицом в ее колени, и ей стало неловко оттого, что этот человек плачет и хочет ее обнять, и оттого, что Фанни будет смеяться и говорить всякую чушь, да, она будет смеяться, ну и пусть, потому что Майа свободен и плачет, ведь никто никогда не дарил ему таких подарков, как я, ведь это все равно что заново родиться, и он это понимает, и я не могу не прикасаться к нему, к его черной колючей голове и шее, и она чувствует шершавую, горячую, ужасно грубую и твердую кожу его маленьких рук, поймавших и сжимающих ее собственную руку у нее на коленях, да, да, какое ей дело до Фанни, до всего на свете, если она гладит затылок этого человека, а он заливал слезами ее юбку.

Хлопоты, связанные с выходом Майа на свободу, помешали Чепе беспокоиться экономическим положением Виолеты, а оно было отнюдь не блестящим. Хотя Виолета жила скромно и не позволяла себе никаких излишеств, кроме посещения девятины Святой Риты Кашийской и девятины Девы Марии Святого Розария в Помпеях, да еще редких походов за два квартала в кинотеатр “Колизей” на очередной новый фильм с участием Хеди Ламарр, денег ей ни на что не хватало. Сеньора Элена оставила ей небольшой капитал в ценных бумагах, приносивших ежеквартальные дивиденды, но в прошлом году акции резко упали в цене. С тех пор они только продолжали дешеветь, дивиденды снижались, и в ожидании очередной квартальной выплаты Виолета с тоской предчувствовала, что скоро ей придется продать дом и идти работать, это в ее-то возрасте, а то и пережить лишения похуже. В одно из воскресений, укладывая в корзинку эмпанады, она, сама того не желая, заговорила с Альваро об оскудении своих доходов. Он тщательно сложил газету и дождался, пока Виолета кончит колдовать над эмпаанами и привычно накроет их камчатой салфеткой.

— Не беспокойся. Вот увидишь, сразу после выборов твои акции “Карбонары” подскочат в цене.

— Но говорят, дон Альваро, что победят левые, а если победят левые, то “Карбонару” ликвидируют, и я... одним словом, поволноваться все-таки придется, а сил на это уже нет...

— Кто тебе сказал, что победят левые?

— Фаусто постоянно об этом талдычит...

— Помилуй, Виолета, но что Фаусто в этом смыслит!

— И то верно.

— До выборов осталось всего пять месяцев.

— Деньги мне перечислят послезавтра.

Альваро остановился.

— Сколько на этот раз тебе насчитали?

— Пст... сущие гроши.

— Говорю тебе, не волнуйся. У тебя высокое давление, и, если будешь продолжать в том же духе, тебя может хватить удар. К тому же не такие уж большие у тебя расходы.

Альваро пошел к двери, Виолета с корзинкой в руке последовала за ним; при таком образе жизни эта женщина не может тратить весь свой доход, даже с учетом того, что он стал меньше и что она помогает Мирелье. Старость. Она становится жадной, как все старухи, которые рассовывают по углам барахло, прячут то, что давно истлело. Несколько лет назад он взял у нее с ее стола какие-то документы, оказавшиеся выписками из сберегательной кассы с довольно неплохим положительным сальдо. Это лучше, чем держать деньги в чулке или под матрасом.

— Разве ты не скопила определенную сумму?

— Помилуйте, дон Альваро, я все истратила, когда Мирелья выходила замуж, и теперь у меня нет ни гроша.

Прежде чем уйти, Альваро повернулся спиной к застекленной дверной вставке, и теперь от улицы его отделяли опаловые цапли и кувшинки. Старуха. Бедняга Виолета уже ни на что не годится. Ее воскресные эмпанады ему лично были совершенно не нужны, он уже много лет к ним не прикасался.

— Почему бы тебе не поговорить с Чепой?

— Зачем?

— Она наверняка найдет какое-нибудь решение.

— Я слышала, сеньора очень занята делами этого арестанта, которого собирается вызволить из тюрьмы.

Прихожая была тесной. Виолета стала такой толстухой, что почти прикасалась к нему своими телесами, а ее дыхание после стольких перепробованных эмпанад пахло луком.

— Не дури, Виолета. Не ломайся. Поговори с Чепой. На днях я слышал, что она ищет, куда бы поселить этого Майя. Дом после ухода Мирельи стал для тебя слишком велик, и мне не нравится, что ты живешь одна. К тому же ты весь день валяешься в кровати и ничего не делаешь, сама говорила, что тебе скучно и единственное, чем приходит в голову развлечь-

ся, — это едой, посмотри на себя! В один прекрасный день у тебя случится удар, и, пока мы сюда доберемся, ты уже успеешь помереть.

На следующий день с утра пораньше Виолета уже была в буфетной своих бывших хозяев и поджидала, когда проснется сеньора Чепа.

— Это просто чудо — видеть тебя у нас...

— Немало времени утекло, правда, сеньора Чепа?

— Сколько?

— Да уж лет пять, не меньше. Ваша буфетная изменилась. Эта штукавина, наверно, и есть пластик, поглядите-ка, какая красотища, и, говорят, ему не навредит, даже если поставить на него раскаленный чайник!

Пока Виолета пила горячий чай, Чепа придвинула к столу еще один стул. Она уже несколько дней раздумывала над тем, где будет жить Майя, когда примерно через месяц выйдет из тюрьмы. Знакомых у него не было... конечно, он знал кое-кого из освободившихся заключенных, но не хотел иметь с ними дело, и главным его желанием было начать все с нуля, среди людей, которые ничего не знали о его прошлом и не считали его уголовным типом. Чепа сама взвалила на себя эту заботу: оставшись один, без друзей, снимая пару комнат в промозглом бедном доме, Майя, конечно, потянется к своим приятелям по тюрьме. В то время как в уютной обстановке, где кто-то будет заботиться о нем и любить, как родного сына, он сможет найти спасенье. Конечно, ей хотелось бы привезти его в собственный дом и баловать здесь самой, но нет. Жизнь устроена так, что подобные поступки невозможны. И вот перед ней сидела, дуя на вылитый в блюдце чай, Виолета. Кому как не ей лучше всего поручить заботу и уход, которыми она хотела бы окружить Майя? Виолета принадлежала Альваро. Так же как Майя принадлежал ей. Улыбка на лице Альваро вспыхивала почти спонтанно, когда Виолета была рядом. Чепа похорошела, готовясь к выходу Майя. Все говорили: милочка, ты помолодела лет на десять, такая кожа, такой блеск в глазах... И вдруг сейчас, глядя на прихлебывающую чай Виолету, она почувствовала незнакомое ей прежде чувство сопричастности, их общую близость к Альваро.

Они легко договорились обо всем, что касалось Майя и обязанностей Виолеты. Она сдаст Майя два помещения в дворовой пристройке, чтобы он мог установить там машины для обработки кожи. И еще две комнаты в передней части дома, пусть у него будет достаточно места после стольких лет лишения. Виолета будет готовить ему еду и стирать — от такого плана бывшая служанка заулыбалась и покраснела. Ей хотелось узнать о Майя все. Он высокий? Страшненький? Как

жалко... Но приятный: конечно, эти зубы северян! На севере у всех такие.

Когда в среду Чепа изложила свой план Майа, он не казался ему таким уж удачным. Майа успел написать Марухите Буэрас, что снимет комнату в их с мужем квартире. Он считал ее хорошей женщиной. Впервые Чепа увидела Марухиту в тюремном дворе в зеленом с оранжевой полосой свитере, который обтягивал ее грудь, и с химическими кудрями на голове, хотя Чепе казалось, что таких давно никто не носит.

Она твердо возразила: нет, нет, Майа, вам нужно начать новую жизнь. Буэрас слишком много знают, они общаются и с заключенными, и с теми, кто вышел на свободу, и если вы у них поселитесь, то будете вариться все в том же котле. Чепа даже сходила посмотреть на дом, в котором жила Марухита. Двухэтажный, облезлый, кремового цвета, маскароны над окнами, входная дверь с разбитым стеклом, лабиринт коридоров и галерей, щербатые половицы пола. Закрытые двери квартир, за которыми виден свет, запах жаровен, утюгов, шкворчащего в постном масле чеснока и грязной одежды; оглушительное радио, ругань соседей, зависть, мелкая месть...

— Нет, нет, сеньора Чепа, я не хочу, если там так же, как в тюрьме.

Она поднимается на второй этаж по лестнице с кривыми ступеньками, зато с резной балюстрадой. Возле одной из квартир в клетку запрыгивает птица, и Чепа чувствует под ногами хруст рассыпанного канареечного корма. Грязные окна на галерее, шум автобусов и троллейбусов, потому что дом расположен в самом центре, на задворках многоквартирных домов, где доживает свои последние дни перед сносом. Между стеклом и занавесками — выцветшие обложки журнала “Для тебя”...

— Нет, Майа, вы не можете...

— Это хуже, чем здесь...

А комната Марухиты — это свинарник, настоящий свинарник, Майа: стол, вязаная скатерть, на ней бумажка в тысячу песо и программка скачек — Чепе доводилось видеть такие, потому что Альваро когда-то увлекался бегам. Муж Марухиты лежал в постели, кажется, одетый и с обмотанной шарфом шеей. Откуда взялась программка скачек?

— Он играет на скачках. Спускает все, что успевает заработать Марухита.

— Боже! И с такими людьми вы собираетесь жить?

— Я больше никого не знаю.

— Не говорите так, Майа!

Эти люди присосутся к бедняге, как пиявки, и будут жить за счет того, что он заработает своими прекрасными изделиями из кожи. Нет, он и сам не хотел прозябать в нищете. Он

хотел купить себе дом своей мечты, похожий на особняк сеньоры Чепы. Майа согласился жить у Виолеты. Позже он найдет себе что-нибудь получше, в зависимости от того, как пойдут дела. Перспективы кожевенного производства были совсем неплохими. Чепа лично поговорила с управляющим ссудной кассы, чтобы Майа смог получить кредит на покупку очень дорогой швейной машинки.

— Чепа, ну какой может быть разговор! Поздравляю! Ах, если бы моя жена занялась столь гуманными делами, вместо того чтобы ввязываться совместно со своей сестрой Росой в никому не нужный кондитерский магазин в Провиденсии. Интересный тип этот ваш подопечный. Да, просто подпишите. На днях я рассказал о его деле на собрании директоров, и все сошлись на том, что если за парнем стоите вы... нет, какие могут быть затруднения! Просто подпишите, и все... А когда он выйдет, приведите его к нам, чтобы он сам забрал свои деньжата...

Она рассказала об этом Майа, и перспектива знакомства с управляющим ссудной кассы повергла его в особенно сильную нервозность. Как я к нему явлюсь? Я необразованный, вести себя не умею.

— Ну, значит, не будете говорить с Габриэлем. Ничего страшного. Только распишетесь, да-да, это придется сделать, но я буду с вами. Однако позвольте мне кое-что вам сказать. В кожевенном деле вас ждет хорошее, даже прекрасное будущее. Мастерская позволит вам жить безбедно... дела пойдут в гору как на дрожжах. Вам следует привыкать к общению с приличными людьми. Нет, Габриэль был очень беден, мне кажется, он, как и вы, родом из какого-то северного городка, а посмотрите, сколького добился, и все исключительно благодаря своему труду и упорству. Только это и важно! Конечно, если вы хотите всю жизнь общаться с такими людьми, как Буэрас...

— Нет. Я хочу познакомиться с этим сеньором. Как выглядит его кабинет?

Она его описала, и, пока описывала роскошные интерьеры, Майа сиял и задавал ей все новые и новые вопросы. Мебель из светлой кожи. Толстый ковер от стены до стены. Картина из тех, что называют абстракционистскими, она в них ничего не понимает, но, говорят, они очень дороги; за ней — стеной бар: бутылки, фужеры, маленький холодильник. Ее рассказ напоминал волшебную сказку. Но вдруг Майа помрачнел.

— Что с вами?

— Я забыл.

— Что именно?

— Я не смогу пойти.

— Почему?

— У меня нет подходящей одежды, чтобы перед ним появиться.

Дом и одежда — вот две заботы Майа. Например, ее кунья горжетка — он никогда в жизни такой не видел. Когда в тюремном дворе она снимала ее и клала возле себя на скамейку, рука Май тянулась ее погладить. Это дорого? Сколько это стоит? Он не хотел верить Чепе, когда она сказала, что когда-то горжетка была недурна, а теперь уже вышла из моды. Расскажите еще... про что-нибудь еще, про другие кабинеты! Когда он задавал ей столько вопросов, ей хотелось обнять его и расцеловать, как ребенка. Но иногда он действовал ей на нервы. Он так ошибается! Как его образумить? Проще было докричаться до глухого, описать цвет слепому или пришельцу с другой планеты. И Чепа чувствовала беспокойство, свою неуместность, словно этот хилый пруттик, ее Майа, рос из кривых, перепутанных корней в пятьдесят, в сто раз более древних, чем он сам, которые продолжают незаметно расползаться под землей. Иногда она не спала по ночам и, не думая о них, ничего не анализируя, почти ощущала, как эти корни растут и развиваются, прячась глубоко в земле. Но как в таком случае его понять? Лучше всего не беспокоиться вовсе. Чего бедняге действительно не хватает, и она пыталась объяснить это Фанни, которая ничего не могла понять в сложившейся ситуации, так это человека, которому он мог бы доверять. Для этого и нужна была Чепа.

Она ответила, что о костюмах он может не волноваться. В тот же день, когда его освободят, а произойдет это в ближайшие два месяца, первое, что она предлагает сделать после пары кругов на машине по центру, о которых он мечтал, это съездить вместе на фабрику готовой одежды, принадлежавшую очень толковым евреям, пошивающим носкую, качественную и недорогую одежду. Чепе они всегда делают скидки, потому что она покупает у них все, что требуется для предместий.

— А дон Альваро там же покупает свои костюмы?

Чепа засмеялась. Альваро в костюме из магазина готового платья! Со смеху можно умереть! Человек, живущий в постоянной заботе о своих нарядах. Его костюмы всегда должны были соответствовать идеалу. Рубашки, на которых только Виолете доверялось менять пуговицы и вышивать миниатюрные, на его вкус, монограммы. Дюжина костюмов, развешанных с параноидальной аккуратностью. Тощие белые ноги, уже без волос — в одних трусах и рубашке он стоит перед гардеробом, полностью сконцентрировавшись на задаче маниакально точно совместить острые, как бритва, стрелки на только что снятых брюках. Двумя булавками он скалывает их

на уровне колен, чтобы не нарушался сгиб. Чепа ответила Майе, что ее муж заказывает костюмы у венецианца по фамилии Ботти. Одежда имеет для Альваро первостепенное значение.

— Ботти?

— Луиджи Ботти.

— А где его ателье?

Чепа назвала адрес. Майа его повторил.

— Я хочу заказывать костюмы там же.

Чепа промолчала. Она вдруг устала от Майе. Как ему объяснить? Ладно, вздохнула она. Жизнь его научит, и надеюсь, не слишком жестоко.

— Почему вы не отвечаете?

— Но Майа!

— Вам стыдно представить меня Ботти?

— Не говорите глупостей. Таких вещей я никогда не стыдилась. Чего-нибудь другого — возможно, но только не этого. Дело в том, что...

Она попыталась его урезонить. Безрезультатно. Он хотел. Да. В том же самом ателье, что и дон Альваро. И пусть костюм обойдется ему во столько, во сколько обойдется. Почему ему нельзя, если он хочет и может заплатить? После стольких лет за решеткой он желает себя порадовать. Хорошо. Довольно. Я сообщу Ботти о вашем приходе. Вы хотите пойти в тот же день, как освободитесь?

— Вы скажете ему, что я сидел в тюрьме?

— А вы хотите, чтобы я сказала?

Он задумался.

— Нет.

— Хорошо.

— Скажите, что я друг семьи и только что приехал с севера, и поэтому так неказисто одет...

— Как вам угодно.

Последние пятнадцать дней перед освобождением Майе Чепе не отдыхала ни минуты. Она распорядилась переклеить обои в парадных комнатах Виолеты. Купила качественную, но недорогую подержанную мебель — свой подарок Майе... когда его дела пойдут в гору, он сможет купить себе любую, какую захочет. Полотенца. Мыло. Проконтролировать починку туалетного бачка. Задвижки. Сделать все необходимое, чтобы Майа снова мог жить, но теперь уже как нормальный человек. Своим энтузиазмом Чепе заразила Виолету. Повязав полотенцем голову и взобравшись на стул, Виолета мыла окна в спальне Майе; вдруг она прервала свое занятие и, опершись зажатой в руке тряпкой о стекло, принялась дразнить резвившихся на солнце под окном котом. Перемена в ее лице, примелькавшемся, как родные стены, до такой степени, что

его уже не замечаешь, заставили сердце Чепы екнуть. Кто эта женщина, существующая где-то на периферии моей жизни и в то же время в самом ее центре? Насколько важна она для моего мужа, который буквально тает, когда она рядом? Кто она еще, эта женщина? Виолета перестала дурачиться. Теперь она снова мыла окно. Нет. Эта женщина всего лишь бесконечная цепочка зеркальных отражений, и не более того, потому что, как ни крути, в реальности она ничего из себя не представляет.

Чепа припарковала “фольксваген” перед центральным входом в тюрьму ровно в полдесятого утра и, расположившись поудобнее, сосредоточилась на двери. Она столько раз представляла себе эту сцену, как Майя с чемоданом в руке, с влажными от помады волосами и сияющими глазами ищет ее взглядом, чтобы назначить своим поводырем по незнакомому миру. Ослепленный обилием открытого пространства, он, наверно, будет чувствовать себя так, словно заново родился.

И родился в замечательный день. Особенно замечательным день был в парке, через который она проезжала, чтобы быстрее добраться до места: цветастые рубашки и платья — наверно, первые в этом году, дымящиеся стаканчики с жареным арахисом, и молодые пары, уединившиеся в кустах по берегам пруда. Именно парк она покажет ему первым, деревья, в которые он не верил. Сегодня слепой прозреет. Она откроет ему глаза. Потом — картина городского центра утром. Шум автобусов и трамваев, маневры людей, перебегающих дорогу, чтобы добраться до нужного места быстрее своих собратьев. Торопливость крупных бизнесменов в безукоризненно сшитых костюмах. Беседующие, курящие, прохаживающиеся взад-вперед, а иногда подпирающие стены возле входов в кафе коммерсанты помельче, загадочные, с черными усами, в слишком броских костюмах. И холм¹. Столько раз повторенные ею самой рассказы уже помнились наизусть. Но сегодня рассказам пришел конец. Деревья больше не будут расти с ее слов. Сегодня она перестанет быть воплощением картины города и мира и превратится в одну из многочисленных горожанок, в одно из пятен городского пейзажа.

Колокола на церкви Святого Лазаря пробили десять. Майя задерживался. Ничего. Люди всегда собираются дольше, чем предполагали... зато потом будет парк, центр, холм и завтрак у нее дома. А потом — заселение к Виолете. Вечером снова центр, чтобы он увидел освещенные витрины и купил

1. Холм Сан-Кристоаль возвышается над Сантьяго на 300 м. С него открывается красивый вид на город.

себе все что захочет. Такой сумасброд этот Майя. Непременно будет делать глупости. Она это предвидит. Попытается накупить всякой лишней дряни. Но она будет рядом, чтобы его удерживать. Она позаботится о его деньгах. Не позволит ему делать покупки в центре города и отвезет на фабрики, где все можно купить в два раза дешевле. Четверть одиннадцатого, Майя так и не появился. Заперев машину, Чепа распахнула тюремную дверь. Старший надзиратель принял ее очень любезно.

— А он, знаете ли, уже ушел.

— Но ведь он сказал, чтобы я приехала в девять тридцать, что к этому времени он будет готов...

— Да. Но он ушел раньше.

— Боже мой, что за человек этот Майя! И куда же он отправился?

— В восемь за ним пришла Марухита Буэрас.

— Но как она узнала?

— Наверно, он ей сообщил.

— Но ведь все последнее время я была с ними, самый последний раз — месяца два назад, и они ни о какой встрече не договаривались...

— А! Ну, значит, он написал ей письмо. Майя часто писал Марухите...

Об этом она не подумала. В переписке можно обо всем договориться. Надзиратель любезно улыбался. Возможно, даже чересчур любезно.

— Он ничего не велел мне передать?

— Ну, как же, как же, сеньора, конечно! Он оставил для вас сообщение. Просил передать, если вы придете, что вечером он будет у некоей Виолеты — думаю, это та сеньора, у которой вы нашли для него жилье...

Чепа скомканно попрощалась. Она выходила, низко опустив голову, чтобы спрятать пылающее лицо. Надзиратель заметил ее унижение.

Проще всего было сесть в машину, сказать про себя “жалкий, неблагодарный нищий” и забыть. Но просто не получалось. Когда с ней так обращались в предместьях, она говорила именно эти слова, и рана заживала быстро. Но сейчас Чепа словно ослепла, что-то вроде судороги не позволяло ей нажать на педаль газа, она просто не знала, что делать. Куда ехать. Пришлось ждать, чтобы сознание автоматически продиктовало следующий шаг. Нет, только не в парк. И не по улицам тоже, сегодня утром — и без Майи. Поехать к Марухите. Тоже нет. Это было бы равносильно словам “он мой, отдай его мне”, хотя именно их она и хотела сказать, отнять его навсегда, сжечь их письма. Но этого сделать она не могла, потому что была дамой, седоволосой дамой в паль-

то из верблюжьей шерсти, кружившей по парку за рулем синего “фольксвагена” и вглядывавшейся в парочки влюбленных, которых скрывала зеленая поросль ив вокруг пруда. Майя и Марухита. “Проваливай, чертова старуха, что ты здесь вынюхиваешь”, — так они могли бы с полным правом ей сказать, если бы она приподняла зеленый ивовый занавес, чтобы разглядеть, не они ли это обнимаются — его рубашка расстегнута, ее платье в беспорядке — на траве возле пруда, на виду у проплывающих лодок, или на вонючей кровати, в знакомой ей комнате, или в каком-нибудь отеле, в любом затемненном углу. Она должна вернуться домой, нельзя же без конца ездить по кругу. Ей нужно проследить, чтобы Альваро приготовили желе. Проверить счета из предместий. Позвонить Фанни. Антония с ее больными зубами. Завтра приедут дети, ведь завтра суббота, но я не хочу их видеть, они принадлежат не мне, а своим родителям, никто не принадлежит мне, кроме Майя, у которого не было возможности выйти на свободу, а я подарила ему свободу, который никогда не видел деревьев, который спрашивал: “А что еще, что еще...”, и я ему рассказывала, я была его глазами и ушами, его кожей, его мечтами, воспоминаниями, планами... была. Всем этим я была. Потому что теперь, выйдя на свободу, он не нуждается ни в чьих глазах, кроме своих. Возможно, он никогда в них и не нуждался: письма Марухиты, ее облегающий свитер, и скрюченная рука Майя на деревянной скамейке тюремного двора расслабляется, становится нежной, и теперь, нежная, покоится на химических кудрях Марухиты, в знакомой мне комнате или в какой-нибудь другой. Нет. Перестань. Я не завидую физической любви. Бог свидетель, Альваро начал отбивать у меня к ней охоту еще в медовый месяц, а позже нужно было просто закрывать глаза и думать о... молить Бога, чтобы Альваро поскорее кончил и оставил меня в покое. Она завидовала другому. Быть с ним. Сейчас. Больше ничего. Эта маленькая, но жесткая рука смягчается под ее рукой. Опекать его. Нет. Даже не это. Заботиться о нем. Вот он, Майя, обнимает Марухиту рядом с высокой форзицией на просторной лужайке... видишь, Майя, я проезжаю совсем близко, но я не стану тебя тревожить. Я подожду здесь, на углу. Когда вы прекратите обниматься под форзицией, устанете млеть на слабо пригревающим весеннем солнце, тогда я вас позову: садитесь в машину, дети, я отвезу вас на прогулку, а потом мы вместе пообедаем в ресторане, на самой вершине холма. Но это не Майя. И не Марухита. Майя где-то укрылся, потому что знает: когда он далеко, я страдаю.

А если он поехал к Виолете, чтобы сперва оставить там чемодан?

В доме Виолеты его тоже не оказалось. Он здесь не появлялся. Было уже поздно, половина первого, и Виолета накормила ее обедом. Сиесту Чепы проспала на той кровати, которую своими руками застелила для Майя. Проснувшись она поздно, когда уже начинало темнеть. Виолета укрыла ей ноги шалью.

— Тебе следовало меня разбудить, Виолета. Боже мой, сколько же я проспала, почти пять часов! Сегодня ночью, со всеми этими переживаниями за Майя и после стольких часов сна я точно не сомкну глаз...

— Но как он мог так непочтительно с вами обойтись, сеньора!

Они уже прощались в дверях, когда появился Майя, улыбающийся, чисто умытый, причесанный, в ярком синем костюме и слишком светлых туфлях. Он остановился на пороге, сияя так, как на памяти Чепы никогда прежде не сиял: гуттаперчевая верхняя губа, похожее на игривое украшение родимое пятно, непривычная ясность лица, словно очищенного от пыли.

— Можно войти?

— Входите, конечно, входите! Я уж решила, что вы сквозь землю провалились. Мы ждали вас весь день.

Майя поставил чемодан на пол. Он не поздоровался с Виолетой, а Чепы забыла их познакомить.

— Вы на меня не сердитесь?

— Не говорите глупостей, Майя.

— Вы меня простили?

Чепы глотала слезы и не могла говорить, ей удалось только утвердительно кивнуть головой: прощен, тысячу раз прощен, она простит ему все что угодно, потому что простить означает получить возможность снова делать для него все, что в ее силах. Она протянула руку, чтобы пожать руку Майя, но он стиснул ее руки в своих пылающих ладонях. У меня горят не только ладони, но и лицо, все тело, кровь бурлит в жилах. Он подносит мою руку к губам и целует. Его глаза закрыты, но это не важно, я все равно знаю, что скрывается за этими веками.

— Ну что вы, Майя, не дурите, что еще такое... Говорю вам, эти глупости я не люблю, да и не за что совершенно!

— Я был с Марухитой.

— Да, я знаю.

— Девять лет без женщин. Только говорить о них и думать, думать... Больше девяти лет, потому что до тюрьмы я никогда... я был совсем мальчишкой. Простите меня...

Он все еще не открывает глаз и не отпускает ее руки. Это ваше дело, Майя. Мне не за что вас прощать. Но найдите себе жену, не валяйте дурака и женитесь, Майя, наведите порядок

в своей жизни, не осложняйте ее с замужними женщинами в первый же день после выхода из тюрьмы. Но она промолчала, не произнесла ни слова. Потом. Сегодняшний день не для нравочений.

Только теперь она представила его Виолете. Пока Майа был в ванной, обе женщины хлопотали по дому, чтобы устроить его поудобней.

В первые дни, проведенные Майа на свободе, Чепа постоянно находилась рядом, помогая ему обжиться. Купленную ею мебель он счел неказистой, и ей пришлось отвезти его в дорожный магазин, где он приобрел диван и кресла с блестящей, цвета зеленых яблок обивкой из парчи, гостиный гарнитур в стиле Хэплуайт со стеклянной горкой, стаканы, фужеры, сервизы и обставил всем этим добром отведенные ему две комнаты. За телевизор, холодильник, одежду, занавески, машины для обработки кожи и материалы он выписал чеки. Затем он нанял трех рабочих. Чепа возила его по всему городу. Он все еще не мог привыкнуть к незнакомым улицам. Зато в аквариуме автомобиля рядом с Чепой чувствовал себя в безопасности.

Чепе нравилось его сопровождать, особенно когда он ездил за материалом для мастерской. Ее завораживало проворство его хрупких, словно птичьи лапки рук, когда он, поглаживая кожу, изучал текстуру образцов, сравнивал их, выбирал, проверял на прочность и, поднося к носу, нюхал. Это были знающие, умелые руки, и она слушала его и наблюдала, онемев от восторга перед непогрешимостью его мастерства. Таким и должен быть человек. Альваро никогда не увлекался своей профессией. Он работал по инерции и при первой возможности вышел на пенсию. А девочки были просто девочками, женщинами, и только, финтифлюшками, пока не вышли замуж, и теперь ничего не делают, только сопровождают мужей в кино и иногда на другие мероприятия, например на выборы, где немного оживляются, поскольку считают политику чем-то вроде сплетен национального масштаба. Чепа тосковала по одержимости, которую нашла в Майе. Ему нравится его профессия, нравится делать то, что он умеет. Посмотрите, как он расставляет в подсобных помещениях швейные машины с таким расчетом, чтобы удобнее было работать: конечно, конечно, Майа, совершенно верно, лучше поставить здесь, возле окна, а не там, где предлагала я, вы правы!

Около восьми вечера Чепа прощалась с Майа и ехала домой. Независимо от того, спрашивал ее Альваро, как прошел день, или молчал, она рассказывала не больше обычного, потому что он, похоже, уже забыл о существовании Майа: ходи-

ла на педикюр, столько всякой беготни, отвезла Мече школьную форму для детей... он продолжал читать газету, и дом становился пугающе пустым, как если бы исходящий от каждого предмета звук, ее собственный голос, звяканье чайной ложки о блюде, отзывался в нем эхом. Даже простыни не хотели принимать форму ее тела до тех пор, пока Альваро в соседней спальне не начинал храпеть, как надорвавшаяся машина, а утром — снова Майа, вернуться к нему, настоящему мастеру, человеку, чьи руки теперь будут делать только то, что вызывает у нее восторг.

Но куда он уходит вечерами?

Потому что вечерами он уходит. Редкий раз он ужинает у Виолеты, хотя ежемесячная плата включает полный пансион. После работы Майа принимает душ, причесывается, опрыскивает себя одеколоном, надевает одну из новых тончайших рубашек и костюм, купленный наконец в едва ли не самом дорогом магазине, потому что у Ботти он своей очереди не дождался. Майа уходит. Как-то вечером Фанни видела его у дверей одного из центральных ресторанов в компании двух мужчин. Марелья рассказала матери, что видела его на улице, и он прогуливался один, разглядывал витрины, покупал сигареты, а затем сел в кресло чистильщика сапог. Чепа и сама однажды видела его в кино — он сидел на шесть рядов ближе к экрану, чем они с Альваро, в компании Марухиты Буэрас и ее мужа. Жизнь Майа понемногу принимала какие-то очертания. И не было ничего противоестественного в том, что он приглашал супругов Буэрас в кино. В том, что ходил с друзьями в ресторан. Домой, как ей докладывала Виолета, он часто возвращался очень поздно. Сон у нее был чуткий, и она его дожидалась.

— Майа?

— Да, сеньора Виолета.

— Погасите, пожалуйста, свет в коридоре.

— Хорошо...

— Спасибо...

— Спокойной ночи, сеньора Виолета.

— Спокойной ночи.

Но иногда он оставался дома. Обилие работы его утомляло. Умывшись, он надевал халат, домашние туфли и смотрел телевизор. В такие вечера он приглашал Виолету к себе, выбирал программу по ее вкусу, а перед ужином выдавал ей довольно солидную сумму денег, чтобы она сходила в магазин и купила что-нибудь вкусное, а заодно прихватила пару бутылок вина, самого лучшего, самого дорогого. Виолета обслуживала его с удовольствием. Целыми вечерами она наглаживала его рубашки с тем самым мастерством, в котором, по мнению Альваро, не имела равных.

— Но все-таки обычно он уходит, сеньора.

— И не говорит куда?

— Ни словечка.

— Выведай у него незаметно.

— Скорей всего, к какой-нибудь бабенке.

— Ну что ж, это нормально.

— Столько времен взаперти! Бедняга. Послушать только, что он рассказывает о тюрьме, боже мой, сеньора, каким свинством занимаются эти несчастные мужины, оказавшись взаперти. Да и то сказать, куда им деваться...

— Да. Мне он тоже рассказывал.

— Зайдете к нему в мастерскую?

— Нет, не хочу его беспокоить.

Виолета приподнимала занавеску на веранде.

— Поглядите, как он работает, сеньора.

Чепа подходила к окну, приподнимала другую занавеску и смотрела, как в глубине двора Майа давал указания кому-то из рабочих, а потом сам склонялся над швейной машиной.

Каждое воскресенье Майа приносил Вивесам корзину Виолетиных эмпанад. Служанки в буфетной принимали его радушно, потому что Майа был, по их словам, симпатичный и потому что сеньора рассказала им историю его злоключений. За четыре месяца свободы он так успешно развернул свой бизнес, что его клиентами стали почти все самые лучшие магазины города. Чепа рассказывала Фанни:

— Представь, у Мансильи продукцию Майа выдают за импортную... и ты бы видела эти цены!

— Не может быть!

— Сходи и убедись сама.

Фанни шла к Мансилье и возвращалась с рассказом о том, что точно такая шкатулка для драгоценностей, какую Майа подарил Чепе на именины, выдается там за французскую. Фанни с трудом поборола соблазн сообщить этим кровососам, что отлично знает, кто делает такие шкатулки, и вовсе не во Франции, а здесь, на улице Сан-Игнасио...

Майа пунктуально оплачивал свои долги и векселя. Секретарша Габриэля из ссудной кассы перевозносила его до небес. А сам он утверждал, что после всех выплат у него остается значительная часть заработанного. Виолета докладывала Чепе о каждом его шаге:

— Вчера я спросила, что он собирается делать с такой кучей денег...

— Правда?

— Да.

— И что он сказал?

— Ничего.

— Ну, будет тебе, Виолета...

— Правда, ничего не сказал. Предложил подождать немного, дескать, потом сама все увижу. Дескать, через каких-нибудь несколько месяцев он будет развезжать на машине и все такое прочее...

— Ну и фантазер же этот Майя.

— Ужасный, правда? Почему бы вам самой у него не спросить?

— Я не смею.

Ей достаточно было видеть, как он сидит за швейной машиной с сияющими глазами и мурлычет себе что-то под нос. Но однажды в воскресенье Майя не принес в дом Вивесов эмпадады. Обескураженные нарушением ритуала, члены семьи ждали, не находя объяснения происходящему.

— Очень типично для мамы — связываться с людьми, не выяснив заранее, что они за люди...

— Это еще ладно, Мече! Гораздо хуже то, что она сделала из бедняги Майя своего раба. И установила за ним такую же слежку, как в свое время за нами. А Виолета служит у нее шпионкой.

— Не по душе мне эта Виолета.

Не желая присутствовать при надвигающейся ссоре и принимать в ней участие, Альваро при первой же возможности встал из-за стола. Встала и Чепя. Она решила съездить к Виолете и узнать, что случилось с Майя, в то время как ее внуки, недоумевая, почему в воскресный день их лишают бабушки, и видя, что она выезжает из гаража, забрались к ней на бампер, чтобы проехаться до ворот и помочь ей их открыть и закрыть.

Виолета ничего не знала. Майя ушел с эмпададами утром, как всегда, предупредив, что вернется поздно: он хотел сходить в театр, потому что всю неделю много работал, и у него начали сдавать нервы. Виолета думала, что он пригласит ее с собой, как бывало в тех случаях, когда они вместе ходили на фильмы в "Колизей", а вернувшись, еще некоторое время обсуждали артистов и допивали остатки белого вина, которое Майя доставал из холодильника. Но он только попрощался и ушел.

Чепя прождала у Виолеты всю вторую половину дня. Когда к вечеру стало прохладней, она свернулась в кресле и незаметно для себя уснула. Проснувшись, она увидела, что за окном уже гаснут последние лучи солнца, оставляя легкий отголосок липкого, влажного дня. Она закрыла глаза, потому что ей вдруг стало страшно: такой долгий день, такой пустой... все тянется так долго! И совершенно некуда себя девать. Она попробовала снова уснуть, чтобы не чувствовать, как время тянется без всякой возможности его чем-нибудь за-

полнить. Заполнить его мог только Майа. Но сегодня Майа нет. Виолета продолжала что-то вязать. День перешел в вечер, и пора было возвращаться домой, но Чепе этого не хотелось, ведь Майа вернется именно сюда, и она может ему понадобиться, он захочет ее видеть, стало быть, она должна, да, обязана его дожидаться. Отсчитывая восемь ударов колокола на церкви Сакраментинос, она отвлеклась и задремала. Вдруг перед ней возник Майа.

— Господи, Майа, я уж думала, с вами что-то случилось...

Он не поздоровался. Молча ушел в свою комнату, закрыл дверь и выключил свет. Наконец-то он здесь! Но Чепе успела заметить сжатый рот и словно приклеенные к бокам ладони, как бывало перед приступом черной хвори. Она осторожно постучала в стекло. Майа не ответил.

— Майа...

— Что?

Его голос резал слух, как бритва.

— Что с вами?

— Почему бы вам не оставить меня в покое?

Это оскорбительно. Нагло. Уже взявшись за ручку двери, Чепе поняла, что должна сделать выбор: либо действительно уйти и потихоньку исчезнуть из его жизни, либо остаться и вступить в бой с химерами. Но ради чего ей уходить? Чтобы выслушать выговор Альваро за то, что ходит по улице растрепой? Чепе прижимает ухо к застекленной двери, словно подслушивая. Но ничего не слышит.

— Что с вами, Майа?

Дверь распахивается. Стоя на пороге очень близко, почти касаясь Чепы, Майа сверлит ее взглядом.

— Вы думаете, я у вас на побегушках? Думаете, я всю жизнь буду таскаться к вам домой, чтобы обедать с прислугой? Думаете, если помогли мне выйти из тюрьмы, то теперь вы мне хозяйка? Разве я не вижу, как вы приходите шпионить за мной с веранды? Что вам от меня нужно, сеньора, что? Давайте выясним, или уж оставьте, наконец, меня в покое!

Нет-нет, вы ошибаетесь, я не понимаю, о чем вы, да и не хочу понимать, но вы не правы... она собиралась сказать эту фразу, но одной этой фразы было бы достаточно, чтобы признать в его словах нечто такое, чего признавать она не хотела.

— Сеньора, я не такой, как вы хотите.

Она попробовала объяснить, что ей не нужно, чтобы он был какой-то конкретный, ей только нужно, чтобы он был счастлив, чтобы позволил ей помочь ему выбраться из нищеты и отчаяния, закрепиться в той полосе света, которую она спланировала для него в жизни.

— Нет, Майа, я ведь не...

— Я не такой, как вы хотите. Оставьте меня в покое... вам лучше уйти. Я и сам уйду жить в другое место...

— Боже мой! Но куда?

— Не знаю... туда, где смогу от вас скрыться.

Они сидели на краю кровати в темной комнате. Этот человек губит себя, как все бедняки, как Росита Лара, Армандина... они как будто знают, что ничего не смогут изменить, что тьма все равно в конце концов их настигнет, как бы они ни пытались от нее увернуться, и они опускают руки, и позволяют вшам, тараканам, болезням себя пожирать. Его тоже что-то грызет изнутри. Только не знаю, что именно. Мне нужно это выяснить. Я обязана его отмыть и вылечить, как отмываю Альмадину, как снова и снова обеззараживаю детишек Роситы Лары. И все-таки какая-то часть меня его ненавидит, ненавидит их всех и мечтает бросить в грязи, наедине с судьбой, потому что игра проиграна с самого начала. Да, я ненавижу Майа, и мне хочется плюнуть на него, уйти. Зря я вызволила его из тюрьмы. Рука Майа лежит рядом с ее рукой: при каждом движении эти преступные пальцы касаются ее пальцев, распознают их, хватают. Майа все говорит и говорит:

— ...я обыкновенный преступник, сеньора Чепе. Зачем вам понадобилось вытаскивать меня из каталажки? Зачем? Я вас подведу, вот увидите. Столько красивых вещей я здесь видел, которые не могу... вы принимаете меня в буфетной, в гостиную ни разу не пустили, и дону Альваро меня так и не представили. Почему вы не представили меня дону Альваро? А? Почему?

— Он сложный человек.

— Я тоже сложный.

— Бога ради, Майа, что вы собираетесь делать?

— Я все потерял. Завтра придут забирать мое имущество, мебель, машины, все. Это тянется уже давно. Завтра, когда придут рабочие, я должен буду им сказать, чтобы искали себе другое место, что здесь работы больше нет, теперь мне самому надо куда-то наниматься.

— Но как случилось, что...

— Тани...

— Тани? Это мастер восточных единоборств?..

— Нет. Это мой жеребец.

— Ничего не понимаю.

— Не понимаете, потому что я вам ничего не говорил. Вы не знаете, что я по уши в долгах: этот Тани высосал из меня все. Все было кончено еще несколько месяцев назад, но как я мог вам рассказать, если знал, что вы, конечно, разозлитесь, да и сам понимал, что делаю глупость, бросаю деньги на ветер — и те, которые имел, и те, которых не имел, — когда содержал этого Тани, как принца, ведь тренеры обещали, что он принесет мне миллионы... и я все больше и больше влезал

в долги. Во всем виноват Буэрас. Это он меня втравил. Сказал, что жеребца продают за бесценок, что на самом деле он гораздо дороже, что мне позволят платить частями... вот я и повелся. А оказалось, что конь — никчемное барахло. Ох, сеньора, как вы были правы, когда говорили, чтобы я не связывался с Буэрас...

— В тюрьме Марухита мне сразу не понравилась...

— Сеньора, они оба бессовестные люди, воры. Вы думаете, Марухита приходила в тюрьму продавать одежду? Как бы не так... Она только делала вид, а сама собирала с нас ставки, которые мы отдавали ей на бумажках вместе с деньгами... вот чем она занималась, а вовсе не торговлей вразнос. В тюрьме мне, конечно, везло, даже слишком везло, я выигрывал постоянно. А теперь, на свободе, я должен Буэрасам за лошадь, потому что они за меня поручились...

— Ничего нет хуже лошадей, ничего...

— Вы сами говорили, что дон Альваро ходит на скачки.

— Это было раньше. Я заставила его бросить.

Он продолжал говорить: этот жеребец, как он его любил, навещал, и сегодня утром у него был последний шанс, и он не понес Вивесам эмпакиды, а отправился на бега, и поставил все деньги, которые сумел занять... все впустую. Он проигрался. До последнего гроша. Буэрас в бешенстве. Я не знаю, что делать. Нужно искать работу, потому что на этой неделе у меня все заберут...

— Нет, Майа. Я могу поговорить, могу помочь...

Майа сжал ей руку так, что чуть не переломал все пальцы. Пришлось попросить его больше так не делать.

— Нет, нет, я не хочу. Я хочу, чтобы вы оставили меня с самим собой. Разве вы не понимаете? Машинами, сырьем и мебелью я расплачусь полностью, буду свободен, без гроша, но чист. Я пойду в рабочие, стану неимущим, на которого каждый может наорать, оскорбить... прямо сейчас, и уже никогда не смогу сесть с вами за один стол, сеньора Чепы, никогда. Прежде — да. Такое могло случиться... через какое-то время, благодаря моей мастерской. Потом я надеялся на Тани. Но нет. Батрак. Неимущий... И отсюда я должен уйти. Не хочу, чтобы вы продолжали за мной следить.

— Но я и не думала за вами следить, не говорите такого! Вы вольны делать все, что вам угодно!

— Неправда. Вы лжете. Видите, как вы лжете? Видите, как вы меня обманываете? Сколько раз в неделю вы навещаете сеньору Виолету и подкарауливаете меня, чтобы узнать, в банке я? Работаю? Выполняю свои заказы и дневную норму? Боитесь, что я не справляюсь. Не отпирайтесь, потому что я знаю, это так, я знаю...

— Нет, Майа, это не так, нет...

— ...и потому я вам не говорил, что разоряюсь: чтобы вы не вмешивались со своим недовольством. Меня бесит, что приходится от вас скрывать свои дела, чтобы вы не разозлились, просто бесит. И мне нравится, когда вы злитесь, потому что тогда я могу видеть, что вы действительно меня любите и способны простить.

Майа резко включил свет, и лампочка вспыхнула, словно взорвавшись. Он увидел ее лицо, быстро зажмурившиеся глаза, мокрые от слез ресницы. Он закричал:

— Но какого черта вы должны меня прощать?

Она не стала открывать глаз, и некоторое время они сидели в тишине.

Вдруг Чепач почувствовала на щеке руку Майа.

— Не плачьте, сеньора.

— Не буду.

— Вы плачете из-за меня.

Его голос изменился. Утратил свой надрыв, словно под действием каких-то мыслей.

— Я не могу здесь оставаться. Не могу. Мне нужно уйти. Да. Нужно выбраться из дома сеньоры Виолеты...

— Куда вы пойдете?

— Не знаю.

— К Марухите?

— Разве вы не понимаете, что к ней я не могу пойти? Как вам известно, у нее есть муж. И он на меня зол, потому что ему придется расплачиваться за Тани...

— Но это не означает, что он сумеет заплатить все?

— Не вмешивайтесь, сеньора, пожалуйста, не вмешивайтесь... Я разберусь. Поверьте, я сумею разобраться со своими делами без вас. Поверьте, я не младенец... и не преступник...

— Нет, конечно, нет!

— Ну вот, я и говорю.

— Куда же вы пойдете?

Майа помолчал.

— Какое вам дело? Почему вы не можете оставить меня в покое? Я буду жить там, где захочу. Вам это будет неизвестно. Я вам не скажу. Вы больше никогда ничего обо мне не узнаете. Ничего, кроме того, что я сам захочу вам рассказать. И видеть меня вы будете только тогда, когда я сам захочу вас видеть. Понятно? Понятно?

Майа начал тихонько всхлипывать, и у Чепача похолодело в груди. Она не могла допустить его гибели. Нужно заставить его снова принять ее помощь. И мало-помалу, преодолевая его гордость и отговорки, она вынудила его согласиться: да, завтра же утром она поговорит с Габриэлем. И сама одолжит Майа денег, чтобы он не стал нищим, да-да, она сможет это сделать, у нее есть кое-какие сбережения, еще бы... да-да,

для того, чтобы его мастерская снова заработала, потому что он действительно мастер, каких мало, Майа, клянусь, я никогда не видела лучше. Одно условие: вы больше не будете играть на скачках. Да. Это вы должны мне обещать. Майа обещал. Но и сам поставил условие.

— Все, что пожелаете, сеньора Чепе. Кроме одного. Я больше не хочу жить в этом доме. Не могу. Я хочу уйти сейчас же, завтра утром, и больше не возвращаться. И не хочу, чтобы вы знали, где я поселился. И не хочу приходить в ваш дом до тех пор, пока не смогу сесть за один стол с доном Альваро...

Если бы Майа знал, что Альваро никогда не бывает с кем-то, что он всегда, всегда один, и поэтому его мечта неосуществима. Не важно. Возможно, остальное — да. Я принимаю ваши условия, Майа. Пусть будет, как вы хотите, только бы вы не впадали в хандру и согласились принять все, что я вам предлагаю.

По их договоренности Чепе всю неделю не приходила к Виолете. Она должна была дожидаться, пока Майа распродаст все вещи и уедет. Наконец Виолета сообщила об отъезде Майа. Они обошли пустые комнаты, в которых за дверями и под мебельными чехлами еще валялись кое-где обрезки кожи. Майа не сказал, куда едет. Сказал только, что свяжется с Чепой по телефону. Чепе вернулась домой, ей не оставалось ничего другого, как ждать от него звонка. Снова бабушка, снова куча детей у нее в кровати, хотя они уже далеко не малыши. В предместьях она больше не ездила. Приходившие к ним в дом дамы рассказывали, как ее там сильно не хватает. Но нет. Зачем? Ее это больше не удовлетворяло. Иногда по вечерам она уезжала на машине, чтобы покружить по центру.

Но вот однажды ей позвонил Майа. Они договорились встретиться на одном из перекрестков, где Чепе подобрала его в машину. Он сказал, что не хотел ей звонить, пока снова не встанет на ноги, не начнет выплачивать долги. При себе у него был конверт с деньгами. Конечно, это не все, но первая часть долга и даже немного больше. Когда они прощались, Чепе высадила его на перекрестке и утопила в рокоте мотора острое желание спросить: “Что дальше, Майа? А вы? Вам нечего мне сказать, нечего у меня попросить? Я больше ни для чего вам не нужна? Вы так и оставите меня существовать от звонка до звонка, до каждой следующей просьбы?” Майа растворился в городской толпе.

Время от времени он звонил, чтобы лично отдать ей очередную часть долга, приглашал в “Асторию”, угощал мороженым и кофе, и они немного разговаривали. Дела у него шли хорошо. Он располнел. Скрыл родимое пятно под усами, пре-

вратившими его в очередного торговца или дельца из тех, что толпились по вечерам в дверях центральных кафе, курили, глазели на девушек и заключали сделки.

Но через некоторое время он звонить перестал.

Плохо было то, что Майя два или три месяца не платил не только ей, но и банку, и Альваро был очень недоволен, когда ему позвонили, чтобы сообщить о переводе долга на нее. Чепе пала духом. Иногда она заходила к Виолете, чтобы проверить, не узнала ли она что-нибудь о Майе. Ответ был всегда один и тот же:

— Что я могу узнать об этом наглеце?

Однажды Чепе позвонила Мирелья и попросила, чтобы сеньора, ради бога, приехала к маме, которой очень плохо, а то сама Мирелья не знает, что делать. Виолета лежала в постели, вся в синяках, с подбитым глазом, полуживая от побоев. Чепе выпроводила Мирелью: иди, купи спирт, еды и бинтов для ухода за матерью, ленивая ты, неблагодарная девчонка, не стой столбом, мне нужно поговорить с Виолетой.

Когда Мирелья ушла, Виолета натянула на лицо простыню и разрыдалась. Да. Она свинья. Всегда была свиньей. И теперь, на старости лет, боже мой, она была уверена, что уж больше никогда, что теперь будет жить спокойно, пока в ее доме не появился этот Майя... Боже, какой ужас, до чего я дожила!

— Сколько тебе лет, Виолета?

— Пятьдесят восемь.

Мне пятьдесят четыре.

— Ну и?

Всхлипывая, Виолета продолжала свой рассказ. Нет. Это не была любовь. Они были друзьями, особенно поначалу, просто не давали друг другу скучать. Если он оставался дома, то приглашал ее к себе смотреть телевизор, и они выпивали несколько бутылок, довольно много, потому что этот Майя оказался пьянчугой. Да, вы этого не знали, сеньора Чепе, потому что он просил меня вам не говорить, и хотите смейтесь, хотите нет, но как-то ночью они оказались в постели. Она, старуха! Ужасный стыд! Но что поделать. Она всегда была такая. Так и Мирельей обзавелась. Когда Марин не захотел на ней жениться, а женился на той, у которой были земли и коровы. Она тогда легла с первым встречным, с хозяином мясной лавки, где покупала мясо для сеньоры Элены. Но Чепе не слушала. Майя занимался любовью с этой женщиной, которая была на четыре года старше нее.

— Хорошо. А это откуда?

Вчера Майя явился, когда она уже легла спать. Он был злой. Ужасно злой. И полупьяный. Он снова все потерял, а

причины те же: бега, женский пол. Все эти Марухиты Буэрас, да и другие наверняка. Откуда мне знать. Пирь и загулы, которыми он любил ублажать своих дружков... вот на какую дрянь он тратил свои деньги. Свои и чужие. И на этот раз стал просить у нее.

— А раньше ты давала ему деньги?

— Да, сеньора.

— Когда?

— Все эти месяцы.

— Пока я ломала себе голову, куда он подевался?

— Да.

— А ты с ним в это время виделась.

— Иногда он заходил, но заставил меня поклясться, что я вам ничего не скажу.

— Я думала, у тебя нет денег.

— Майа выгреб у меня все подчистую. До последнего гроша. А вчера, когда пришел пьяный, требовал еще, но я сказала, что у меня нет, и тогда он, зная, что я держу деньги здесь, в матрасе, выволок меня из постели. Но он был пьяный, ничего не смог достать и завалился вместе со мной обратно. Ужас, правда, сеньора?

— Продолжай.

— Я ему сказала, чтобы он остался. И тогда он по-настоящему рассвирепел и стал орать, что все женщины такие же, как вы, сеньора Чепе, зазнайки, это его слова, будь она проклята, это тоже его слова, каждый раз, когда она меня за что-нибудь прощает, мне хочется натворить еще больше гадостей, так он сказал... И что я такая же, как вы.

Такая же, но вызываешь зависть: знать ничего не знаешь, ведать не ведаешь, просто плывешь по течению, пока я смотрю со стороны, ни в чем не признаюсь, но завидую твоим синякам. Майа навещает тебя по ночам, в то время как я сохну возле телефона.

— ...такая же, как вы, что мы обе хотели его сожрать, проглотить, установить над ним контроль, уничтожить, но что он не позволит нам этого сделать, и начал меня бить, сеньора Чепе, и посмотрите, как он меня отделал, этот негодяй...

На следующий день Чепе обошла все магазины, в которые Майа сдавал свою продукцию, с просьбой передать ему, что она его ищет. Но во всех этих местах он давно не появлялся. Последние заказы он тоже не исполнил. Тогда она отправилась к Марухите, но и та давно переехала в другой дом. Одна из соседок сказала Чепе, что Марухита развелась с мужем. Теперь у нее другой мужчина, и они держат тир в самом бедном предместье, между портовой железной дорогой и рекой. Чепе ждала, Майа не приходил.

Каждый месяц она наведывалась в магазины, чтобы узнать, не появилась ли у них какая-нибудь информация, но все напрасно: Майа исчез в недрах пустыни, растворился в клубах пыли. Казалось, что в пыли растворился весь мир. Фанни почти ей не звонила, и Чепа легко могла себе представить, как она говорит: “Чепа Росас стала такой странной, доложу я вам”. Внуки облепляли ее колени: поехали, поехали, по кочкам, по кочкам, но дети уже большие, эти игры им скучны. Где сейчас Майа? Бедолага. Ей оставалось только погрузиться в будничное и машинальное: в цены на картошку, в выбор ткани для фартука Антонии — в женский кокон. Благословенный женский кокон.

Но однажды, почти год спустя, Майа появился у ее дверей. Она впустила его в дом. Он сбрил усы, родимое пятно стало как будто даже больше и напоминало таракана, устроившегося на краю его губы. Худой и взвинченный, как никогда, он был в драных, пыльных ботинках и в синем костюме — в том первом, который купил сразу после выхода из тюрьмы, теперь выцветшем и превратившемся в лохмотья. Как только она прикрыла за ними дверь в музыкальную комнату, он молча рухнул на колени, и Чепу обдало перегаром. Она погладила его по затылку. Ей так давно этого хотелось. Она была готова ему верить. Дать ему то, что он попросит. Что угодно. Она сказала, чтобы он, ради бога, все забыл! Ничто не имеет значения. Она поможет ему начать все с начала, во всем, в чем и как он захочет, пусть забудет про долг, про обязательства перед банком, про все, про все! Не сказала только, что тоже хочет его о чем-то попросить, потому что не знала, о чем. Целую вечность гладить этот смиренный затылок? Или уйти вместе с ним. Бросить все. Но этого она не произнесла, это было невозможно. Надо скорее отвезти его к хорошему врачу, чтобы полечить от алкоголизма. Но нет. Это тоже нет. Этим ничего не изменишь. Зло кроется в другом. Майа молчал. Уши у него были ледяные. Воротник рубашки обтрепался. Все, что хотите, Майа, все, что хотите...

— Нет, сеньора. Теперь уже нет. Бесполезно.

— Но почему, Майа? Почему бы вам не рассказать, что с вами случилось?

— Я не знаю, сеньора...

Чепе стало страшно. Но все равно. Я хочу знать, что он натворил, где его носило, что я могу для вас сделать, Майа, ради бога, позвольте мне, еще только раз, пожалуйста, потому что иначе я тоже погибну, позвольте мне, Майа, разрешите!

— Нет, уже нет...

Он заговорил. Все потеряно. Даже друзья. Пьяный, он впадает в злобу. И вдруг его скручивает черная хворь, вы помните, сеньора Чепа, черная хворь, та, что берется неизвестно

откуда, набрасывается на меня и валит с ног. И тогда кто-нибудь меня подбирает. Иногда больница. Или приют. Монахини... или какой-нибудь человек, но я не знаю, не помню тех людей, с которыми встречаюсь, все тут же забываю и пялюсь в потолок несколько дней, иногда неделю, в тоске, вы знаете, о чем я говорю, конечно, знаю, Майя, конечно, как не знать. Вспомните тот случай в лазарете, когда вы меня не узнали. Я ездил на север. Мне захотелось. Нет, денег у меня не было, но, когда идешь пешком, дальнобойщики всегда подбросят, иногда даже дадут вина, позволят выспаться в кабине... в Токкопилью, а оттуда — в свой поселок. Я хотел идти пешком. Спросил, где он, потому что сам уже не помнил. Как туда добраться? Но мне сказали, что поселка больше нет, сеньора Чепы. Представьте. Что он не существует. Пыль и больше ничего. Да. Но вы знаете, какой я упертый. Дождался попутного грузовика до тех краев. Поселок стал грудой высохших, как все на севере, обломков, почти белых, и ничего нельзя было найти, даже тень хищной птицы в небе. Все погибло. От беспробудной нищеты. Шахта была в другом месте. Я даже не узнал развалины той лавки, хозяина которой уколошил, даже дом, в котором жил сам. И я ушел. Потом бродил в других местах, и мне казалось, что часть мозгов у меня тоже умерла, как поселок, в котором не осталось ничего того, что было мне знакомо... А вы хотите, чтобы я начал с начала, но я не могу, потому что не знаю, где это начало! Нет, сеньора Чепы, вы добрая, что и говорить, но я не могу. Такая моя доля. Я злился, когда вы принимали меня в буфетной, где обедает прислуга, но и того мне было слишком много...

— Не говорите так...

Майя смеется, ощупывая диванный валик.

— Бархат.

— Да.

— Как называется этот цвет?

— Сизый.

— Красивый.

— Майя, я сделаю для вас все, что хотите.

Но он уже ничего не хочет. И не знает, что будет делать. Если ему дадут несколько песо и немного еды, он уйдет, на этот раз на юг, или переберется через Кордильеры, одним словом, куда-нибудь. Быть свободным тоже по-своему приятно. Делаю что хочу. Но возвращайтесь, Майя. Если с вами что-то случится, сообщите мне, я буду ждать... не уходите, Майя, подождите. Вернитесь. Я провожу вас до ворот.

— Обещайте мне одну вещь.

Он стоит на ковре из белых цветов, растущих вокруг акации, и весенний ветерок треплет их, как безумный.

— Майя, обещайте мне одну вещь.

— Какую, сеньора Чепа?

— Что вы не натворите ничего... страшного...

Лицо Майи темнеет.

— Вот видите, сеньора?

— Что?

— Столько прощения, столько помощи, но никакого доверия, потому я и делаю всякие пакости... что вы мне не доверяете.

— Я...

— Вы боитесь. Для вас я всегда был уголовник. Зачем вы вытащили меня из тюрьмы, если во мне сомневались?

— Как вам только такое в голову пришло!

— Вы в меня не верите.

— Конечно, верю.

— Нет.

— Майа...

— Не верите...

— Потому что прошу вас обещать?

— В очередной раз хотите связать мне руки.

— Но каким образом?

— Сами знаете каким: своей помощью.

Майа качает головой.

— Нет, сеньора, нет...

— Но обещайте мне...

— Ничего не буду обещать.

— Не уходите.

Но он уже ушел. Спустя короткое время она потеряла его из виду.

Почти бессознательно выбранные, знакомые улицы становятся все теснее. Над электрическими проводами появляется башня храма Сакраментинос. Посещение полупустой полслеполуденной церкви действует умиротворяюще: сесть на заднюю скамейку, пахнет ладаном, поблескивает золотом церковная утварь, очередь из набожных прихожанок в исповедальню, кашель, кутаешься поплотнее, гнусавое бормотание праведниц в разных концах нефа. Когда-нибудь она зайдет сюда, как заходила раньше. Но не сейчас, сейчас нет времени, и неизвестно, когда появится, потому что, если сейчас задержаться на чем-то, что-то другое уйдет навсегда. А значит, не бывать утешению холодной церковью в зимний день, никакому утешению вообще. Старые, серые дома. Окно, дверь, окно, другое окно, за ним женщина раздувает в жаровне огонь. Все эти кварталы принадлежали сеньоре Элене и ее братьям: домишки под сдачу, как они их называли. Улица с разбитой мостовой. Играющие на тротуаре в мяч дети расступаются, чтобы дать дорогу. Один из них ма-

шет ей рукой. Кто бы это мог быть? Затем мальчишки снова сбиваются в кучу и продолжают свою вечную игру; дом Виолеты. Любовь. Любовь.

Она в бешенстве останавливается. Это слово звучит оскорбительно в устах Альваро. Оно до сих пор ее жжет. Но то, что он употребил его в отношении нее и Майя, причем со злобой, да, со злобой, этого у нее уже никто не отнимет, это дает свободу, как разрубивший оковы удар. Она вольна идти куда хочет. Делать что хочет. Но если она в очередной раз найдет его и спасет, то не будет знать, что делать дальше. Любовь. Любовь, сказал Альваро. Стуча по стеклу входной двери Виолетиного дома, она смеется, поскольку не знает, что делать с этим несуразным словом, как не знала, что делать с норковым мантио, о котором говорили Тита и Эстевес.

— Смотрю, вы в хорошем настроении, сеньора Чепа...

— Господи, какая холодина...

— Проходите...

Пока Виолета запирает за ней дверь, Чепа стоит в прихожей. Цапли на стекле выглядят так, словно проступили из тумана.

Чепа удерживает Виолету в прихожей и сообщает ей заговорщицким тоном:

— Он приходил ко мне сегодня утром.

— Боже мой, сеньора...

— А здесь он не появлялся?

Виолета молитвенно складывает руки.

— Бог миловал, сеньора!

— Но он на свободе.

— Дон Альваро мне утром сказал.

— Где он может быть сейчас?

— Зачем вам его искать, сеньора?

— Ты знаешь, что ему наговорил Альваро?

— Да, он сказал. Майя, наверно, в бешенстве.

— Он может наделать каких-нибудь глупостей.

— Боже мой, только бы сюда не пришел.

— Поэтому я и приехала.

— Марухита должна знать.

— Да. Я собираюсь с ней поговорить. Время уже позднее.

В глубине дома верещит младенец. Чепа улавливает его запах. Она идет по коридору.

— Марукса Жаклин?

Виолета улыбается.

— Да. Она самая.

— А Мирелья и Фаусто дома?

— Да, я не разрешила им уехать, потому что боюсь, как бы не объявился Майя и не застал меня одну. Вы знаете, какой он, когда в злобе.

— А как малышка?

Улыбка снова озаряет лицо Виолеты.

— Пойдемте...

В спальне Виолеты пахнет раскаленным углем, испачканными подгузниками и молоком. Рядом с жаровней на спинке стула сушатся пеленки. Фаусто валяется на кровати и читает газету. Спиной к нему, в ногах кровати сидит Мирелья с Маруксой Жаклин на руках, трясет перед собой бутылочку с соской, пробует ее губами и засовывает дочери в рот. Комнату освещает люстра с четырьмя рожками, но с единственной горящей лампочкой.

— Посмотрите-ка, Марукса Жаклин, кто к вам пришел!

Фаусто и Мирелья поднимают глаза и встают. Чепа проходит в комнату, снимает кунью горжетку и склоняется над Маруксой Жаклин. Она гладит ее по щеке, и девочка улыбается. Во рту у нее один зуб, как и у Мирельи.

— Как поживаешь, красавица?

— Здравствуйте, сеньора Чепа. Поздоровайся, Фаусто, невоспитанный ты чурбан...

— Здравствуйте, сеньора.

— Здравствуй, Мирелья. Добрый день, Фаусто. Как дела? У вас тут хорошо, тепло. Ну-ка, дай мне Маруксу Жаклин.

Три женщины суетятся вокруг тряпичного свертка, уложив его на атласное покрывало. На них взирает довольный Фаусто. Мирелья, не надо пеленать ее так туго, теперь новорожденных так туго не пеленают, видишь, она сопрела, а все из-за того, что ты ее так замотала, дай-ка мне, видишь, как надо? Мне кажется, она похожа на Виолету, хотя я не знакома с матерью Фаусто и точно сказать не могу, но на Виолету похожа, Мирелья, не упрямься, не так туго, тебе говорю... дай мне эти пеленки, если они высохли. Когда пеленание закончено, Мирелья берет девочку на руки, но Фаусто знаком просит передать малышку ему. В этот момент Марукса Жаклин начинает вопить. Виолета говорит:

— Ну и голосина! Будет торговать газетами вразнос.

Фаусто смеется и качает девочку до тех пор, пока она не умолкает. Виолета греет на углях тортилью, наливает Чепе очень крепкий чай, и та пристраивается на стуле, на котором все еще висит пеленка. Как добиться, чтобы у ребенка не было опрелостей? Марукса Жаклин вроде не такая уж писунья... Фаусто снова полулежит на кровати, опершись на один локоть, и берется за газету, словно намерен ее развернуть, но не разворачивает, потому что слушает разговор трех женщин: пеленки, соска не должна быть такой горячей, я тебе честно скажу, когда родилась моя старшая... По ночам она отлично спит, Фаусто никогда не приходится вставать, она не плачет, вы не думайте, плохо только, что у

мамы такой чуткий сон. Я же говорю тебе, Мирелья, что могу спать в задних комнатах, я ничего не слышу, места здесь предостаточно, мы все отлично разместимся, вот увидишь...

— Что скажете, Фаусто?

— Конечно, сеньора Чепе...

Еще до ее прихода они договорились, что эту ночь проведут в доме Виолеты. Да и вообще переедут, потому что сеньора Виолета боится оставаться одна из-за этого Майя...

— Что за глупости, Виолета, что он может тебе сделать?

— Ох, сеньора...

— Столько времени прошло. Вспомни, что под конец он гораздо чаще был у Марухиты Буэрас, чем здесь. Если он кого и потревожит, то, скорее всего, ее.

— Вы так думаете?

— Поезжайте и привезите все, что нужно для ночевки, а я побуду с Виолетой. Только поторопитесь.

Когда Мирелья и Фаусто ушли, Виолета задернула шторы. Они о многом поговорили, на простые и приятные темы: о сеньоре Элене, о том, что стало с ее братьями, с детьми ее братьев, с внуками ее братьев, мы почти с ними не видимся, потому что, сама знаешь, Виолета, родственники разъезжаются, а при собственных внуках ни на что не хватает времени, Мече и Пина известно каковы, и наши внуки уже выросли, а их внуков я почти не знаю, боже мой, но так уж получилось, знаю только, что их пятеро... так трудно стало доставать по-настоящему хороший чай и масло того сорта, который был раньше, “Бету”, ты помнишь? Когда Виолета вышла во двор, чтобы принести еще угля, Чепе опять стало страшно. Не за Виолету. За Майя. Что я здесь делаю, сижу и обсуждаю Жаклин Маруксу или Маруксу Жаклин и масло “Бету”? Уже два, два с половиной, три часа я сижу у Виолеты и жду, что вы, Майя, придете, а вы все не приходите. Вы у Марухиты. По крайней мере, она знает, где вас найти, в каком незнакомом мне лабиринте жизни вы смеетесь над чем-то мне непонятным; ненавидите, желаете, любите чуждых мне людей. Марухита — это путь к вам. Но я не могу оставить Виолету. Чепе ложится рядом с Маруксой Жаклин. Плотной обматывает горжетку вокруг шеи. Пальцы она сжимает в кулаки, пока Виолета, наклонившись, ворошит угли в жаровне, и снова их разжимает, нет-нет, не нужно так нервничать. Но я не нервничаю. Я только хочу поскорее уйти отсюда и поехать его искать. Ямки под коленями у Виолеты, как у молодой. Неожиданно Чепе приходит в голову мысль, проясняющая много неясного.

— Виолета...

— Сеньора.

— Скажи мне.

Виолета подходит к кровати.

— Что, сеньора?

— Мне это только сейчас в голову пришло.

— Что?

— Не бойся.

Она и не боится.

— Не буду.

Лучше задать вопрос прямо:

— Ты когда-нибудь занималась с Альваро любовью?

Лицо Виолеты разом скисло. Она закрыла его руками, а локтями уткнулась в бронзовую спинку кровати. Пусть плачет, пусть, эта женщина, которая вдруг перестала быть непонятной, мне безразлична. Как стыдно, сеньора, как стыдно, да, было дело, но такая уж я есть, словно проклятье какое-то на мне, что поделать, а дону Альваро было так одиноко в доме на Агустинас, да, дон Альварито... какое-то время. Долгое время. Но только вы, ради бога, не подумайте, сеньора Чепита, что после того, как он на вас женился, нет-нет, никак нет, не думайте, что я неблагодарная свинья, я так обязана сеньоре Элене и вам, что даже не представляю, как... ладно, голубушка, перестань, не убивайся, а то тебя инфаркт хватит, оно того не стоит. Тем не менее Чепита встает и надевает перчатки. Оно того не стоит, все это было так давно. Возможно, Виолета составила ей конкуренцию, и конечно, это неуважение, нечто такое, что недопустимо для служанки, но зато от столького освобождает... Она гладит Виолету по руке.

— Я пошла.

— Вы рассердились.

Ты не должна этого замечать.

— Ой, ради бога, как ты могла подумать?

— Вы оставляете меня одну, а он может прийти.

— Нет, он не придет.

— Не придет?

Я не уверена. Я лгу, чтобы Виолета меня не задержала, потому что хочу его найти... С легкой душой, свободная, подгоняемая всеми ветрами, не имеющими никакого отношения к этой комнате, где сопит младенец, и горит жаровня, где тепло. Я такая же, как Виолета. Я имею право его искать. Не спасать. Только искать. Ведь так просто сказать любую ложь!

— Нет. К тому же вот-вот приедет Мирелья.

— Где вы будете его искать?

— Не знаю. Сначала у Марухиты. Потом — не знаю.

— Как бы с ним что-нибудь не случилось.

— Виолета, ты становишься трусихой...

— От старости, наверно...

Чепита идет к двери спальни.

— Вы не попросаетесь с Маруксой Жаклин?
Она делает вид, что не слышит, и выходит.

Раз... два... три... четыре...

Нет, три. Последний огонек оказался не анимитой, а светом фар, отраженным в лежащей на шпалах банке. Но они продолжают и дальше: четыре, пять. Говорят, это несчастные случаи, из-за поездов. Ничего подобного. По другую сторону дороги растут и множатся трущобы — невод, собирающий людей, которых, как мусор, выбрасывает город: лабиринт из глины, камней, обломков, жестянок, досок и цинковых листов, нагроможденных в беспорядке, как попало; люди приносят с собой ветки, кирпичи, замазывают щели глиной, укрепляют постройку камнями и гвоздями, и вот уже на непрерывно растущей раковой опухоли образуется новая клетка. За трущобами — городская свалка. Дальше — река. Еще дальше — антенно-мачтовые вышки, сигнальные установки, резервуары с газом и разноцветные лучи, которые то вращаются по кругу, то неподвижно упираются во что-то.

Это предместье знакомо Чепе только по дневным визитам, да и то с краю, откуда трущобы ежедневно выблевают на одну из городских улиц бродяг, тут же смешивающихся с толпой в поисках работы, поживы и развлечений. Эти люди и есть анимиты. Они, а не поезда, создают анимиты. Пламя свечей выглядит особенно трепетным, когда смотришь на него темным вечером перед дождем. Чепе припарковывает машину и спускается по небольшому склону.

Она знает, что в таких предместьях тиры обычно бывают на периферии. Но здесь нет периферии: сразу у подножия откоса начинается хаос, и человек попадает в лабиринт. Не нужно этого делать. Я хочу вернуться. Уже почти темно, и я не знаю, куда идти. Я забыла запереть машину и снять “дворники”, теперь их обязательно своруют. Но все равно не могу вернуться. Какое же мучение карабкаться по склону на каблуках!

Она видит кое-где освещенные двери, тусклые лампочки в окнах, но достаточно сделать шаг в сторону, как их заслоняют другие предметы, горы обломков, полуразрушенные стены, и расположение огоньков сразу меняется. Случайная застройка не предполагает ни улиц, ни перспективы, и вокруг нет ничего, кроме громоздящихся стен и проломов между ними, по которым Чепе двигается вперед, или назад, или кружит на месте, этого она не знает, потому что в темноте стен не отличишь. Грязь на каждом шагу липнет к туфлям. Из полутемных нор за ней следят какие-то люди. Через три минуты после приезда Чепе уже не могла определить, как ей возвра-

титься к машине. Она окликает девчущку, сосущую палец на пороге какой-то хибары.

— Послушай. Где здесь поблизости тир?

— Хотите пострелять?

— Нет... Не знаю. Где?

— А вы заплатите за меня тоже?

— Ты еще слишком мала.

— Тогда я вас не отведу.

— Совести у тебя нет.

— А что это за щеночки у вас на шее?

— Куницы... Проводи меня, тебе говорят.

— Провожу, если вы подарите мне одного щеночка.

— Нет, я заплачу за тебя в тире.

Девочка вприпрыжку бросается вперед. Чепа вынуждена бежать, чтобы не потерять ее из виду в этой мешанине сученных, словно прорастающих друг в друга развалюх. Они лезут в дыры, протискиваются в щели и неожиданно оказываются возле комнаты без потолка и пола, в которой два человека играют в карты на ящике из-под сахара, используя его вместо стола, затем сворачивают в еще один закоулок и выбираются из него через пролом: обвисшая гирлянда лампочек окружает открывшуюся площадку. Чепе кажется, что тысячи глаз смотрят на нее из сомкнувшейся за гирляндой темноты. Под блеклыми, засиженными мухами бумажными флажками, стоит, опершись локтями о деревянные перила, Марухита, рядом с ней — три ружья. Чепе видны только ее химические кудри, валики бедер и синюшные ноги. Но это она. Плечи ее подняты, руки скрещены на груди, чтобы защититься от холода. Девочка настолько мала, что, едва пригнув голову, проходит под перилами и подсакивает к Марухите, которая теперь пытается вырвать у нее ружье. Чепа ждет между мишенями. Девочка что-то говорит Марухите, та отпускает ружье и оборачивается к Чепе. Посиневшая кожа ее накрашенной физиономии, глаза, которые давно не дают себе труда даже смотреть, трясущаяся нижняя губа. Сеньора, он пошел к вам, но раз вы с ним не встретились, значит, он отправился к Виолете, так он сказал сегодня утром, когда уходил. Да, да, он жил здесь, со мной, в комнатухе там, подальше... он хотел идти к вам, чтобы вы ему помогли, чтобы вы помогли нам обоим, хотел дать вам обещание.

— Значит, он обо мне вспоминал?

Марухита столько сил в него вложила. Уже много лет Майа не может найти работу, месяцами где-то пропадает, и мы живем только за счет этого тира, а в нем, как видите, не очень людно. Он неделями лежит в лазарете для алкашей, выходит и снова является к ней, бросившей ради него Буэраса, которого Майа подставил, бросившей ради него и второго

мужа, когда Майа вернулся с севера. Ее второму мужу не нравилось, что Майа все время вертится у них дома и месяцами спит на полу, как собачонка, возле их кровати, как-то раз они доверили ему тир, но он слишком много пил, воровал и закладывал ружья, сами видите, у меня только три осталось. Когда-то я купила десять, очень хороших, на свои сбережения, когда было нужно. Конечно, летом дела идут получше. И по воскресеньям. Но не думайте, что намного. С тремя ружьями денег не заработаешь, хватит, девочка, оставь ружье в покое, уходи отсюда, пока я тебе не наподдала. А потом Майа являлся худющий, с этим глазами побитой собаки, ну, вы знаете, о чем я, а когда он так смотрит и ничего не видит, то сразу понятно, что у бедняги вот-вот начнется черная хворь, и он пролежит неизвестно сколько, глядя в потолок... короче, зачем я вам рассказываю, вам все это известно. Он говорит, что однажды черная хворь на него нападет и больше не отпустит. Мне кажется, что это как раз сейчас и случится, потому что в последнее время он ходит совсем плохой, вот что я вам скажу...

— ...и говорит, что во всем виноваты вы.

— Я?

— Да. Потому что вытащили его из каталажки. Ему там было хорошо. Это правда. А потом он вознамерился стать богачом, обманул Буэраса, стал играть на бегах и все прочее в том же духе, полез в долги, а когда у него ничего не осталось, принялся пить. Он говорит, что лазарет для алкашей нравится ему тем, что похож на тюрьму.

— Где он?

— Лазарет?

— Нет. Майа.

— Собирался к вам.

— Да-да, а потом?

Марухита выпрямляется во весь рост. Она роняет руки вдоль тела.

— Послушайте, сеньора, этот вопрос мне уже надоел. Мало вы нам нагадили своим добрым сердцем? Ищите его сами. Он может быть где угодно, даже где-нибудь здесь: предместье большое, я его сама не знаю. Меня все это бесит. А Майа говорит, что если вы хотите позволить себе такую роскошь и удовольствие, то вам придется заплатить...

— Какую роскошь?

— ...улечься с ним в постель.

— Он такое говорил?

— Он для этого к вам и пошел, потому что мы совсем обнищали.

Марухита молча смотрит на Чепу.

— Вы знаете, что он вас боится. Иногда ляжет спать и начинает говорить, и говорит о том, как много вы для него сде-

лали... говорит, что ни мать, никто... А в другие дни он думает, что вы за ним придете, и прячется, и удирает, или придумывает всякие хитрости, чтобы вы его не нашли, и говорит, что вы за ним придете, чтобы снова заставить работать, а сами будете за ним шпионить. А иногда, особенно когда его подлечат, говорит, что вам нужно от него только одно, что вы его хотите, больше ничего, и плачет, потому что сам по вам скучает. Зачем вы его вытащили, сеньора! Неужто не могли найти себе другое развлечение? Раньше, когда он сидел в тюрьме, мы переписывались и любили друг друга, а теперь, когда живем вместе, не можем остаться одни, потому что он всегда вспоминает вас, и когда пьяный целует меня в постели, то закрывает глаза и однажды сказал ваше имя, как будто я это вы.

— А другое имя?

— Какое другое?

У Чепы не сразу поворачивается язык произнести:

— Виолета.

— Сегодня утром он упоминал Виолету. Но пошел искать вас, я его знаю, когда он так смотрит, мне без всяких слов понятно, что он думает о вас. Потому что, хоть он и говорит о вас плохо, все равно любит. Иногда он называет вас шлюхой... сами знаете, каковы мужчины, они всех женщин называют шлюхами. Но Виолету он не любит. Ни капли. Он считает ее эгоисткой. И сквалыгой. И говорит, что она много о себе воображает... Но в другие вечера, особенно когда он бывал добродушный, я знала, что он думает о вас...

— И тогда он называл меня Чепой?

— Нет, сеньорой Чепой.

— А... так, значит, он пошел ко мне?

— Так он сказал. Сказал, что я ему надоела. Что вы не дадите ему умереть с голода. Но вы говорите, что не видели его. Очень может быть, что он даже не ушел из предместья...

Может быть, он здесь. Эта женщина помешает его искать, потому что терпеть ее не может и ревнует. Лучше вытерпеть холод и все искушения, но сбежать от нее, отказать ей, не дать ей подачку, о которой она просит, говорит, что ей нечего есть, мне придется заложить гирлянду, и столько лампочек уже перегорело, да и ружья, и что же я потом буду делать. Стисну зубы и не дам ей денег, пусть хоть с голоду пропадет. Лучше нагнусь, пройду под перилами и исчезну в темноте, не слушая ее, потому что не хочу больше ввязываться. Я устала его спасать. И прощать. Это не то, что нужно делать. Остается позволить его черной хвори добраться и до меня, и тогда уж...

Она идет через футбольное поле, окруженное чудовищем трущоб, которое непрерывно растет и расплзается по лаби-

ринту нор, выющемся вкривь и вкось под крышей небосвода, но, чтобы выбраться из лабиринта, нужно сначала в него войти. Она не знает, ни где в него лучше войти, ни в какую сторону двигаться дальше. За футбольным полем виден опоясанный гирляндой лампочек тир. Марухита могла бы подсказать ей дорогу, но наверняка отправит ее как можно дальше от Майя и никогда не скажет, где его нужно искать, — опершись о перила, Марухита смотрит в проглотившую Чепу тьму.

А ей приходится боком пробираться между стен, чуть не обтирая их телом. Она бредет дальше по этому ущелью. Вдруг в каком-то неосвещенном окне, в нескольких сантиметрах от себя, она видит лицо человека: он смотрит на нее, и она чувствует запах табака и желтых зубов. Она бросается бежать. Перед ней продолжают беспорядочно открываться случайные альвеолы, вырастают стены из строительных отходов, банок, дерева и глины; вот часть комнаты с порогом, но без двери и пустая внутри, крошечные окошки без стекол, тусклая лампа, окруженная шестью жующими лицами, запах фританги, невразумительно лепечущее радио, лавчонка, торгующая картошкой, старыми бумажными змеями и кока-колой. Чепе уже еле держится на каблуках.

Вдруг перед ней возникает девчонка.

— Откуда ты взялась?

— А вам какое дело?

— Как мне отсюда выйти?

— Скажу, если подарите щеночка.

Девчонка не знает дороги. Просто хочет ее обокрасть. Чепе туже обматывает горжетку вокруг шеи. Был бы кто-нибудь из взрослых, кого можно спросить... но стены здесь не имеют дверей, а если имеют, то за ними никого не обнаружишь. На пороге курят два мальчишки.

— Эй, дети...

Они подходят, но не очень близко.

— Вы знакомы с Майя?

— С Майя?

— Слышь, она спрашивает про какого-то Майя...

— Кто ж знает, сеньора...

— Что значит — “кто ж знает”?

— Какого Майя?

— Каков Майя, такова папайя...

Они смеются не над шуткой, а надо мной. Пойду-ка лучше вперед, хотя сил больше нет. Эти каблуки... хорошо еще, что надела горжетку, а то давно бы уже обледенела. Не гожусь я для таких походов. Я не могу быть такой, как Виолета, которая целый день торчит дома, сидит или лежит и ест, а эти ножищи в растоптанных тапках... у нее нет моей потребности ходить, разыскивать что-то, а ведь она всего на четыре года

старше. Здесь все должны знать Майя, можно обратиться к любому...

Но обратиться не к кому. Все двери заперты, лампочки погасли, и Чепа идет вслепую между бесформенными, как камни, предметами, почти не оставляющими места для прохода. Нельзя поддаваться страху. Она не имеет права. Не думай о Виолете, которая лежит в нагретой жаровней спальне и слушает по радио какую-нибудь смешную пьесу. Здесь только дети, и, похоже, они тащатся за ней. Трое: девчонка присоединилась к мальчишкам, они идут за Чепой и курят. Лучше их дождаться.

Они встают перед ней посреди лужи, которую будто не замечают.

— Отведите меня к Майя.

Девчонка говорит своим приятелям:

— Видали, какие у нее щеночки?

— Песик-песик...

Девчонка смеется.

— Они мертвые.

— Откуда ты знаешь?

— Она сама их убила, потому что злая, и повесила себе на шею вместо шарфа... вы поглядите на нее...

Чепа прижимает к себе горжетку.

— Я разве вам не говорила, что разыскиваю Майя?

— Какого еще Майя?

— Видать, она про Майиту...

— При чем здесь Майита, это кто-то другой.

— Мы скажем, где Майита, если вы дадите нам щеночка.

Нет, двух. Лучше трех, каждому по щеночку, и раз нас четверо, вам тоже останется один... мы ведь все тут одинаковые. Правда, сеньора?

Почему они ей не отвечают? Почему смеются над ней? Дети, которых она навещает в предместьях, совсем не такие, даже самые маленькие, даже самые нищие. Они спрашивают, не щеночки ли это, и остаются довольны тем, что им объясняют. А эти — нет. Хотя им понятно, что это никакие не щеночки. И все-таки они продолжают их звать, “песик, песик”, и Чепа прижимает куниц к горлу, словно боится, что они сбегут от нее к окружившим ее детям. Один мальчишка одноглазый, тощий и дрожит. У второго глаза голубые, а может быть, желтые, во всяком случае светлые и блестят, как стеклянные глазки ее куниц. Он тоже дрожит. Лицо девчонки невозможно рассмотреть под свисающими нечесаными патлами. Все трое босые. Чепа чувствует исходящий от них запах грязной одежды, парафина, свалявшихся сальных волос. Чепа едва слышит собственный голос, когда спрашивает еще раз:

— Вы не знаете?

Они словно глухонемые. Чепа проходит сквозь их шеренгу, и они, обернувшись, смотрят ей вслед. Через какую-то дыру она попадает в очередной закоулок. Куда он ведет? Закричать “Майя... Майя...”, дать ему знать, что она здесь, в этих джунглях, и хочет, чтобы на этот раз он спас ее. Дети идут за ней по пятам. Но через некоторое время исчезают, и она сворачивает за угол, если это можно назвать углом, к кривой чередой опирающихся друг о друга домишек, между которыми ничего нельзя разглядеть. Люди в трущобах ужинают, готовят еду, зевают, курят. В следующем доме она обязательно спросит. Но когда она наконец решается спросить, спрашивать уже не у кого: перед ней только полуразрушенные стены и крыша из веток, придавленных камнями, чтоб не разлетелись. Понуриив голову, она проходит через развалины насквозь. Там ее поджидают дети, теперь их пятеро, с ними собака. Девчонка слишком смышлена, наверно, это старуха или карлица. Все они что-то от нее хотят. Отнять ее вещи. Такое чувство она испытывает иногда с бедняками в своих предместьях: они кажутся ей алчными, готовыми ее сожрать, выхватывать из нее куски мяса, чтобы утолить голод; иногда во сне она чувствует, что у нее тысячи сосков, и тысячи обитателей трущоб — мужчины, женщины, дети, старухи — приникли к ним и сосут, но вдруг перестают сосать и начинают кусаться, сначала словно играя, и ей это нравится, и она просит, чтобы кусали ласково, но по сильнее, однако они входят в раж и кусаются все злее, до крови, и она плачет, они вырывают из нее куски мяса и с наслаждением глотают, она плачет все громче, потому что не может стерпеть такую боль и кричит, но пусть они питаются ее плотью и благодаря этому растут, жиреют, здороваются, она хочет им себя отдать, хотя они убивают ее нестерпимой болью, но нет, пусть они ее не убивают, единственное, что она у них просит — пусть оставят ей крохотную искру жизни, чтобы она кормила их собой и одновременно это сознавала... дети смотрят на меня и смеются, хотят отнять у меня горжетку, готовые напасть вместе с набежавшими голодными шавками. Нужно их как-то отпугнуть. Ведь они всего лишь дети.

— Ну-ка, марш домой, непослушные дети! Что вы тут скачете в такое позднее время?

Девчонка хохочет визгливо, как старуха. В глубине проулка курит на пороге хибары человек. Он наверняка знает. Но как до него добраться? Она не может, потому что дети и собаки прижали ее к стене. Один из них спрашивает девчонку, или старуху, или карлицу:

- Они тебе нравятся?
- Красивые. Такие малявки.
- У них глазки из брильянтов.
- Брильянты, кажись, желтенькие.

Дети обсуждают кунниц, не давая ей отойти от стены, хотя держатся все-таки на некотором расстоянии. Человек курит на пороге, она видела его раньше. Где-то в другом месте, в этих же трущобах. Несколько раз. Похоже, ее длинный путь был не длинным, а по кругу, все время по одним и тем же местам, мимо одних и тех же дверей, каждый раз перед этим человеком, курящим сигарету на том же пороге. Он знает, нужно ему крикнуть:

— Вы не видели Майя?

Он исчезает с порога. Зато из двери выскакивает мальчик, и кажется, он несет ей ответ на ее вопрос, но он присоединяется к остальным, и Чепа теряет его среди стольких лиц, стольких глаз, следящих за ней из темноты. Где этот мальчик, который принес мне весть, что Майя сейчас у Виолеты? Конечно, Майя сейчас там, сначала он пошел ко мне, а потом к ней. Чепа протискивается в щель между двумя домами, потому что это единственный путь, еще не перекрытый детьми, и они бегут за ней по узкому проходу, пока не оказываются на относительно открытом месте. Кто-то приподнимает перкалевую занавеску на двери, чтобы взглянуть на проходящую мимо Чепу, и снова ее опускает. Тот же самый человек? Может, спросить его сейчас не про Майя, а про то, как отсюда выйти, чтобы поехать к Виолете и разделить с ней все, что придется разделить, раз уж мы до сих пор столько всего с ней делили. Вступить в бой с целой сворой детей и собак, прорваться через них, оставить позади и идти вперед, хотя, возможно, я топчусь на месте, потому что ноги отказались мне служить, глаза слепит туман, десять, пятнадцать детей тащутся за мной и смеются над тем, что я хочу попасть к Виолете. Их ничего не интересует, кроме куньей горжетки, поэтому они меня преследуют и зовут других детей, появляющихся из домов и мусорных куч. Курящая девчонка с голосом куящего мужчины хочет украсть у меня кунниц. Она думает, что это игрушки. Нет, нет, она так не думает. Эти дети вокруг меня отлично знают, что это не игрушки, но требуют их у меня. Шепчутся. Злобятся.

— Господи, зачем вы меня преследуете? Ведь у меня ничего нет. Клянусь. Если бы у меня хоть что-то было, я бы вам отдала. Отстаньте от меня, или я позову карабинеров.

— Песик, песик...

Кто-то из детей отвечает:

— Да мы ничего плохого не делаем.

Другой говорит:

— Мы идем за вами, потому что нам нравится.

Девчонка гнет свое:

— Дайте потрогать щеночков, не будьте врединой.

Чепа делает шаг назад. Девочка продолжает наступать:

— Видите? Все важные дамочки такие! Думают, что об нас можно испачкаться...

— Нет, вовсе нет...

— Тогда дайте потрогать.

Чепа уже не может противостоять девчонке, не дать ей трогать куниц. Погладив мех, девчонка принимается дергать одну куницу за хвост, словно хочет ее оторвать, одновременно наблюдая за реакцией Чепы. Собрав все силы, Чепа вырывает у нее куницу. Девочка кричит остальным:

— Подходите, гладьте, они такие мяконики!

Прежде чем Чепа успевает от нее отпрянуть, девчонка шепчет ей в лицо:

— А Майя вас не испачкал?

Она исчезает в толпе детей, которые подсакивают к Чепе, чтобы потрогать куниц, и ей приходится отбиваться от этих безликих, бессловесных детей, тянущих к ней руки в попытках схватить зверьков. Чьи-то сопливые носы, чья-то тощая шея, а когда они начинают толкать ее и хватать горжетку, она чувствует вонь от их дыхания, липкость их грязных рук. Она спотыкается, она плохо видит, теперь я уже ничего не вижу, ноги увязли в грязной жиже, выбраться из нее можно где-то вон там, но их руки хватают ее, теребят горжетку, пара желтых глаз, я чувствую жилистость их маленьких тел, дерущихся друг с другом, чтобы дотянуться, схватить меня или горжетку, они наступают мне на ноги, толкаются, я почти не могу пошевелиться, перед глазами все идет кругом. Боже, кого позвать, чтобы спастись от этих детей, готовых разорвать меня на части, готовых меня проглотить. Она сдергивает с себя горжетку и бросает ее в воздух над толпой детей — они рычат, подпрыгивают, пытаясь поймать мех, падают на землю, орут и кусаются, вся эта масса злобных, оставивших ее в покое тел.

Чепа встает, держась рукой за стену. Она снимает туфли, потому что на одной сломался каблук, и идет дальше, почти не в силах дышать, почти ничего не видя. Идет туда, где заканчиваются трущобы и ночь раскрывается навстречу низкому лиловому небу. Дети бросаются за ней. У нее изранены ноги. Преследователям легко ее догнать, и они окружают ее, теперь без злобы и агрессии. Там, дальше, где уже нет домов, она сможет выбраться, если бы ей только дойти до... до чего-нибудь, до любого места, лишь бы выйти из этого черного лабиринта, заполненного следящими за ней глазами. Она спотыкается, и кто-то из детей помогает ей удержаться на ногах.

— Господи, ну что вы от меня хотите?

Кто-то рядом смеется.

— Скажите, в какую сторону мне...

Другой ее передразнивает:

— В какую сторону мне?

Теперь гогочут все. Чепа больше не может. У нее осталась последняя искра энергии, последняя капля злости, и она в страхе хлещет сумкой налево и направо, бессознательно, жестоко, и размыкает круг детей, продолжая хлестать воздух, пока не падает на землю. Тогда она садится и плачет.

— Помогите же мне, мерзкие дети. Уголовники, пропащий сброд...

Вперед выступает девчонка с болтающейся на шее растерзанной куницей:

— Видали?

— Что?

— Майя был прав...

Чепа встает и бьет девочку сумкой по лицу.

— Выкладывай, что ты знаешь, чертовка!

И, несмотря на усталость, спотыкаясь, падая, снова вставая на ноги при помощи кого-то из детей, Чепа бежит за девчонкой, которую уже невозможно разглядеть в темноте, чертовка, чертовка, ты знаешь, где Майя, и не хочешь мне сказать, не хочешь показать мне, как отсюда выбраться, чтобы я могла поехать к Виолете. Домов больше не видно. Почва рыхлая, вдали вырисовываются силуэты газогенераторов с загорающимися и гаснущими огнями, красными и желтыми, на фоне плоского, как слой туч, лилового неба. Идти по рыхлому, зловонному холму, в котором тонут ноги, невозможно. Потеряв к ней всякий интерес, дети бросаются врассыпную, чтобы играть на мусорной куче: одни ищут и примеряют ботинки, кто-то откопал плевательницу и писает в нее под хохот остальных, кто-то зовет собак. Чепа продолжает карабкаться вверх, или вниз, все так зыбко, ноги залипают в гнилом мусоре, и она не может их вытащить, они вязнут все глубже и глубже, пока силы не оставляют ее совсем, и тогда она падает. Ей хочется проводить глазами огни низколетящего самолета, но у нее нет сил даже на то, чтобы приподнять голову, а дети заняты своими играми. Она ложится на это рыхлое зловонное ложе, стараясь не утратить возможность дышать. Ее руки касаются осклизлых, расползающихся под пальцами объедков, и дышать она больше не может. Видеть тоже. Она успевает заметить, что какой-то ребенок прыгает через нее вместе со своей собакой, как будто она уже часть мусорной кучи. Дышать...

Теперь ее глаза закрываются.

В тот воскресный вечер

В бельведере стоял комод. Над ним из обоев, покрытых бледными следами картин, которых мы никогда здесь не видели, торчал слишком низко и не по центру вбитый гвоздь. На гвозде висела

репродукция полотна Пюви де Шаванна¹, изображающая античные похороны в пиниевой роще. Никто не дал себе труда вбить гвоздь более аккуратно, чтобы картина, считавшаяся настолько уродливой, что ее сослали в бельведер, висела хоть сколько-нибудь симметрично комоду.

Но нас она восхищала. Все в ней, и золотистое небо, и украшенные цветами головы, без сомнения относилось к земным событиям мифологических времен людей-уэкс. Когда Мариола Ронкафорт погибла от руки подлого куэкского шпиона, мы, само собой разумеется, захотели устроить ей точно такие же похороны. Подготовка велась несколько дней. Накануне вечером состоялись предварительные мероприятия: визиты государственных деятелей, траурный салют, закладка памятного мемориала, перемирие в войне, общенациональный траур. Под конец к нашей скорби присоединилась даже украсившая себя цветами бабушка.

Однако Мариола Ронкафорт обладала неслыханным могуществом. У нее были ученые любовники, а ее отец, получивший прозвище Король-Святой, имел большие связи в небесных сферах, так что его отношения с ангелами всегда носили особый характер, поэтому смерть Мариолы казалась нам событием не столько трагическим, сколько сиюминутным – ведь при таком скопище науки и влияния нам ничего не стоило ее оживить. Вернуть Мариолу на землю мы решили, скорее всего, потому, что поняли: богиней она не будет нам так интересна, как была живым человеком.

Мы так торопились ее оживить, что запланировали процесс уже на следующее после похорон воскресенье. Но следующего воскресенья не случилось. Воскресенья в бабушкином доме прекратились, и Мариола осталась безвозвратно мертвой, как и любая женщина из плоти и крови.

В то воскресенье все ночевали в бабушкином доме. Мы, дети, сами того не зная, спали вместе в бельведере в последний раз: Луис, Альберто, Марта, Магдалена и я. Мои родители и тетя Мече с дядей Лучо тоже остались на ночь в спальнях первого этажа, которые в обычное время занимали мои двоюродные сестры.

Бабушка не возвращалась и не возвращалась, хотя было уже поздно. Дожидаясь ее, отец и дядя Лучо несколько раз откладывали наш отъезд. Но она так и не вернулась. Нас отправили в бельведер. Мы не стали закрывать дверь и многое слышали с лестницы. В доме все суетились, звонил телефон. Наконец, уже совсем поздно, мы увидели из окон бельведера приближающуюся машину скорой помощи с мигающим сигнальным фонарем. Бабушку внесли на носилках два человека в белых халатах. Мы по-

1. Пьер Сесиль Пюви де Шаванн (1824–1898) — французский живописец.

няли, что на этот раз произошло что-то действительно серьезное, потому что взрослые разговаривали так тихо, что мы с трудом разбирали слова. Кто-то уходил, укрывшись под зонтом от неутрахающего дождя, проливного и беспросветного, и возвращался то с врачом, то с медикаментами. Мы молчали, чувствуя себя неудобно. Когда взрослые приказали нам закрыть дверь, отделявшую бельведер от остального дома, мы сели на самую нижнюю ступеньку сразу за этой дверью, чтобы хоть что-то слышать. Однако услышать нам удалось так мало, что мои кузены не выдержали и послали меня на разведку.

– Почему эти дети не спят?

– Мама, что случилось?

– Ничего.

– Как это – ничего?

– Бабушка упала в обморок.

– Где?

– На улице.

– И это все?

– Говорят тебе – все! Вам велено спать, и прекратите нас беспокоить, нам и без вас хватает...

– Это не значит, что...

Мамин голос звучал не строго. Она не сидела, как обычно, в углу с тетей Мече, занятая разговорами и вязаньем. Она сидела на желтом полосатом диване возле отца, положив голову ему на плечо. Тетя Мече курила в кресле напротив. Дядя Лучо был в спальне, где возглавлял консилиум врачей, но вскоре они вышли и собрались с остальными членами семьи в кабинете, а я остался в гостиной один.

Следующего воскресенья не было.

В понедельник я познакомился в школе с Фернандо, и моя жизнь переменилась. Он пригласил меня провести выходные у него на даче, возле реки, с лодками, собаками, великолепными лимонными рощами, рыбалкой, коробками красок, принадлежавших его отцу, когда тот был жив, а теперь перекочевавших к нам. У него была молодая и очень красивая мама. Мне ничего не стоило немедленно в нее влюбиться. Или придумать игру во влюбленность, точно не знаю, потому что на таком расстоянии трудно понять, где в то время проходила черта, отделявшая вымышленное от реального. Во всяком случае к тому времени я уже прочитал “Маму Колибри” Батайля¹, отыскивая среди залежей растерзанных книг в бельведере том с обложкой “*Illustration Théâtrale*” и жадно проглотив множество вышедших из моды пьес, таких, как эта и как “Красивейшие глаза в

1. Анри Батайль (1872–1922) – французский драматург. Комедия “Мама Колибри” была написана в 1907 г.

мире”¹. Мама Фернандо стала моей мамой Колибри: она молча слушала меня возле камина, когда Фернандо уже ложился спать. Ходила со мной на гору. Или прогуливалась среди мастиковых деревьев в широкополой соломенной шляпе, под сенью которой синие глаза мамы Колибри смеялись надо мной, а иногда и не надо мной. Так я ее называл. Пьесу она не читала, а я не говорил, откуда взялось такое прозвище. Сентиментально. Нелепо. Но тогда это было для меня внове. Пришла в движение другая сторона моего существа, и нужно было что-то в себе убить, чтобы освободить место для мамы Колибри, для гор, лесов и реки. Сегодня мамы Колибри и Фернандо тоже не существует. Другие ценности заняли место тех, которые в свое время казались мне вечными. За ними – другие. Сегодня их мир похоронен так же безвозвратно, как мир Мариолы Ронкафорт.

Приезжая домой после проведенных у Фернандо выходных, я звонил своим кузенам, чтобы рассказать обо всех чудесах, которые видел и пережил. Они смеялись над тем, что меня интересуют такие глупости. Тогда и я стал смеяться над ними, потому что их они не интересовали. Наши отношения были уже не те, что прежде. Не знаю, кто из нас, они или я, застрял на одном из знаменитых медальонов нашего ковра галетного цвета.

Родители были очень рады моей новой дружбе и новым увлечениям. На день рождения мне подарили ружье, чтобы я не брал взаймы чужое, когда мы с Фернандо, а иногда и с мамой Колибри садились ранним утром в лодку и отправлялись стрелять уток на реке, тащившей за собой волосы ракит всего в нескольких метрах от их дома. Отец был доволен, считая мои новые увлечения гораздо более здоровыми, чем те, которым я предавался в компании кузенов. К Фернандо мне разрешали ездить всегда. А поскольку он приглашал меня почти каждые выходные, прошло несколько месяцев, прежде чем я снова оказался в бабушкином доме.

Впрочем, мое присутствие там было лишним. Бедный Манекен был очень болен. Как рассказала мне Антония, когда я наконец приехал, он непрерывно плакал и кричал, что не хочет умирать, звал на помощь, ему было страшно. Его пытались обманывать. Но он ни разу не поддался, даже на последней стадии, когда все его тело заполнили метастазы: он всегда знал, что смерть приближается к нему шаг за шагом, и с присущей ему скрупулезностью считал каждый ее шаг и стонал от ужаса, считая. Так продолжалось до того дня, когда через пять месяцев после памятного воскресенья дедушки не стало. На его похоронах все было черное и блестящее: гроб, который мы помогли нести, бо-

1. “Les plex beaux yeux du monde” — пьеса французского актера и драматурга Жана Сармана (1897–1976).

тинки, которые нам купили. Несколько сеньоров, таких же утянутых в талии и напудренных, как Манекен, сопровождали нас на кладбище. Когда мы расходились после похорон, эти сеньоры шли парами и разговаривали тихо, как заговоришки.

Увидев бабушку после перерыва, я с трудом узнал ее в этой невнятно булькающей старухе. Иногда нас возили ее навещать и всячески поощряли ездить самостоятельно. Я входил в ее комнату очень тихо. Она лежала на кровати, упершись взглядом в потолок и моргая чересчур равномерно, чересчур механически. Сколько я ее ни окликал, сколько ни рассказывал ей разных историй, она ничего не говорила. Позднее она начала слабо улыбаться, но совсем слабо, как будто ей не хватало сил или уверенности в себе, чтобы растянуть губы чуть сильнее. Потом ее стали поднимать. Ее сажали в кресло там же, в алькове, служившем ей спальней еще при жизни дедушки: ноги укутаны шалью, напротив эркерное окно в сад, выходившее прямо на густые заросли гортензий. Так она, безмолвная, улыбающаяся, невыразимо печальная, прожила долгие десять лет, постепенно становясь все печальнее и прозрачней. Я заходил к ней теперь очень редко, минут на десять, самое большее – на пятнадцать, хотя мама умоляла меня не быть таким жестоким, напоминая, как бабушка относилась ко мне и моим кузенам. Когда приходило время прощаться, я ненадолго брал ее руку и рассказывал ей о каком-нибудь своем триумфе, заставляя улыбнуться, и тогда – очень-очень редко – она гладила меня по голове, как будто я все еще был ребенком. Однажды она смогла что-то пробормотать и спросила про Мариолу Ронкафорт. Мне не хватило духу сказать, что мы ее так и не оживили.

Говорят, когда ее принесли в то воскресенье на носилках, она была без сознания и очень слаба от пережитого нервного шока, но ничего серьезного у нее не нашли; ее состояние резко ухудшилось после того, как позже в ту же ночь Мифелья сообщила по телефону, что Майа задушил Виолету подушкой, предварительно оглушив кулаками и ногами, а под конец повесил на шнуре. Он не убежал. Он дождался Мифелью. Когда она приехала, Майа показал ей, что натворил, и попросил вызвать полицию, чтобы его вернули в тюрьму.

Поскольку Виолета умерла, эмпанады и воскресные обеды прекратились. Это было начало конца. По крайней мере, в определенном смысле. Сегодня бабушка и дедушка мертвы. Родители и тетя с дядей почти дряхлые старцы. А мои кузены... что с ними стало? Где-то они теперь, что делают? Я очень давно с ними не встречался. Думаю, что Марта уже много лет замужем, а ее дети теперь, наверно, такого же возраста, в каком мы были в то последнее воскресенье. Рассказала ли она им, что означают слова “уэкс”, “куэки”? Посвятила ли их в тайны Мариолы Ронкафорт? Неожиданно я понял, что даже не знаю, есть ли у Мар-

ты дети, а если есть, то как их зовут и какую они носят фамилию, ездят ли они по воскресеньям обедать в какой-нибудь знакомый мне дом.

Бабушкин дом до сих пор существует.

Когда она наконец умерла, и семья начала распадаться, никто не захотел брать этот дом себе. Не только потому, что ни у кого не было достаточно денег, но и потому, что он был неудобный, уродливый, старый, некачественный и в действительности ничего из себя не представлял. Его ценность определялась лишь местоположением на том перекрестке, который предположительно ожидало большое будущее. Дом был немедленно продан. Поделенная после уплаты налогов на две части выручка составила мизерную сумму, которая пошла на погашение некоторых долгов, на длительный отпуск на хорошем курорте для всей семьи тети Мече, а мама поменяла в нашей квартире все ковры и портьеры. Мама и тетя Мече рассказывали каждому встречному, что дом превратился в дым.

На той же улице снесли несколько строений, чтобы возвести многоквартирные блоки. В одном из них живут мои друзья, которые частенько приглашают меня обедать, и я проезжаю мимо бабушкиного дома. Он кажется мне неправдоподобно маленьким. И таким нелепым со своей деревянной обшивкой в нормандском стиле, с оцинкованными окнами первого этажа. Окружающий его со стороны двух улиц сад выглядит жалким, хотя когда-то казался нам просторным и густым. Некоторое время в доме размещалась одна из тех школ, которые носят английские названия, но долго никогда не существуют. Потом дом несколько раз переходил из рук в руки. Ни один из владельцев к нему не прикасался, надеясь, что цена участка возрастет. Не знаю, кому он принадлежит сейчас. Иногда я немного сбрасываю скорость, но никогда не останавливаю машину и не выхожу. Дом остается необитаемым: запущенный сад, выцветшие стены. Ненасытная бугенвиллея обрушила деревянный балкон нашего бельведера.

Зеленая решетка ворот заперта на цепочку. Эта цепочка всегда плохо закрывалась. С тех пор, как я себя помню, настоящий замок не работал, и к воротам примерно на уровне груди приделали эту цепочку, соединявшую одну створку с другой. Шпингалеты, фиксирующие ворота внизу, никогда не входили в пазы, а металлические петли совершенно разболтались. Все это придает воротам большую подвижность. Если раздвинуть створки внизу, они поддадутся, хотя останутся скрепленными на уровне цепочки. Когда за нами никто не следил, мы приоткрывали створку настолько, чтобы внизу мог пробраться на четвереньках маленький мальчик, приглашавший своих кузенов последовать его примеру и прочитать на одной из плиток тротуара: "Роберто Матта, Строитель". Затем можно было снова на-

жать на нижнюю часть створки и войти, пока никто не заметил нашей вылазки на улицу, где – всякий знает – находится опасно из-за шатающихся вокруг цыган, всегда готовых украсть и продать ребенка.

Мои живущие по соседству друзья говорят, что ходят слухи, будто дом не пустует. Зимой, по ночам, когда идет сильный дождь или небо становится прозрачным, твердым и звездным, и все сковывает неумолимый иней, какие-то беспризорные дети перелезают через забор, вскрывают дверь или окно и ночуют в бабушкином доме. Если мороз держится долго, они не уходят из него неделями. Говорят, что количество оборванцев и блохастых собак в доме растет с каждым днем.

Однако я знаю, что если в бабушкином доме и есть дети, то они не перелезали через забор. Он для этого слишком высок. Мы пытались через него перелезть, но так и не смогли, даже встав друг другу на плечи, даже призвав на помощь Сегундо, которого Магдалена держала в страхе, угрожая предать огласке его неприглядные поступки. Так что если беспризорники и попадают внутрь, то только раздвинув створки ворот ниже цепочки и пробравшись в открывшуюся щель, достаточную, чтобы в нее пролез ребенок с собакой, но ни в коем случае не взрослый.

Есть люди, выражающие свое недовольство. По крайней мере, судя по слухам. Они боятся, что дом заполнится шпаной. А если случится какое-нибудь преступление? Ты, которому хорошо известно, что стало с твоей бабушкой по вине этой мелюзги из трущоб, должен бояться, говорят они мне. Но я уже не имею никакого отношения к дому. Это не мое дело. Однако еще не было случая, чтобы я заехал к своим друзьям и не услышал что-нибудь на эту тему. А если пожар? Они уверены, что власти должны принять меры, поскольку никто не знает, кому принадлежит дом.

Пожар? Почему пожар?

Мне рассказали, что за решетками окон и за мутными дверными стеклами иногда угадываются пляшущие отблески света, отражение пламени, огня внутри дома – настоящего огня, а не блуждающих огоньков.

Я ни во что из этого не верил, считая слишком фантастичным.

Так продолжалось до той ночи, когда, повертевшись с боку на бок от бессонницы, я не сел наконец в машину и не отправился взглянуть на дом. Останавливаться я не стал. Очень медленно я проехал перед ним пару раз. И вдруг действительно разглядел за темными окнами что-то похожее на отблески пляшущего огня. Все верно. Дети. Замерзнув в этих хоромах, которые перестали быть гостиной, спальней, альковом, бельведером, музыкальной комнатой, кабинетом и превратились в заполненное воздухом отвлеченное пространство, они зажгли огонь, чтобы погреть ру-

ки, сварить что-нибудь поесть или вскипятить воду для чая, или чтобы просто свернуться клубком возле огня, пока за стенами камнеет иней. Их одетые в лохмотья тела, перемешавшись на полу с телами шелудивых собак, образуют одно диковинное животное, словно придуманное нами в далекие времена, со многими головами, пестрой шкурой и разнообразным набором конечностей. Не сомневаюсь, что дети оторвали плинтусы и навесы, ставни и перила, чтобы разводить огонь. Не зря соседи боятся пожара. Так же как в случае с покосившимися акациями, которых теперь почти не осталось, многие говорят о необходимости обратиться к властям, но никто ни разу не сделал ничего конкретного, чтобы не допустить превращения этого дома, кому бы он теперь ни принадлежал, в приют для беспризорных детей.

Сам я, конечно, доносить не собираюсь. Мне нравится, что дети могут укрыться в этом доме, бывшем когда-то продолжением тела моей, тогда еще живой, бабушки – неиссякавшего рога изобилия. Когда дом отдадут под снос, рабочие откроют двери и окна. Свет ворвется внутрь, как прежде. Они увидят дом без дверей, без плинтусов, косяков, навесов и паркета – скорлупу, которая рухнет под первыми ударами кирки, превратившись в груду обломков посреди одичавшего сада.

Но мне хотелось бы, чтобы его сожгли дети, превратив в гигантскую, зажженную в память о бабушке анимиту.

Огден Нэш

[132]

ИЛ 6/2025



Стихи

Перевод с английского и вступление АНДРЕЯ ДЕМЕНЮКА

Вирджиния Вулф однажды мудро заметила, что популярность писателя всецело определяет ординарный читатель. Это в полной мере относится к творчеству популярного американского поэта Огдена Нэша. Его фирменный стиль был построен на преувеличении, элементе неожиданности и тонком сарказме, доброте и вере в людей, и это в сочетании с его способностью видеть повседневные явления жизни глубже других дало блестящие литературные результаты. Иногда его поэмы содержали всего несколько слов или несколько строк, но заканчивались остроумной, часто изобретенной им самим, уморительной рифмой. Как писали многочисленные литературные критики, этот удивительный стиль нравился читателям всех возрастов и любого уровня образования из-за остроумных каламбуров, неожиданной игры слов — часто в насмешку над правилами правописания и грамматики, нравилась его веселая абсурдность, которая внезапно обнажала смешные, нелепые стороны повседневной жизни, остававшиеся до этого, в силу привычки, незамеченными.

Кажется, что и жизнь поэта Огдена Нэша очень похожа на стихотворение поэта Огдена Нэша. Она была так же полна неожиданных поворотов и забавных случайностей, неординарных сюжетов, доброты к обычным людям и любви к жизни.

Фредерик Огден Нэш, американский поэт-сатирик, писатель, поэт-песенник, пианист, родился 19 августа 1902 года в Нью-Йорке. Он был потомком

© OGDEN NASH

© АНДРЕЙ ДЕМЕНЮК. Перевод, вступление, 2025

Эбнера Нэша, губернатора Северной Каролины времен Войны за независимость, в честь которого или, согласно другим данным, в честь его брата генерала Френсиса Нэша и был назван город Нэшвилл, ставший столицей штата Теннесси. Так что Огден Нэш — единственный в истории американский поэт, у которого на родине есть город, носящий его имя.

В течение одного года Нэш учился в Гарварде. Начал свою писательскую карьеру в издательстве “Doubleday Page Publishers”, где в 1925 году совместно с Джозефом Алджерсом написал свою первую детскую книгу “Сверчок Гарадора”. А свое первое сатирическое стихотворение “Весна приходит в Мюррей-Хилл” он сначала выбросил в мусорную корзину, но потом передумал и послал в самый известный журнал “The New Yorker”, где оно и было опубликовано в 1930 году. Так, с характерной для него иронией, Нэш рассказывал о начале литературной карьеры.

В 1931 году Нэш опубликовал сборник “Hard Lines”, который в первый же год был переиздан семь раз и окончательно утвердил его репутацию мастера легкого стиха. С 1932 года Огден Нэш работает в редакции журнала “Нью-Йоркер”. В 1950-м он стал членом Национального института искусств и литературы (с 1992 года — Американская академия искусств и литературы).

С 1931 по 1971 год Нэш опубликовал более пятисот юмористических стихотворений в четырнадцати сборниках. Он говорил: “Я мыслю в терминах рифмы, и делаю это с шести лет”. Нэш читал лекции в колледжах, был соавтором сценариев, появлялся в комедийных шоу и опубликовал несколько рассказов.

Однако даже после широкого признания его таланта и после всеобщей пожизненной любви как литературных критиков, так и ординарных читателей, Нэш продолжал настаивать на том, что его успешная литературная карьера была случайностью. Он считал, что его произведения находятся на границе между детским и взрослым мирами, что и снискало ему любовь читателей всех возрастов.

Огден Нэш умер 19 мая 1971 года в Балтиморе, где он жил с женой и двумя дочерьми. Как он однажды пошутил в свойственной ему манере: “Я мог бы полюбить Нью-Йорк, если бы не любил ‘Balti more’”. Газета “Нью-Йорк таймс” писала тогда, что его “забавные стихи сделали его самым известным в стране создателем юмористической поэзии”. По словам поэта Арчибалда Маклиша Огден Нэш “изменил восприятие своего времени”, а один из старейших литературных журналов США “Atlantic Monthly” провозгласил его “Божьим даром Соединенным Штатам Америки”.

Впервые в нашей стране с творчеством Огдена Нэша читателей познакомил классик нашей литературы Самуил Маршак еще в далеком 1956 году. Однако полноценное книжное издание стихотворений Огдена Нэша в блистательных переводах Ирины Комаровой было осуществлено только в 1988 году (“Все, кроме нас с тобой”, Лениздат). Именно благодаря этой книге наши читатели, в том числе и я сам, узнали о существовании этого замечательного поэта. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить Ирину Бенедиктовну за такой драгоценный подарок от лица всех поклонников творчества Огдена Нэша. Не удивительно, что стихи Нэша в переводах И. Б. Комаровой переиздаются вплоть до настоящего времени.

В последующие годы к его стихам часто обращались и такие мастера, как Григорий Кружков, Александр Лукьянов, Фаина Гуревич, Екатерина Лapidус-Зуева и многие другие ценители творчества Огдена Нэша, которые продолжают радовать взрослых и детей новым прочтением остроумных стихов этого замечательного американского поэта.

Новости

Я делом считаю весьма непростым
Утешить потоком себя новостным.
Как только подумал, что мрачно все так,
Что хуже уже невозможно никак,
Становится хуже от новых вестей.
Поэтому я не люблю новостей.
К тому же, похоже, еще никогда,
И в худшие даже для мира года,
В них не было столько хороших вестей
Для всех нехороших людей.

Соседи сверху

Соседи сверху танцуют балет,
А после — в гостиной играют в крикет.
В их спальне экскурсии ходят маршем.
В их радио песни громче, чем в вашем.
Они веселятся и бьют баклуши.
И ваш потолок течет, когда они в душе.
А чтоб оживить вечеринку немного
Гостям раздают они прыгалки Рого.
Когда наконец наступает покой,
На роликах в ванную мчатся гурьбой.
Соседей я этих любил бы без фальши,
Когда б они жили где-то подальше.

Да, дорогая

Конечно, впихни свои ножки в штаны,
Ведь ножки твои, дорогая!
С передней прекрасны они стороны,
Но есть сторона и другая.

Осы

Осу и все ее семейство
считаю я гнездом злодейства.
Пусть их гнездо с открытой дверью,
В гостеприимство ос не верю!

Свинья

Свинья, если я не ошибся, нужна,
Чтоб были сосиски и ветчина.
Считается — свиньи добры и нежны.
Что глупо, по-моему, с их стороны.

Охотник

Вот в маскировочном наряде
Охотник скрючился в засаде.
Расставил уток подсадных
И громко крикает за них.
Ведь взрослый дядя, а не в шутку
Желает одурачить утку.

Родители

Нас игнорировать нравится детям.
Нужны им родители только за этим.

Реприза

Каждой нации гении, кого ни возьми,
Все твердят поколениями о любви.
И так много повсюду их восторженных слов,
Как цветков маргаритки или роз лепестков.
То их дева сияет в ночи, как луна,
То как месяц на небе сверкает она,
То тонка, как нарцисс, то, как серна, быстра,
То — заката заря, то — как зорька с утра,
То — принцесса, что с башни роняет платок,
То волшебный таинственный алый цветок...
Дорогая, когда на тебя я смотрю,
Все избитые фразы я вновь повторяю!
И, дорогая, мне мнится всерьез,
Что женат я на деве шекспировских грез!

Обжора

Один поэт — фанат очей,
Другой — девичьих губ.
А этим — грудь ее милей
И абрис бедер люб.
Трещит от таких поэм
Стихов английских том.
Поэты спятили совсем
На фронте половом.
Пусть я сгорю за то в аду,
В стихах я славлю лишь еду.
Еда, одна еда, о да!
Еда — везде и навсегда.
О, старой Англии еда!

Казан с фазаном мил глазам,
И мясо черепах.
За лобстера всегда я за,
В паштетах и супах.
Напрасно масло не корю
И не ругаю джем;
Я ветчину боготворю
И устриц жадно ем.
Когда задумчиво бреду
Я в поэтическом бреду,
То думаю лишь про еду.
Одна еда, еда всегда.
О, старой Англии еда!

Пусть тот рисует моря синь,
А этот пишет шторм,
Художники, в кого ни кинь,
Адепты женских форм.
Ведь понял даже неолит,
Познав искусства вес:
В одежде дама — это быт,
Искусство — если без.
От голой нимфы не сойду
С ума я никогда.
Художник, нарисуй еду!
В еде искусства сила, да!
О, старой Англии еда!

Беги и укради котлет
На кухне, верный пес,

И чтоб со спаржей винегрет
И устриц мне принес.
Сосиски, яйца, супа таз,
Неси мне все, что есть.
Я свеклу съесть готов сейчас
И все, что можно съесть.
Я в разум мой, как ни зайду,
Там мысли — только про еду.
Все, что съедобно, мне — еда.
О ней я думаю всегда.
О, старой Англии еда!

Романтики пора

Уже в такой поре она,
Что романтических сцен полна.
И, выбрав тощего юнца,
Ждет обручального кольца.
И спорит, губки сжав, она,
Что для венца не столь юна.
Она дерзит, что ты забыл
Ромео и Джульетты пыл!..
Не спорь, напомни, как отец,
Печальной повести конец.

Детский праздник

А можно мне в будке укрыться, Пират?
От праздника спрятаться был бы я рад.
Полдня я придумывал кучу затей
Для радости маленьких милых гостей.
Покинули силы меня за полдня.
Пусть, если сумеют, отыщут меня.
Шары надувал я, кораблик пускал,
Им в горло друг другу вцепиться не дал.
О странах волшебных читал им рассказ
И руки помыть я водил их сто раз.
Завязывал снова на туфлях шнурки.
Сморкаться учил в носовые платки.
Как схожего много у этих ребят
И диких-предиких коней жеребят.
Мне отдых положен сто суток подряд
От ангелоликих таких дикарят.
Потомок, играющий тихо с собой,
Он — эльф одинокий, что послан судьбой.

А банды наследников вопли и писк
Не вынес бы даже святейший Франциск.
Им в игры достойные скучно играть.
Из шланга им нравится всех обливать.
В игре о товарищах нет им забот —
Им весело тыкать друг друга в живот.
Им радость доставит слабейшего плач,
Когда его в лужу забросят, как мяч.
В восторг их приводит смотреть, как в зенит
Из ложки мороженое полетит.
И взрослых изводят, своих и чужих,
Что лучше подарки у всех, чем у них.
О, сборище маленьких дам и мужей,
Я снова вас всех полюблю, но ей-ей! —
Не раньше, чем кончится праздника ад.
Так дай же мне ключик от будки, Пират!

Дни блаженства

Так приятно сидеть на песке.
В небе солнце, под солнцем песок.
Капли близкой волны на руке.
Ни забот, ни сомнений, ни склок.
Нет ни писем — порвать,
Ни квитанций — спалить,
Ни работы — сбежать,
И ни денег — добыть.
Так приятно сидеть на песке
Без забот и хлопот, налегке.

Так приятно смотреть в океан,
Дружелюбный, спокойный, родной.
Я от легкой возможности пьян
Погрузиться в него с головой.
Окунуться в волну,
Смыть печали и грусть.
Завтра точно рискну,
Но сегодня боюсь.
Так приятно смотреть в океан,
Уплывая мечтами в туман.

Так приятно узреть хоть на миг
В морях под крылом парусов
Китобоев и викингов лик,
Эру викингов, бурь и китов.

Между скал и акул
Парус путь выбирал:
Если буря — тонул,
Если штиль — то причал.
Так приятно глазеть на суда,
Поглазеть и не плыть никуда.

Так приятны нам в воздухе соль,
Бриз и солнце, песок как постель.
Суша — мудрых и сильных юдоль.
Океан — авантюр колыбель.
Нам ни солнце, ни соль в ветерке
Не заменит никто и никак.
Мы под солнцем лежим на песке,
Всюду — лотос и мак.
Бриз и солнце, и нега, и пляж.
Мы бездумно врастаем в пейзаж.

Экуни Каори



Два рассказа

Перевод с японского Миланы Ильиной, Анны Дегтяревой

Круги на воде

ЛЕТОМ я редко выхожу из дома, потому что от пения цикад у меня кружится голова. И даже когда не выхожу на улицу, оно настойчиво преследует меня и словно бы проникает в уши. Возможно ли, чтобы звук проникал сквозь здания? Он медленно просачивается через стены и потолок, и мне становится трудно дышать.

— Как же жарко! — сказала старшая сестра, сидя в гостиной, заставленной картонными коробками.

Благодаря помощи сестры и ее мужа переезд прошел быстрее, чем я думала.

— Хорошее место, да? — спросил он, выйдя на балкон. — Отсюда можно увидеть поля сладкого картофеля.

Я переехала на окраину Токио в часе езды от центра не только из-за дешевой аренды. Я всегда хотела жить в местах, где можно видеть землю.

— Да. Листья крупные.

Я вышла на балкон с банкой зеленого чая в руке, чувствуя себя удовлетворенной, как вдруг сверху послышался пронзительно-громкий крик:

“Умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри!”

Я стояла в оцепенении, не в силах даже пошевелиться от испуга.

“Умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри!”

Это был не только пронзительный, но еще волевой, зловещий и дерзкий голос.

— Удивительно! Не верится, что в таком месте еще водятся цикады, — взволнованно произнес муж сестры и добавил, что тут и правда хорошая обстановка. Но я была настолько захвачена внезапно нахлынувшим на меня потоком воспоминаний, что не слышала его.

Голоса все время звучали за спиной. Милые, как у птичек, уставшие голоса сестры и ее подруги Саки навевали скуку. Солнце, светившее сквозь деревья, падало на наши головы, а тени от листьев мелькали на воде. Бортик надувного бассейна был красным, и я всегда прислонялась к нему щекой. Нагретый солнцем, он был мокрым от воды, и я чувствовала одновременно и тепло, и влагу. Край бассейна слегка прогибался, когда я клала на него голову, это напоминало мне, насколько я тяжела, и вызывало грусть. Я тяжела. По-другому и не скажешь. Мне было семь, моей сестре и Саки — девять, но мы не знали, как справиться с собственным хаосом. Мы были вялы до смерти и, по правде говоря, были очень близки к смерти. На уровне физиологии мы понимали, что для человека быть живым противоестественно.

Сестра и Саки сидели, вытянув ноги к центру бассейна, обливались водой из лейки и лениво болтали ни о чем. Я раскинула руки и слушала их, лежа на спине и размышляя о том, как похожи друг на друга слова “ослепительный” и “сонный” — в обоих случаях глаза невольно закрываются. Пристально разглядывая землю и траву, я чувствовала себя букашкой.

Он стоял на дороге и внимательно смотрел на нас. Высокий и худой, он обычно носил одежду с длинными рукавами даже летом. Но в особенно жаркие дни на нем было светло-голубое тонкое поло с длинными рукавами. Ему было пятнадцать или семнадцать лет, а может быть, даже больше. Он всегда слегка улыбался, а на голове со старомодной стрижкой

1. В японском языке это звучит как “синэ-синэ-синэ”, что может напоминать звук цикад. (Здесь и далее — прим. переводчиков.)

виднелась круглая лысина сбоку. Из-за сдвинутых набок очков в коричневой оправе его глаза казались прищуренными. С ним всегда была большая сумка из белой ткани, перекинутая через плечо. Кто-то сказал, что его зовут Ямада Таро, и все его так называли, но, скорее всего, имя это было ненастоящим.

Лежа в надувном бассейне в саду, мы ощущали всем телом его взгляд. Ямада Таро наблюдал за каждым движением рук с лейкой. В этом не было ничего сексуального. Каждую из нас безоговорочно любили и лелеяли, но с Ямада Таро все было иначе. В этом было абсолютное превосходство — я, моя сестра и Саки знали, что мы под защитой. Стоя на дороге с ухмылкой на лице, Ямада Таро не стал подходить ближе. Дорогу от сада отделяла очень глубокая канава. Мы все доверяли ей. На дне бассейна был диснеевский рисунок, и, когда вода колыбалась, свет преломлялся, и тогда лицо Дональда Дака искажалось.

Дом Ямады Таро находился рядом с нашей начальной школой, и он знал мой секрет. Это был лишь мой секрет — ни сестра, ни Саки о нем не знали.

В дождливые дни я ходила в школу одна. Даже если мои друзья заходили за мной, я просила их идти вперед и шла одна позади всех. В такие дни я неизменно опаздывала на пятнадцать минут. Я была довольно медлительной, поэтому никто — ни мама, ни учительница, ни сестра, ни Саки — не считали странным, что я так долго собиралась в дождливый день.

Я носила большой зонт через плечо и ходила в синих резиновых сапогах. Мне нравилось ощущение, что я попала под дождь, и чем сильнее он лил, тем сильнее я радовалась. Бесчисленные круги на воде под ногами, ощущение дождя, бьющего по моему зонту, и приятный, бурлящий звук воды, как будто я была полностью отрезана от внешнего мира.

К стенам прилепилось множество маленьких, не более пяти миллиметров в диаметре, улиток. Полупрозрачные, светло-коричневые раковины с правильными спиралями. Я отдирала их одну за другой, пока шла вдоль стен (я чувствовала сопротивление при этом), роняла на землю и наступала на них. От подошвы сапог мне передавалось легкое и приятное ощущение, а каждый шаг доставлял наслаждение. Эфемерность этого “хруста”. Всю дорогу в школу я была поглощена этой бойней.

Несколько раз я внезапно ощущала, что кто-то на меня смотрит и, обернувшись, обнаруживала, что посреди улицы стоит Ямада Таро с черным зонтом и в черных резиновых са-

погах. Я наступила на улитку, которую содрала со светлой каменной стены. Она не относилась к его дому, но почему-то я подумала, что улитка принадлежит ему. Я растоптала его улитку, чувствуя за спиной пристальный взгляд. Стоя под ливнем, мне казалось, что в мире остались только мы — я и Ямада Таро.

Как ни странно, я не воспринимала это как раскрытие моей тайны. Я считала, что делюсь с ним своим секретом.

Поэтому и в надувном бассейне в ленивый полдень я была уверена, что Ямада Таро смотрит на меня. Не на мою сестру, не на Саки, а именно на меня.

Вдоль дороги стоял небольшой магазинчик японских сладостей. В нем продавались рисовые крекеры, газировка и мороженое. Он не был особенно хорошим, но порой я с нетерпением ждала, когда у меня появятся деньги, чтобы купить там что-нибудь. Я выучила названия сезонных сладостей, и мне нравился этот магазинчик из-за приятного запаха клейкого риса, который варили в подсобке.

Одна из сладостей, продаваемых только в летние месяцы, называлась “Круги на воде”. Она была сделана из желтой пастилы, нарезанной прямоугольниками, и сверху покрыта тонким слоем прозрачного желе, а между пастилой и желе лежал ломтик лимона. Я не была любителем пастилы и когда ее покупала, то больше одного кусочка не съедала, но из-за интересного названия и вида мне хотелось ее покупать каждый год.

Однажды, как обычно, мама дала мне немного денег, я схватила свой кошелек из бус и пошла в магазин сладостей, но обнаружила, что кто-то следует за мной позади на некотором расстоянии. Подобное уже случалось. Это был Ямада Таро. Я остановилась и, убедившись, что он тоже остановился, медленно обернулась назад. Там стоял он, Ямада Таро в светло-голубом поло. Он смотрел, чуть скосив глаза, с ухмылкой на лице.

Я продолжала гордо стоять, сердито уставившись на него. Я нисколько его не боялась. Хоть он и крепкого телосложения, но он всего лишь дурак. Он не смог бы приблизиться ко мне ни на шаг. Я чувствовала себя уверенно и защищенно.

Конечно же, Ямада Таро не двинулся с места. Я отвернулась и быстро пошла дальше, чувствуя удовлетворение, презрение и небольшое разочарование.

Когда я вышла из магазина, Ямада Таро все еще стоял там. Он по-прежнему ухмылялся и следовал за мной на некотором расстоянии. На этот раз я не стала останавливаться, а, ускорив шаг, направилась к своему дому.

В пакете я несла домой четыре сладости “Круги на воде”. Мне сказали купить то, что я смогу доесть, например данго со

сладкой глазурью или ярко-зеленые моти, а не “Крути на воде”, и я ужасно переживала из-за того, что ослушалась. Что мне сказать в свое оправдание? Поверят ли мне, если я скажу, что данго с глазурью и моти были распроданы? Вдоль дороги раскачивалось огромное дерево дзельква, признанное особо ценным.

Затем случилось то, чего я совсем не ожидала. Шаги, которые следовали за мной, вдруг перешли на бег. На мгновение я испугалась, но сразу же успокоилась. Это точно не Ямада Таро. Должно быть, бежит кто-то другой. Если я остановлюсь, он, скорее всего, пробежит мимо меня.

Я ждала, затаив дыхание. Мое сердце бешено колотилось, и шаги стихли прямо за моей спиной.

Мне потребовалось огромное мужество, чтобы обернуться.

Ямада Таро стоял, затаив дыхание. Прищуренный взгляд узких глаз за стеклами очков, небольшая лысина сбоку и эта ухмылка на лице. Меня и его больше ничего не разделяло.

Открыв свою белую сумку, он достал из нее что-то и протянул мне сжатый кулак. Я вытянула руку в ответ, и что-то очень большое и сухое упало мне на ладонь. Оно было шершавым на ощупь и от него веяло грустью. Это был темно-коричневый труп огромной цикады. Я уставилась на странный предмет в своей ладони, не в силах ни моргнуть, ни выдавить из себя ни слова, и не в силах выбросить цикаду, потому что моя рука словно окостенела.

Несмотря на слухи о том, что Ямада Таро был глухонемой, он сказал ясно и отчетливо.

— Умри, умри, умри, умри.

Какой это был ужас! Я съежилась и, испуганная, посмотрела на его ухмылку, вот-вот готовая упасть в обморок. “Умри, умри, умри, умри”. Он смотрел на меня и отчетливо это произносил.

“Я буду убита улитками”, — подумалось мне, и через мгновение я уже бежала от него, сломя голову, Ямада Таро все еще оставался позади меня, громко крича:

— Умри, умри, умри, умри!

Когда я вернулась домой, у меня не было ни цикады, ни пакета со сладостями. Мои колени дрожали, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Помню, что мне потребовалось какое-то время на то, чтобы осознать этот ужас и разрыдаться. После этого я перестала убивать улиток.

— Это что, цикады так громко поют? — спросила моя сестра из комнаты.

— Да, — кивнул в ответ ее муж. — Такие огромные, и поют так громко.

Огромная цикада...

— Слушай, ты помнишь Ямада Таро? — спросила я сестру как ни в чем не бывало.

— Кого? — сестра вышла на сумеречную веранду и озадаченно посмотрела на меня.

То была огромная певчая цикада, и Ямада Таро просто сымитировал ее крик, когда дарил мне. Только и всего.

— А, ничего, — ответила я, слегка улыбнувшись.

Легкий ветерок обдувал веранду, и цикады продолжали петь.

Перевод Миланы Ильиной

Младший брат

ПОЧЕМУ похороны всегда проходят летом? Мать, дядя, бабушка — все умерли летом. Непременно летом умирал кто-то из соседей, и в детстве, провожая взглядом катафалк, я сжимала большой палец так сильно, что ладонь становилась мокрой от пота¹. А в июле позапрошлого года скончался мэр города, и за непрерывно поющими цикадами я не могла расслышать даже приветственное слово его жены. Асфальт, политый водой. Под палящими лучами солнца все вытирали лбы и шеи белыми платками. Живые изгородь из темно-синей и красной штокрозы.

И сегодня тоже был жаркий день.

Я сняла и повесила на притолоку траурное платье и легла на татами прямо в тапочках. Через открытые окна виднелся сад. Много пожухлой травы и любимые камни моего отца, поросшие мхом. А младший брат превратился в довольно красивый белый дым, поднимающийся в ясное небо. По-женски кокетливо и изящно вылетая из высокой трубы, он, конечно же, с удовольствием весело смеется.

За дверью все родственники пьют чай. Иногда я слышу сильный кашель и женский плач. Легкие робкие шаги и тяжелая уверенная поступь. Татами, скрипящие при каждом шаге. Если сейчас откроются раздвижные двери и меня увидят лежащей в таком виде, отец придет в такую ярость, что его лицо побагровеет. Родственники же будут молчать. А потом на-

1. В Японии есть примета: при виде проезжающего мимо катафалка, надо спрятать большой палец в кулак. Связано это с тем, что большой палец по-японски звучит как “ояюби” (иероглифы “родитель” и “палец”). Считается, что, пряча большой палец в кулак, человек оберегает родителей от смерти.

верняка за спиной отца выскажут много разного. Руки и ноги ослабли. Я лежу на спине в этой тихой, навевающей грусть комнате и не знаю, что делать с собой.

Летние похороны ужасны.

Мать часто так говорила. Возвращаясь с похорон, у порога дома она посыпала себя и отца солью легкими движениями рук¹. Отец в это время стоял с важным видом.

В этой комнате она тоже снимала траурную одежду. Мне нравился звук развязывающегося пояса и приятный шелест нижнего кимоно. Мама тщательно протирала воротник, подол и манжеты черного кимоно бензином. Этот улетучивающийся запах, сладкая головная боль. Мы с братом сидели в углу комнаты, поджав колени, и молча наблюдали. По тускло освещенной комнате в восемь татами² гулял ветер.

В машине, по дороге из крематория, нынешняя жена отца подняла на меня свое одутловатое лицо. Ее макияж размазался, выглядела она на похоронах брата ужасно. “А ты стойкая!” — говорили ее опухшие глаза. Она не могла понять, почему на похоронах брата я не проронила ни слезинки. У нее-то глаза всегда на мокром месте, когда кого-то хоронят. Будь то мэр города или дальний родственник, которого она никогда не видела.

Я же никогда не думала о похоронах как о чем-то печальном.

Впервые я была на похоронах после смерти бабушки. Это случилось летом, когда младший брат только пошел в начальную школу, то есть почти двадцать лет назад. Все происходило в той же самой большой комнате дома в четырнадцать татами³ с раздвижными дверями — в ней, как и сегодня, собрались люди и стоял алтарь. Только звук деревянного гонга в тот день казался намного тише. Возможно, дело было в возрасте покойного. От вееров доносился запах сандалового дерева, а не благовоний. Буддийские четки матери из светлого фиолетового горного хрусталя сверкали на солнце с веранды. На фотографии бабушка в шерстяной накидке улыбалась, прикрывая лицо от солнца, и, хотя фотография была черно-белой, я сразу узнала ее любимую шаль насыщенного зелено-

1. Человек, посетивший похороны, считается в Японии оскверненным. Каждый участник похоронной церемонии перед уходом домой получает пакетик с солью. Прежде чем войти в дом, он должен посыпать плечи мелкой солью, а также бросить немного соли на землю и ступить на нее ногами, чтобы не принести в дом скверну.

2. Примерно 13 кв. м.

3. Примерно 23 кв. м.

го цвета. Помню, я еще подумала, что, наверное, ей было очень жарко. Она всегда надевала на прогулку эту накидку и пару гэта с бархатными ремешками в тон, издающие приятный стук.

Моя бабушка, и так не отличавшаяся высоким ростом, в гробу словно бы стала еще меньше, она лежала вся в цветах, и выражение лица у нее было скорее глуповато-спокойным, нежели ласковым. Мне показалось, что и губы у нее выглядели по-другому. Я подумала, что это из-за того, что она мертва. Мы с братом впервые видели покойника, но нам совсем не было страшно. Все казалось очень естественным.

Вечером мы развешивали большие белые фонари¹. К ним слеталось много светлячков. Вода в пруду была зеленого цвета из-за колышущихся водорослей. Мы с братом все время прыгали по камням на дорожках в саду и кричали “Цу-е-фа!” — проигравший должен был уступить дорогу и начать прыгать с края. Мы могли так играть вечно — нас никто не ругал. Все взрослые были заняты приготовлением алкогольных напитков и подогревом готовой еды.

— Не упади! — сказала я младшему брату, когда он резво прыгал с камня на камень. В ту пору мама стригла его “под горшок”, и его черные волосы блестели и колыхались в темноте при каждом прыжке. Однажды, когда он так же прыгал по камням, то упал и содрал себе ноготь. Именно бабушка тогда лечила его алоэ, срезанным с заднего двора, и ловко перевязывала крошечный пальчик на ноге, крепко обнимая неистово плачущего брата.

— Не упаду.

Мы хорошо знали, что такое смерть.

После того как мы положили цветы в гроб бабушки и сложили руки, как было велено, нам больше нечего было делать. Скорбящие приходили днем и ночью. Похожие лица, похожие приветствия, похожие вздохи. Эти странные особенные дни, казалось, шли бесконечной чередой, независимо от меня и брата. Жара, отчуждение и скука совершенно измотали нас.

С другой стороны, оставшись без внимания, мы чувствовали нечто большее, чем просто свободу. Нам казалось, что если мы сейчас отправимся вдвоем в путешествие, то никогда больше не вернемся домой. Головокружительное ощущение,

1. Традиционно белыми фонарями украшается дом умершего в его первый Обон (Хацубон) — трехдневный праздник поминовения усопших в Японии, который проходит летом. Делается это для того, чтобы поприветствовать дух умершего и чтобы тот нашел дорогу домой.

как от дрожащего жаркого воздуха над нагретой землей. Никто не заметит, если нас не станет. Мысли о таком — ужасающая свобода и волнительная радость.

— Как же жарко, — жаловались мы по несколько раз в день и шли на кухню пить сок.

Именно в те дни мне пришла в голову идея сыграть в похороны. Сначала мы тайком играли в этой небольшой комнатке в восемь татами, что рядом со скорбящими. Игра была простая: сперва один из нас ложится на спину на татами. Другой, играющий роль убитого горем члена семьи, прижимается к телу спящего и трясет его, как это часто бывает в дешевых телевизионных сериалах: “О нет, не умирай! Не умирай!”

Как ни странно, но от этого больше страдает спящий. Его губы начинают дрожать, но приходится сдерживаться. И вот наступает кульминация. Человек, только что игравший роль скорбящего члена семьи, становится кем-то вроде служителя огня в крематории, а затем в один миг исполняет роль самого огня: он достает из шкафа футон, разворачивает его и, держа двумя руками, встает у ног спящего.

— Итак... — слышится тихое таинственное бормотание (это роль служителя огня). — Бу-у-у!

И вместе с этим громким криком футон падает, накрывая собой мертвеца. Бу-у-у.

Голос очень важен, ведь сколь бы ни был подготовлен умерший, он все равно вздрагивает от этого чудовищного воя и внезапно переживает агонию смерти. На него тут же падает футон с человеком на нем, но кажется, что обрушивается сама темнота, поскольку солнечный свет полностью перекрыт футоном. Кажется, будто ты сам куда-то падаешь. На мгновение ветер взъерошивает волосы. “Огонь” прыгает осторожно на четвереньках, чтобы не раздавить покойника, но в момент, когда футон накрывает спящего, вес тела ощущается довольно сильно. Этот удар как нельзя лучше соответствовал смерти.

Мы увлеклись этой игрой. По очереди ложились на татами и по несколько раз умирали. Затем один из нас вставал, а другой ложился, и, хотя мы быстро менялись ролями, мы молчали и старались сохранять как можно более серьезную атмосферу. Однако когда напряжение становилось слишком сильным, мы приходили в легкое возбуждение и не могли унять смех. За открытыми окнами в саду цвела сочная и влажная зелень, и взрослые иногда проходили мимо по залитой солнцем веранде.

Вскоре нам пришла в голову идея поиграть на улице. За домом как раз была небольшая гора, и тропинка, ведущая к ней,

пролежала через настоящие могилы. Мы с братом поднялись на гору, неся наш футон, сложенный вчетверо, как будто собирались идти на пикник. На нас были белые шляпки. Мама строго говорила нам, что солнечный удар — опасная вещь. Я же ненавидела шляпы. В них мало что увидишь, а когда потеешь, то чешется лоб, и это сильно раздражает. Я вообще не понимала, зачем в такую жару надевать еще и шляпу. Мой же брат, напротив, был гораздо послушнее, и, когда я жаловалась на шляпу, давал мне бесполезный совет просто забыть о ней.

На босых ногах у меня были сланцы, а у брата — кроссовки. Мы шли в тени, поэтому почва была темной, влажной, мягкой, пахучей и продавливалась при каждом шаге. Пели не только цикады, но и птицы. Я помню их звонкое щебетание. Пока мы с трудом тащили футон, белый летний пододеяльник — сам матрас был голубым с нарисованным пейзажем — стал грязным и потрепанным.

Нашим любимым местом была небольшая ложбина посреди летней рощи, где гравийная дорожка, ведущая к могилам, заканчивалась камнями и цветущей черноголовкой. Мы лежали на земле перед огромным небом. Это было очень тихое место. Довольно уединенное, прохладное, идеально подходившее для тайного крематория.

Игра в похороны среди пахучих деревьев, холода почвы и головокружительного солнечного света не могла сравниться с игрой в доме. В тот момент, когда футон падал с громким звуком “бу-у”, мы с братом были так увлечены, что ноздри раздувались. Бу-у-у. Бу-у-у. Бу-у-у.

Мне казалось, что я вижу пламя на своих веках. Так мы продолжали умирать снова и снова, пока не заходило солнце. “Ослепительно” — вот самое подходящее слово. Мое сердце замирало от странного волнения и восторга. В конце концов, мы оба играли роль огня с таким энтузиазмом, что теряли голос. Мы смотрели друг на друга и смеялись.

По дороге домой мы шли с приятным чувством усталости, перепачканные грязью.

Однажды мне пришла в голову замечательная мысль: устроить похороны других детей. Кэнъити Нодзаки, Масару Морита, Кэйко Абэ, Юкити Уцуми — всех, кто когда-то издевался над моим братом, всех бы похоронила. Мне казалось, что это удивительно хорошая идея. Младший брат был из тех, над кем часто издевались.

Он был в восторге от моего предложения. Сначала надо было как можно тщательнее представить себе этих жалких козлов отпущения. Грязная полосатая футболка Кэнъити Нодзаки, коротко стриженная голова Масару Мориты, его

поношенный джинсовый костюм. Плотные высокие гольфы Кэйко Абэ, слишком короткие шорты и обожженные солнцем ноги Юкити Уцуми. После подробного представления надо было уложить их по очереди в лощину и медленно кремировать, одного за другим.

Бу-у-у. Бу-у-у. Бу-у-у.

Во время игры, однако, я заметила нечто странное. Голос брата, игравшего роль пламени, дрожал от слез. Он пытался говорить страшным голосом, но то и дело всхлипывал.

— Что случилось? — спросила я, подняв глаза от одеяла, а мой брат, покраснев, как маленький чертенок, тихо пробормотал: “Бедняжка”.

— Бедняжка.

Я лежала под футоном, и меня охватило отчаяние.

— Ты чего это? Мы не можем сейчас остановиться, — сказала я.

Он нехотя кивнул и попытался продолжить игру.

— Ну ты и трусишка.

Лицо брата было мокрым от слез, соплей и слюней. И все же он оставался верным своей сестре и, крича изо всех сил, падал вниз. Я подумала, что он похож на бешеную собаку.

— Ты и вправду трус.

Мне казалось, что все уже не так. Я лежала на земле и ненавидела всех и вся, за исключением брата.

Неподалеку на толстом стволе дерева неприметно сидел коричневый богомол.

Солнце расплылось беловатой кляксой, нагревая землю.

Мой брат любил насекомых.

Он часто сидел на крыльце и наблюдал за насекомыми в саду, болтая своими белыми, мягкими, пухлыми ножками. Среди его любимых насекомых были мотыльки, и, когда огромный бледный мотылек садился на оконную сетку, он осторожно протягивал руку, чтобы дотронуться до него.

— Мотыльки — хорошие насекомые, — говорил мой брат. И что бабочки — ничто по сравнению с теплом мотыльков. У него было несколько экземпляров мотыльков, каждый находился в коробочке с изящной булавкой.

Похороны же мотылька приводили брата в дикий восторг. Ничто так не захватывало его, как вид мертвого мотылька, которого несут на спине толпы муравьев.

— Муравьи созданы для похорон. Неважно, как далеко они находятся, они всегда приходят на запах трупа.

Брат говорит, а глаза его светятся, он сильно наклоняется, словно собираясь скатиться с крыльца. Вереница муравьев под солнцем действительно казалась печальной и трогательной.

тельной. И кстати, похороны муравьев тоже всегда проходят летом.

— В награду за хорошие похороны я дам вам сахарную воду.

Насмотревшись на шествие насекомых, брат всегда их благодарит — идет на кухню и возвращается со стаканом мутной сахарной воды, наполненным примерно наполовину.

— Хочешь облизнуть? — радостно спросил младший брат, слегка пожимая плечами, и мы несколько раз окунули и обливали пальцы. Вкус был какой-то непонятный, и, облизывая пальцы, я чувствовала себя как-то одиноко.

Иногда младший брат рассыпал сахар, говоря, что это белые похоронные фонари. Муравьи были в замешательстве от такого угощения и метались во все стороны.

Я слышу голос отца из соседней комнаты. Он у него ужасно скрипучий. Я вяло переворачиваюсь. Чувствую татами. У пруда квакают лягушки. Скоро подадут суши. Я должна успеть встать, снова надеть траурную одежду и выйти к ним. Наверное, надо достать из шкафа еще одну бутылку сакэ.

Когда я закрываю глаза, то вижу голубое небо. Дым моего брата. Он ведет прямо к Богу. Мой брат очень мудрый. В такой солнечный день пусть ему будет легко и хорошо. Так нечестно. Я как будто вижу его смущенную улыбку.

Летние похороны ужасны.

Мама протирает свою траурную одежду керосином. Мы с братом сидим в углу комнаты, поджав колени, и внимательно наблюдаем за каждым маминым жестом. Улетучивающийся запах, сладкая головная боль. По тускло освещенной комнате в восемь татами гуляет ветер.

Наверняка и я когда-нибудь умру летом.

Перевод Миланы Ильиной и Анны Дегтяревой



Анатомия жирафа

Рассказ

Перевод с японского Анны Дегтяревой

НА седьмой день после аборта я начала заниматься бегом. Я выполнила все требования медсестры: взяла неделю отпуска и провела его в постели. Я ни разу не вышла на улицу и даже не принимала ванну.

— Некоторое время вам нельзя будет мыть голову. Хорошо? В парикмахерской ее тоже не мойте.

Медсестра избегала смотреть в глаза, говорила неразборчиво и использовала такие слова как “парикмахерская”, а не “салон красоты”.

В день, когда у меня закончился отпуск, я купила тренировочный костюм и кроссовки в спортивном магазине около станции. От продавца я узнала, что одежда сделана из современного материала, способного преодолевать различные противоречия: тепло свободно выходит наружу, но воздух внутрь не поступает; материал хорошо впитывает пот, но не дождь; это очень прочный материал, но при этом легкий.

Продавец точно так же без запинки рассказал про высокое качество обуви, но ничто не вызывало у меня интерес, я только еще больше устала. Он все еще продолжал говорить, когда я протянула ему две купюры. Со следующего дня я начала бегать.

Я определилась с маршрутом. Выйти через заднюю дверь дома, повернуть направо, подняться на холм, пройти между химчисткой и магазином канцтоваров и выйти на промышленную дорогу. Когда бежишь по этой широкой трассе на юг, по обеим сторонам тянутся заводы. Литейный, текстильный, нефтяной, химический... Еще там стоят склады, трубы, железные башни и цистерны, напоминающие по форме белые колонны.

Наконец, в просветы между чередой заводов начинает виднеться море, постепенно оно все увеличивается и подступает ближе. Внезапно перед глазами оказывается площадка с выставленными на экспорт автомобилями. На причале стоят корабли, слышатся крики чаек. Так заканчивается дорога.

Я попыталась вспомнить, когда в последний раз мне доводилось бежать, бежать изо всех сил. Когда я опаздывала на свидание? Когда убегала от приставаний? Бежать, чтобы струился пот, не обращая внимания на задравшийся подол юбки, работать ногами и локтями.

В далеком прошлом я куда-то к кому-то бежала. На дне памяти было ощущение растрепавшихся на ветру волос, стука сердца и боли в мышцах. Но я никак не могла его воскресить.

Когда мне было семнадцать лет, я была влюблена в спортсмена, бегуна на длинные дистанции. Каждый день после занятий я садилась на край клумбы в углу школьной площадки и наблюдала за тем, как он тренируется.

У него было потрясающе правильное с точки зрения пропорций тело. Длина ключицы или толщина мышцы плеча, ширина пятки или поверхность ладони — любая, даже самая крошечная часть его тела, была идеальной и имела правильную пропорцию.

Бег еще больше подчеркивал его красоту. Мне казалось, что такое занятие, как бег, было даровано небесами как чудо из-за него одного.

Рядом с клумбой располагался кабинет музыки. Бывало, что ребята из духового оркестра разучивали там музыку из фильмов или же кто-то играл Шопена. Хотя это место и называлось клумбой, за ней никто не присматривал, и я не помню, чтобы там вообще были цветы. Кирпичное обрамление клумбы было старым, выцветшим, а ее шероховатость чувствовалась даже сквозь плиссированную юбку школьной формы.

Закончив разминку, он снимал с себя одежду за футбольными воротами и оставался в одних трусах. Больше всего я любила, когда появлялись его обнаженные ноги.

Он бежал круг за кругом. Он не делал ничего более. Остальные прыгали, падали, пинали мяч, но для меня существовали только его божественные ноги. Несмотря на то, что

приближались сумерки и вокруг начинало уже темнеть, мне было спокойно. Даже сквозь звуки нот, доносившихся из кабинета музыки, я отчетливо слышала стук его ног.

Закончив тренировку, он натягивал штаны на мокрые от пота ноги, поворачивался ко мне спиной и бежал в раздевалку. Даже после суровой тренировки он не переставал бежать.

Я грезил о том, как последую за ним, но никогда этого не делала. Я вставала, отряхивала юбку и брала свой школьный рюкзак. Ни с кем не разговаривала и ни на кого не обращала внимания. Не спеша выходила из школьных ворот. Я никогда не бежала.

— Может, не стоит в такое время заниматься пробежкой, а? — спросил он.

— Почему? Во всем мире люди бегают, чтобы быть здоровыми, — ответила я.

— Да, но ведь тебе только что сделали операцию.

Слово “операция” он произнес с некоторой осторожностью. Я не знаю, было ли это проявлением заботы, или же он просто не хотел касаться неприятной для себя темы.

— Уже все нормально.

Я воткнула вилку в середину омурайсу¹, которое мне только что принесли. Оно было слегка кисловатое на вкус, яйцо было мягким и оттого немного липким. Он взглянул на дешевую лампу, висящую над столом, несколько раз нервно моргнул и придвинул к себе тарелку с салатом.

Мы встречались уже два года, но я до сих пор ни разу не видела, как он бежит. Да мне этого и не хотелось. Теперь он носит старые черные ботинки, ходит расслабленным шагом и немного сутулится. Он ненавидит потеть. Каждый день он подолгу находится в холодной лаборатории (он ученый-медик), поэтому вся его сущность теперь противится жаре.

Конечно, я никогда не упрекала его в отсутствии пропорций атлета. Во всем виновата лаборатория.

Некоторое время мы молчали. В кафе было многолюдно и шумно. Официант небрежно наполнил наши стаканы водой и ушел. Он аккуратно вытер бумажной салфеткой разлившиеся по столу капли.

— Со вчерашнего дня я начал препарировать жирафа, — сказал он, складывая мокрую салфетку.

— Жирафа?

— Он умер два дня назад в зоопарке от воспаления желудочно-кишечного тракта.

1. Японское блюдо из риса с омлетом. (Здесь и далее – прим перев.)

— Жирафы тоже от этого умирают?

Он рассмеялся:

— Ну конечно!

Я попыталась представить, каким образом умирает такое существо, как жираф. Наверное, в самом конце он слабеет настолько, что сваливается на бок. Падает, как старое дерево в чаще леса, — тихо и безо всякого предупреждения. Если так, то его длинная шея и четыре ноги становятся для него обузой. Они костенеют, их сводит судорога, они не могут как следует согнуться. Если он и вытерпит эти муки, то тогда на его теле полопается кожа. Чтобы хоть немного расслабиться, он высовывает бледный язык, пробует облизнуться, но ничего не помогает. Наконец он в последний раз делает глубокий вдох. И только кончики ушей еле-еле дрожат...

— Тогда тебе потребуется довольно большая лаборатория!

— Я воспользуюсь той, что в ветеринарном университете. Там хватит места даже для препарирования слона или кита!

— Вы уже всего жирафа разобрали по частям?

— Нет, только мозг вынули.

Некоторое время он говорил про различия между мозгом человека и жирафа. Съев омурайсу, я попросила на десерт клубничное мороженое.

До этого он точно так же препарировал кенгуру, белого медведя, альбатроса, антилопу гну, верблюда... А в перерыве между ними — человеческие трупы.

На этот раз я попробовала представить, как разрезают скальпелем шею жирафа. На его коже вблизи отчетливо можно различить коричневые и белые пятна. Губы жирафа мягкие, словно бархат, пока еще не утратили своей влажности. Если приподнять ему веко, то за ним окажется мутный черный шарик.

Без колебаний он делает надрез в середине шеи. Доходит до подбородка и аккуратно, чтобы не поранить мозг, снимает кожу с черепа. Время от времени, когда скальпель натывается на кость, слышится треск...

— Еда совсем остыла! — сказала я, чтобы прервать разговор о мозге.

— А, ну да.

Он с неохотой замолчал и принялся за хаяси-райсу¹, которое уже начало остывать.

В первый день я еле-еле добежала до причала. На дамбе я сделала передышку, рассеянно понаблюдала за тем, как гру-

1. Японское блюдо из риса, мяса, овощей и специального соуса.

зят машины одну за другой на пароход, а затем пошла пешком домой.

Придя домой, я сразу же помыла голову. Включила горячую воду в душе и как следует намылила волосы.

Однако всего через десять дней я окончательно привыкла. Как и говорил продавец, одежда была очень удобной, а обувь полностью по ноге. Дважды я пробегала до причала и обратно, но мне этого было мало, и я бегала еще вокруг стоянки с машинами.

Когда выходишь на шоссе, солнце близится к закату, и, как только оно касается моря, небо начинает темнеть. На одном из заводов звучит гудок, оповещающий об окончании рабочего дня, вокруг тускло светят уличные фонари. Непрерывно движутся грузовики, автоцистерны и служебные автобусы, но самих людей практически не видно. По обеим сторонам дороги шум и тишина сменяют друг друга.

Мне было все равно, насколько быстро я бегаю, но я была заиклена на том, чтобы бежать как можно дольше. Когда боль в груди достигает своего пика и чувствуется даже страх — именно в этот момент ко мне внезапно приходит освобождение. Я испытываю радость, словно бы мне единственной удалось вырваться из временного потока, и теперь только моя земная оболочка окутана воздухом, а дух смотрит на нее сверху. Это было мимолетное ощущение, оно сразу же исчезло, но я была им очарована.

Заводские здания были похожи на скучные коробки, и по их внешнему виду нельзя было определить, что же там производят. Иногда, когда менялся ветер, можно было слышать рев механизмов, но это больше напоминало далекий шум в ушах.

Если заглянуть сквозь щели в заборах, то можно было увидеть, что в зависимости от компании обстановка внутри заводской территории несколько отличалась. Где-то был виден тщательно ухоженный газон. А где-то вокруг складов валялись катушки, железные листы и трубы.

Лишь фигуры работников везде казались ничтожно малыми по сравнению с величиной зданий. Только я замечала человека, управляющего грузоподъемником, как он тут же пропал из виду. Со стороны заводов не было никаких признаков жизни, сколько бы я ни прислушивалась.

В этот день мои нервы были напряжены в ожидании освобождения. Я бросила себе вызов и впервые трижды пробежала до пристани и обратно. Солнце полностью село, очертания моря тоже растворились в темноте.

Я молила о том, чтобы становилось все тяжелее и тяжелее. Кроссовки стучали по асфальту, и это был ритмичный звук. Поясница и колени ужасно болели, но я не обращала на

это внимания. В ночном небе танцевали чайки. Была безлунная ночь, но мне показалось, что я разглядела распахнутые крылья и пару свисающих когтей. В ту же секунду небо покачнулось, и я упала на дорогу.

Мне помог незнакомый старик. На нем была темно-синяя форма с повязкой на руке, поэтому я предположила, что он был кем-то вроде сторожа. На повязке была надпись “проверка безопасности”.

— С вами все в порядке?

Сторож придерживал меня за спину.

— Простите. Сама не знаю, что со мной такое...

Говоря это, я попыталась встать, но он меня остановил.

— Будет лучше, если вы немного полежите. В сторожевой есть софа. Вон там, рядом!

Оказалось, что я упала напротив главных ворот завода тяжелого машиностроения. Сбоку находилась небольшая комната при заводе. Прежде чем я успела ответить, сторож поднырнул под меня и взвалил себе на спину. Комната была продолговатой, освещенной теплым желтым светом, и стоило нам двоим войти, как стало уже тесновато. Я прилегла на диван, а сторож сел рядом на складной стул.

— Вы каждый день так усердно тренируетесь!

— Откуда вы узнали?

— Так ведь в этих краях редко встретишь людей, занимающихся марафоном!

Я была удивлена, что сторож выглядел гораздо старше, чем мне показалось. Его лицо было сплошь покрыто пятнами и глубокими морщинами, шея была худая и дряблая, а голос — скрипучий. Непостижимо, как при таком дряхлом теле он смог донести меня. Однако на нем была чистая накрахмаленная форма, поэтому он не выглядел слабым. Его вежливая манера выражения тоже вызывала доверие.

— Пожалуйста, угощайтесь хотя бы этим. Вам станет лучше!

Сторож вытащил из кармана брюк пакет со сладостями, перевязанный резинкой. Это были сахарные леденцы. Он развязал шуршащий пакет, взял одну конфету и вложил мне в ладонь.

— Спасибо.

Леденец был сладким и очень вкусным. По-видимому, он долго лежал в кармане и оттого стал теплым. Сторож положил один леденец себе в рот.

Рассасывая конфету, я пыталась вспомнить, как я упала. Сперва у меня закружилась голова, и я почувствовала, что мне тяжело стоять на ногах. Я споткнулась, и из-за этого показалось, что небо качается. Чувствовала я себя неплохо, только

болела голова. В руках и ногах чувствовалась слабость. Судя по дырам на коленях, во время падения я порвала штаны.

Сторож сидел лицом в мою сторону, но не заводил бестолковых разговоров и не сверлил меня взглядом. Положив на колени фуражку и сложив сверху руки, он тихо ждал, когда рассосется леденец.

В комнате было много полезных вещей. На стене аккуратно висели фонарик, каска, календарь, бинокль, а на столе были сложены тетради и географические карты. Несмотря на крошечный размер, комната была чистая и оттого очень уютная.

Из окна виднелись главные ворота завода и водосточная труба. Ночь накрыла землю. В темноте неясно маячили очертания серого завода.

— А что там производят? — спросила я, вглядываясь в окно.

— Подъемные краны.

Когда сторож говорил, его кадык двигался вверх-вниз.

— Они используются при строительстве небоскребов или башен. Это самые современные гигантские подъемные краны.

— А тишина такая, что даже не верится, что рядом производят такие большие вещи!

— Дело в том, что там стоит мощная звукоизоляция. Руководство старается избегать конфликтов с местными жителями. И к тому же завод сейчас не работает — рабочее время давно закончилось.

— Наверное, вам тоже пора закрывать ворота и возвращаться домой? Простите за беспокойство, мне уже гораздо лучше!

Я приподнялась с кровати.

— Нет, что вы, не беспокойтесь! Я нисколько не тороплюсь.

Сказав так, сторож слегка коснулся моего плеча, убеждая лечь обратно.

Некоторое время мы снова провели в тишине. Но в этом не было никакой неловкости, мы просто оба не могли придумать соответствующую тему для разговора. Переглядываясь, мы обменивались легкими улыбками. Мимоходом он достал из-под софы плед и накрыл меня. Он был недавно постиран и оттого приятно пахнул.

— Ну что за глупость — бегать до изнеможения! — сказала я, словно бы разговаривая сама с собой.

— И такое бывает, — осторожно произнес сторож. — Я работаю здесь уже почти сорок лет и хочу сказать, что у главных ворот много всего происходило.

— Целых сорок лет?

— Да. Как-то раз сюда влетел грузовик, потерявший управление, и его водитель погиб. В другой раз молодой служащий-неврастеник поджигал себя прямо напротив ворот. Еще оставляли младенца. Однажды утром я пришел на работу и вижу, что под навесом сторожевой комнаты лежит какой-то сверток. Подхожу поближе, а в свертке — ребенок. Хороший был малыш, так безмятежно спал.

— А что сейчас с ним?

— Не знаю. Вырос уже, наверное.

Сторож тряхнул головой и провел пальцем по зеленой фуражке.

Я еще раз посмотрела в окно. Стояла глубокая ночь. Под окнами шла промышленная дорога, но под пледом шум машин казался чем-то очень далеким.

— Все это произошло у этих непримечательных ворот завода. Вот что удивительно!

Я медленно приподнялась с кровати. Головокружение больше не чувствовалось. Сахарный леденец рассосался.

— Моя помощь вам стала для меня последней работой.

— Последней? — переспросила я.

— Да, сегодня последний день, когда я работаю тут сторожем, — пробормотал он.

Я не знала, что лучше на это ответить и некоторое время разглядывала слова на его повязке.

— Мне неловко просить вас еще об одном одолжении, ведь я и так доставила вам много хлопот...

— Пожалуйста, не стесняйтесь! В любом случае завтра меня здесь уже не будет.

— Можно мне посмотреть завод изнутри?

Я сама не знала, чего это вдруг мне взбрело в голову. Разумеется, не из любви к тяжелой технике. Просто, услышав про последний день, я поняла, что больше никогда не увижу этого сторожа. Когда я осознала это, то ощутила нечто, похожее на грусть оттого, что мы вот так разойдемся.

— Хорошо, я вас понял.

Он сразу же достал из сейфа связку ключей, и по его лицу не было видно, что моя просьба его смутила. Двигаясь вдоль наружной стены заводы, мы стали подниматься по длинной металлической лестнице. Он шел уверенно, ни разу его дыхание не сбилось, а порой он даже заботливо протягивал мне руку. Чем выше мы поднимались, тем ближе становилось ночное небо и тем прохладней был ветер. Когда же мы добрались до самого верха, он повернул ключ и с трудом отворил тяжелую дверь, за которой была крошечная тьма и ничего не было видно.

— Пожалуйста, подождите немного.

Сказав это, сторож на ощупь нашел на стене распределительный щит и нажал на включатель. Сразу одна за другой загорелись лампы, потрескивая словно салют. Сколько же их там было! Наверху, внизу, сбоку — все разом освещали нас оранжевым светом.

— Ох, как же это... — пробормотала я бессвязно.

Сторож держался позади меня, не говоря ни слова.

В свете огней возвышались три гигантских подъемных крана.

Я не сразу смогла осознать их размер. Это была некая абстрактная величина, превосходящая все ранее увиденное мною и ни с чем не сопоставимая.

Вокруг каждого крана были установлены подмостки из металлических труб, и повсюду стояли причудливые механизмы, но они ничуть не затмевали благородство и величественность подъемных кранов. Покрытые желтой краской, они сверкали, в их длинной вытянутой шее чувствовалось что-то изящное, а в намотанных на катушку тросах была мощь. На вершине неподвижно застыли три крюка, словно выбранные для подношения.

Нам ничего не мешало. Все звуки были изолированы, и казалось, будто исчезло само время. Сзади меня доносилось лишь еле слышное дыхание сторожа.

Внезапно мне вспомнился тот жираф. Тот жираф с узором из ярких пятен и с изящной шеей, что был расчленен в лаборатории. Наверняка с уже вынутым мозгом и извлеченными внутренностями, пораженными бактериями. Пропитанные кровью, жидкостью организма и медикаментами, руки бережно ласкают их.

Наверное, его сохранившиеся очертания беззаботно спят в каком-то незнакомом и далеком пространстве. Подобно этому прекрасному крану.

— Вам понравилось? — спросил шепотом сторож.

— Да, большое спасибо, — кивнула я.

На следующий день я снова бежала мимо завода. Голова больше не кружилась. Около ворот со скучающим видом стоял толстый мужчина средних лет.

Пробегая, я посмотрела на маленькое окошко завода. Оранжевого света в нем не было, лишь одна крошечная тьма. Фигура жирафа в нем тоже не отражалась.



Стихи

Перевод с китайского и вступление ИВАНА АЛЕКСЕЕВА

В силу обширной географии и еще более внушительного населения, литература современного Китая представляет собой крайне трудоемкий объект для описания. Наиболее простым способом локализации явлений в этом пространном поле представляется их более или менее условная привязка к крупным регионам страны. Для новейшей истории китайской поэзии в число таких зон первоочередной значимости входят, прежде всего, северный столичный район Пекина, восточный округ близ Шанхая и Нанкина, и юго-западные области провинции Сычуань. Однако любая классификация оказывается недостаточной при появлении достаточно крупного автора, не вписывающегося в намеченные схемы. Именно таков случай Юй Цзяня.

Юй Цзянь родился в августе 1954 года, спустя всего пять лет после образования КНР. Большая часть его жизни связана с Куньмином — административным центром провинции Юньнань. Отчасти именно территориальная удаленность от столицы легла в основу его творческой идентичности — желания противопоставить себя доминирующим тенденциям. Впрочем, в не меньшей степени на формирование его поэтики повлиял также и травматический опыт детства и юности: здесь стоит назвать депривацию слуха по причине детской болезни, последствия “культурной революции” и почти десятилетнее пребывание на заводе, предшествовавшее учебе в университете. Именно к этой декаде — с 1970 по 1979 годы — принадлежат его пер-

вые литературные опыты. После непродолжительного периода увлечения классическими формами древней поэзии Юй Цзянь перешел на свободный стих, которого и продолжает придерживаться. За время учебы на факультете китайского языка Юньнаньского университета в первой половине восьмидесятых автор успел сформировать основные установки своего стиля. По его мнению, поэзия должна служить зеркалом действительности, отражая и по возможности ее облагораживая. В этом смысле он отнюдь не является пуристом и активно включает в свои произведения бытовые детали — осколки повседневности, столь часто и несправедливо игнорируемые. Так, наибольшую известность ему принес текст с характерным топонимическим названием “Улица Шаньи, 6” (1985; перевод на русский опубликован в журнале “Перевод”, 2024, № 1), выдержанный в подчеркнуто “разговорной” манере. В дальнейшем Юй Цзянь будет удостоен множества престижных премий и, в частности, главной литературной награды Китая — премии Лу Синя за сборник “И только море волнуется словно занавес” (2006).

Несмотря на то, что в нашей подборке доминирует лирическая интонация, она тем не менее нисколько не противоречит ни постмодернистским практикам и подходам (ранняя серия “Опусов”), ни стремлению к формальным экспериментам с повторами (“Страх”, “Так быстро”), ни авторской иронии. К примеру, начальную строку из стихотворения “Родина” не следует понимать буквально — первое путешествие за пределы родной провинции Юй Цзянь совершил еще фабричным рабочим. За последующие пятьдесят лет поэт посетит большинство европейских и азиатских стран, в том числе и Северную Америку с Австралией. Последнее же произведение, “Велосипед в лучах солнца”, как ни странно, было включено в цикл “Греция”. И этот нехитрый прием лишь в очередной раз демонстрирует проницаемость любых границ для искусства.

На сегодняшний день Юй Цзянь — автор более пятидесяти книг, главным образом поэтических сборников, эссе и путевых заметок. Все это поистине неистощимый архив “будничных озарений”, которые, надеемся, станут еще одним мостиком между современным классиком китайской литературы и отечественным читателем.

опус № 67

человек жив

не для того чтоб постоянно сидеть взаперти

смотреть в окно

разглядывать стакан с водой

не нужно все время носиться с одним и тем же ключом

входить и вновь выходить из одной и той же двери

пока есть жизнь

человек должен больше ходить и осматривать все

на книжных полках по эпохам расставлены души
 мысли прежде толкавшие к мятежу
 теперь представляют собой спокойствие
 друзья не придут
 так что ложись пораньше
 я еще посижу посочиняю письмо
 так много вещей вот-вот намокнут
 вот-вот переменятся
 так много зонтов вот-вот раскроются или закроются
 мы уже проживали такую дождливую ночь
 и больше не удивимся
 когда застучат первые капли
 мы уже мирно спим
 мы уже мирно спим

1988

страх

страх страх молчащего телефонного аппарата
 страх и ожидание звонка в дверь от доставщика воды
 страх и ожидание черного грецкого ореха
 внезапно он раскололся но внутри нет ядрышка
 вселенной
 внутри ожидания всегда постная пища
 пища которой не прокормить душу
 страх и ожидание потерянного ключа
 от весны внезапно он отворяет дверь
 а я только что предал в этот момент — сожаление
 страх пустых мест моей души
 ожидание письма есть ожидание божества
 целую зиму приходят только пустые строки
 стусившаяся амнезия и пластиковая тряпка
 в моем мозгу призыванье безумца бушует как никогда
 нет чувств нет надежды нет прошлого
 как в снесенном старинном городе
 уже не будет тропинок уводящих во тьму
 апокалипсис наступил в одну из декабрьских пятниц
 когда пасмурным днем после полудня я проходил мимо
 почты
 объявилась такая строка
 срочное донесенье от Господа спасло партизан поэзии

2003

так быстро

от красного до зеленого так быстро
от скворца до скупца так быстро
от поэта до торгаша так быстро
переезд — пулей
слова все круче и круче
эпоха удобств
жизнь бьет ключом без передышки
люди уходят дома пустеют так быстро
от развода до брака так быстро
от аборта до родов так быстро
проглотить виагру подействует через пятнадцать минут
от гусяного пуха до снегопада так быстро
от Танской империи до карамели так быстро
от весеннего ветра позеленившего берега Цзяннани
до деревень в черте города так быстро
от душевных братаний до кровной мести так быстро
в этом году они все обзавелись автомобилями и вот
уже наперебой
хвалят цементный завод и скоростные дороги
бранят пешеходов не дающих разъехаться
иностранная речь смешалась с китайской так быстро
я продолжаю идти опустив голову
вдумчиво взвешиваю каждый стих
авангардом отринут
так быстро

2005

родина

я никогда не оставлял родины но я ее не узнаю
прохожу по новорожденному городу
словно вернувшийся ссыльный
словно дух вернувшийся в кумирню предков
я до сих пор еще помню
где колодец у семьи Ли где сад семьи Чжан
где бабушкино плетеное кресло
где ее яшмовые сережки
где стелящиеся во тьме занавески я до сих пор еще
помню
где мамин овощной рынок
где задранные углы крыш над городским храмом
я до сих пор еще слышу звон колокольчиков на ветру
вижу летучих мышей в их серых саванах

закатное солнце тревожит золотых рыбок
в озерце у старого эвкалипта я до сих пор еще помню
дорогу домой вымощенную мастером лунного света
о ее лучший день — середина осени
как тот кто послезавтра ослепнет
я все еще ничего не могу с собой поделать
среди небытия нащупываю суставы родины
словно играя роли тех прежде ушедших прекрасных

28 августа 2009,
пятница

велосипед в лучах солнца

1971 год выдался славным я обзавелся
железным конем
в свои восемнадцать я был как итальянский воришка
разжившийся велосипедом
песенка пелась педали вращались по кругу
вдоль нашего озера эх как много девушек под небесами
мечтают летать у меня позади как раз есть местечко

2019—2022



Под светом лампы

Рассказ

Перевод с корейского СВЕТЛАНЫ НЕМКЕВИЧ

С приближением полудня люди в мире четко делятся на две половины: на тех, кто обедает в одиночестве, и тех, кто разделяет трапезу с другими.

Удивительно, но в нашем научно-исследовательском институте желающих провести свой обеденный перерыв в одиночку оказалось всего два человека: я и еще один мужчина выше меня по должности из другого отдела. Он, так же как и я, обедал один, а после выходил покурить, поэтому иногда мы случайно сталкивались на заднем дворе нашего НИИ. Оказалось, он увлекается художественной литературой и обладает тонким чувством юмора, не выходящим за рамки приличия. Этого было достаточно, чтобы заинтересовать меня. Вместе мы позволяли себе циничные шутки о старикашках из НИИ, не называя при этом конкретных имен. Он был научным сотрудником главного офиса в Тэчжоне и дважды в неделю приезжал в Сеул читать лекции по динамике климата.

Он не пил алкоголь, но любил кофе, и однажды даже отправился в командировку в Бразилию исключительно ради того,

чтобы выпить там кофе. Однако, прибыв на место, он настолько увлекся местной архитектурой, что впоследствии даже опубликовал небольшой сборник эссе на эту тему, совершенно забыв о кофе. “Архитектура — дорогое хобби”, — говорил он с усмешкой, будто незаметно хотел похвастаться особым вкусом. Я же, подыгрывая ему, понимающе кивала. Хотя я ничего от него не ожидала, даже небольшие приятельские отношения в таком безжизненном месте, как лаборатория, казались мне довольно ценными. Если в назначенное время он не появлялся в курилке, я неспешно обходила территорию института, проходя мимо фонтана и парковки, а затем возвращалась к уличному фонарю с пепельницей. Там я закуривала очередную сигарету. Впрочем, чаще всего он приходил вовремя. Как и я.

Во время наших бесед о разных пустяках я, на удивление, чувствовала себя с ним на равных. Я говорю “на удивление”, потому что иерархия в институте была крайне жесткой. Я была временным сотрудником, помощником по административным делам, и именно на мне лежала ответственность за принтер, влажные салфетки и кофейные фильтры. Порой я ловила себя на мысли: не становлюсь ли похожей на женщину из касты неприкасаемых.

Его отношение ко мне отличалось умеренным равнодушием и добротой, что выгодно контрастировало с реакцией научных сотрудников моего отдела, непроизвольно округлявших глаза при виде курящей девушки. Он не производил особого впечатления, но определенно обладал своим стилем — высокий, немолчаливый и неболтливый, с запоминающимися лбом и бровями. Меня тянуло к нему, и я была предельно осторожна, чтобы не проговориться об этом. Если такие личные переживания облекутся в словесную форму, то это может прозвучать как ненужное признание. В формате наших редких встреч поднимать подобную тему было бы явно неуместно. К тому же мне хотелось как можно чаще видеть его лицо в естественной обстановке. В этом лице, в странной гармонии линий от высокого лба к глазам и дальше к подбородку, было нечто, что одновременно смущало меня и притягивало взгляд. Двух встреч в неделю было катастрофически мало. В коридоре, где наши пути расходились, я намеренно замедляла шаг и поворачивала голову, чтобы хоть на мгновение дольше видеть его идеальный лоб, который вот-вот должен был исчезнуть из поля зрения.

Он находился в процессе развода, но формально все еще был женат. Наши коллеги, словно пытаясь свести нас, при каждом удобном случае отпускали шуточки. Это повторялось с завидной регулярностью каждые два-три месяца, менялся только

инициатор этих шуток. Каждый раз он мягко выражал свое недовольство, но был настолько учтив, что никто, кроме меня, не понимал, говорит ли он искренне. Смирненное недовольство. Вежливое, но решительное отрицание. Я делала вид, что ничего не замечаю, но почему-то чувствовала себя отвергнутой этим похитителем моего сердца. В такие моменты я вновь напоминала себе о разнице в нашем положении. Я была низкоквалифицированным работником, к тому же единственной женщиной в отделе. Теперь это случалось реже, но раньше мне часто приходилось скрывать свое недовольство, будучи самым младшим сотрудником в лаборатории. За исключением меня и нашего секретаря, вся третья исследовательская группа, к которой я принадлежала, состояла из женатых мужчин-профессоров, занимавшихся научно-техническими разработками. Они были редкостью для 2020-х годов, представителями “нормальной семьи” из четырех человек: муж, жена-домохозяйка, готовящая по утрам завтрак, и двое детей.

Эти люди с белыми невинными лицами действительно считали свои личные привилегии естественным правом каждого. Проработав здесь больше года, я уже не обращала внимания на простодушную бестактность этих мужчин, выросших в тепличных условиях. Меня беспокоила лишь его реакция на их глупые шутки. Я испытывала легкое раздражение, недоумение и даже какую-то необоснованную обиду. Мне становилось немного грустно от мысли, что в его добром отношении ко мне, возможно, скрывалось некое чувство превосходства.

В тот день мы, как обычно, пообедали в одиночестве, а затем встретились у фонаря с табличкой “Не курить”. Иногда он приходил первым. Так же было и в тот день. Он молча смотрел в одну точку, а затем резко обернулся, словно почувствовав чье-то присутствие. Будто предвидя мое появление, он достал пачку сигарет и протянул мне. Это были не те сигареты, которые он курил обычно.

— Профессор из Индонезии привез, — сказал он, искоса поглядывая на меня.

Я узнала сигареты со знакомым сладковатым ароматом, которые легко можно было найти в районе Итхэвон. Закурив, я с наигранным удивлением разглядывала пачку, словно видела такие сигареты впервые. Мы молча уставились на университетский кампус за железной оградой. С возрастом все реже встречается собеседник, с которым комфортно просто молчать, не ощущая неловкости. А мне сейчас неловко или нет? Факт, что я об этом задумалась, говорил сам за себя.

— Как легко можно влюбиться в себя двадцатилетнюю девушку, — неожиданно пробормотал он.

Обеденный перерыв подходил к концу, и студенты небольшими группами шли в сторону университета. Каждое утро я вместе с ними поднималась по этой дороге в лабораторию. Взобравшись на холм и свернув направо, можно было увидеть миниатюрный фонтанчик во дворе исследовательского центра, а чуть дальше — сквер, окруженный университетскими корпусами. Университет — поистине удивительное место. Он каждый год снова и снова заполняется молодыми людьми с сияющей кожей и такой жизненной энергией, что кажется, их молодость будет длиться вечно. Здесь время словно застыло. Каждый раз, когда я поднималась в гору вместе с этими юнцами, меня охватывало ощущение, будто во всем мире старею только я, а все лучшее в моей жизни осталось позади.

— Двадцатилетнюю? — переспросила я, выдыхая дым в его сторону, тем самым словно бы приглашая продолжить разговор.

Этот простой вопрос заметно смутил его, и он старательно избегал моего взгляда. На мгновение воцарилось неловкое молчание, и на этот раз неловко стало явно не мне.

Когда-то я случайно услышала о его романе со студенткой. Значит, ей было двадцать? Маловато. Конечно, когда мне было двадцать, я не считала себя ребенком и, глядя тогда на людей моего нынешнего возраста, полагала, что они уже достаточно прожили. Взять, к примеру, Ван Гога. Раньше мне казалось, что он ушел из жизни в самом подходящем возрасте — когда у человека уже было достаточно возможностей не раз испортить себе жизнь. И только недавно я осознала, как же рано на самом деле он покинул этот мир.

Так или иначе, он снова пытался мне показать, что он моложе меня, хотя на самом деле мы были одногодками. Я подумала, что он обращается со мной так непринужденно, потому что считает себя старше и не воспринимает меня как женщину. Это было неприятно, но хотя бы все объясняло. Внезапно захотелось немного подразнить его.

— Она ведь учится в этом университете? — спросила я с улыбкой, сама того не замечая.

Он сконфузился и, криво улыбнувшись, затушил сигарету. Я поняла, что попала в точку. Смутный интерес, который я к нему испытывала, мгновенно обернулся явным презрением. Честно говоря, я не просто не упустила этот момент — я даже получила от него удовольствие.

— В молодых людях много любви. Они отдаются ей без остатка. — Я выдохнула приторно-сладкий сигаретный дым в его сторону и, улыбаясь, беззвучно произнесла, шевеля губами: — Ло-ли-та.

На миг в его глазах вспыхнул гнев, но он быстро совладал с собой и лишь ошеломленно посмотрел на меня. Когда он проявил свои истинные эмоции, я заметила, что, несмотря на возраст, он все еще красив. Возможно, даже красивее, чем когда ему было двадцать. Он махнул мне рукой, будто говоря, что на сегодня разговор закончен, и направился к университету. Его удаляющаяся фигура выглядела по-прежнему изящно, и мне стало немного жаль, что наша сегодняшняя встреча так неудачно завершилась. Влечение к нему начало раздражать меня. Иногда казалось, что я уже безнадежно стара, но сегодня я вдруг ощутила, что гормоны по-прежнему имеют надо мной власть.

Чертову Гумберту из “Лолиты” тоже было тридцать семь лет.

Оставшись одна, я наблюдала за студентами, не спеша поднимающимися по склону холма. Их стало заметно меньше, чем раньше. Я смотрела на холм и на территорию за ним, как разочарившийся аристократ, созерцающий обширные поместья, которыми когда-то владел. Вдруг я поняла, что больше почти ничего не жду от жизни. И все же на мгновение мне стало горько от понимания, что моя молодость закончилась быстрее, чем его. Весна, несмотря на мою меланхолию, оставалась по-прежнему прекрасной. Всего за несколько дней сменился сезон. Мне показалось забавным, как солнце послушно восходит каждый день, а времена года сменяют друг друга в неизменном порядке. Сколько еще раз я смогу встретить весну? Если повезет — может, тридцать или сорок. А если нет... кто знает. Никому не известно. Абсолютно ничего. Ведь так? Жизнь... хе-хе. В этих сигаретах, что ли, травка была? Я бормотала и хихикала, словно рядом со мной кто-то был. И тут неожиданно в памяти всплыло давно забытое имя, и я снова погрузилась в задумчивость. Жан-Пьер. Он был похож на Жан-Пьера.

Чтобы рассказать, кем был Жан-Пьер, придется вернуться далеко назад. Очень далеко.

Жан-Пьер читал лекции по нескольким общеобразовательным дисциплинам в моем университете, когда я училась на втором курсе. Первым его предметом по возвращении в Корею после получения ученой степени в Париже была то ли “Социология СМИ”, то ли “СМИ и общество”. Это был один из тех немногих предметов, по которым я смогла получить пять баллов. Однажды он произнес студентам такую фразу: “Имейте в виду, период с семнадцати до двадцати трех лет будет самым паршивым в вашей жизни...”

Самым паршивым.

Но в то время все, кроме Жан-Пьера, говорили, что это лучший период нашей жизни. Я думала, он просто завидует, ведь нам были доступны все прелести молодости. Произнося это, Жан-Пьер всем своим видом изображал искреннее беспокойство, словно был последним взрослым, способным установить своеволие и безумие юности, распространяющиеся в нашем мире подобно чуме. Но мы не восприняли его слова всерьез, потому что, когда он говорил о “самом паршивом времени”, голос его был полон тоски и ностальгии. И все же я помню, что это был едва ли не единственный момент, когда мы посмотрели на Жан-Пьера как на настоящего учителя.

В моей памяти ожило воспоминание, как он появился в аудитории, опоздав более чем на полчаса в первый же учебный день. Он с небывалой силой распахнул дверь, но вышло это не из-за чрезмерной уверенности в себе, а скорее по милости слишком легкой двери. В растерянности замерев на пороге и оглядывая огромное количество студентов, он сделал шаг назад, проверил номер аудитории и неторопливо вошел. Стоял сентябрь, летняя жара еще не отступила, но он кутался в старое полинявшее пальто бежевого цвета; волосы его с одной стороны были примяты, и в них торчали засохшие травинки, будто недавно он лежал где-то на газоне. Казалось, Жан-Пьер бежал сюда, забыв о предстоящей лекции. Он был похож на нищего, но на элегантного нищего (позже я узнала, что все его вещи были от дорогих брендов). И, кажется, такое впечатление сложилось не только у меня, потому что с его появлением в аудитории поднялся гул.

Он направился к кафедре, на ходу протирая ладонями лицо, словно в спешке умываясь. Будто боясь встретиться взглядом с кем-то из студентов, он наклонил голову вперед и, слегка улыбаясь, попытался восстановить дыхание. До сих пор я еще не встречала мужчину, который бы улыбался так очаровательно. Была в нем некая изящность, выводящая из равновесия, и в то же время необычайно крепкая мужская стать. Он словно стыдился своего великолепного телосложения и поэтому кутался в огромное пальто, больше похожее на одеяло. Мы все смотрели на него как зачарованные. Наверное, нет в этом мире женщины, которой бы не понравился высокий интеллигентный мужчина с прекрасной улыбкой. И вкусы мои с тех пор практически не изменились.

Занятие больше походило на дружеский семинар. До его завершения мы успели посмотреть и обсудить несколько отрывков из фильмов. На первых лекциях Жан-Пьер демонстрировал нам киноленты по учебной программе, но чем дальше мы продвигались, тем меньше он заботился о теме

занятий. Вначале были черно-белые фильмы вроде “Мушкет” и “Страсти Жанны д’Арк”, а закончили мы такими картинками, как “Цвет воздуха — красный”, “Умереть в 30 лет”, “Разговоры о любви” и прочим документальным кино. Почти все фильмы были на абстрактные или политические темы, их названия я даже не запомнила. Таким способом Жан-Пьер хотел навязать нам свои взгляды.

Он включал видео без субтитров, садился рядом с монитором в неестественно изломанной позе, скрестив руки на груди, и начинал комментировать происходящее на экране. Этот метод обучения он перенял от своего французского профессора китайского происхождения. Я не могла понять всего, что говорил Жан-Пьер, но старательно записывала каждое слово. В конце концов “СМИ и общество” превратилось в “Кино и общество” или даже в “Кино и кино”. Позже он сам признался, что получил степень магистра по кинематографии, поэтому мало что понимает в других средствах массовой информации. Он даже скромно говорил, что и французский его не очень хорош. Логика заключалась в том, что так же, как кореец, проживший шесть лет в Корее, не совершенствует свои навыки владения языком, так и проживание во Франции в течение шести лет автоматически не дает вам шесть лет практики французского языка.

В любом случае это не имело значения, поскольку не было ни одного человека, который бы учился в университете в начале-середине 2000-х и не любил бы кино. Даже наоборот, поскольку довольно редко можно было встретить человека настолько образованного в искусстве кинематографа (сложно поверить, но это так), все были рады пожертвовать другими предметами ради высокого искусства кино. И, кажется, он прекрасно это понимал.

Как-то раз Жан-Пьер несколько нерешительно предложил нам посмотреть одно видео. Это был тридцатиминутный немой фильм практически без субтитров, без диалогов и без музыки. В этот раз Жан-Пьер уже ничего не комментировал, лишь тихо прошел в конец аудитории и встал там, прикрыв рот и подбородок рукой. Я плохо помню, что это был за фильм. Точнее, в моей памяти всплывают только размытые обрывочные фрагменты. Видеоряд без какого-либо определенного сюжета.

Можно сказать, это была хроника жизни одного стула. На нем некто стоял в последнюю секунду перед повешением, а затем этот осиротевший предмет мебели начал свое путешествие по новым местам, встречая следующих хозяев. Волею случая стул оказался похож на работы известного дизайнера, и его, как предмет искусства, продали по высокой цене на аукционе в художественную галерею. Когда же выяснилось, что

стул не имеет никакого отношения к именитому творцу, его вернули к прежней бесславной жизни.

В финальной сцене на экране кружились и опускались лепестки цветов. Женщина с длинными черными волосами, склонив голову и сложа руки, словно в молитве, неподвижно стояла в самом низу кадра. Стула не было видно, но женщина возвышалась над другими предметами мебели, будто стоя на чем-то невидимом. Тогда мне подумалось, что все происходившее на экране было лишь ее воспоминаниями.

Последняя сцена выглядела не как видео, а как медленно приближающаяся картинка. Казалось, режиссер пытается показать воздух где-то в середине кадра, а не людей или предметы. Судя по всему, изображение обрезали где-то на середине, оставив над головой девушки слишком много пустого пространства. Я начала недоуменно ерзать на стуле, и в этот момент фильм внезапно оборвался.

По-видимому, это было произведение самого Жан-Пьера, хоть он нам и не признался. Мы догадались об этом, когда он, словно пытаясь избежать неловкой ситуации, поспешно схватил пульт и выключил фильм еще до того, как пошли титры. К тому же было в этом фильме что-то, что напоминало самого Жан-Пьера: потаенная история поломанной вещи, сердце, хрупкое как цветок, невозможность приспособиться ни к одной роли в своей жизни и как итог — признаки душевного расстройства или даже скорого самоубийства.

Он больше походил на вечного студента, решившего не заканчивать университет, чем на лектора или профессора. Если кто-то звал его профессором, он краснел и запинаясь, будто считал себя последним человеком на земле, достойным такого звания. Именно поэтому я считала, что он может стать прекрасным преподавателем. Мы, как и другие студенты, смотрели на него с восхищением, жалели и при любой возможности старались приободрить. “Профессор, все будет хорошо. Не унывайте! Все наладится”. Оглядываясь назад, понимаю, какие странные вещи творились. Он был самым сильным из нас во всех смыслах, но почему-то именно студенты тревожились и переживали за него, а не наоборот.

Жан-Пьер родился в Каннине и был чистокровным корейцем, а назвать его так когда-то предложила Ёнсу, потому что профессор постоянно носил старое длинное пальто, как главные герои фильмов Жан-Пьера Мельвиля. Он всегда двигался скованно, засунув руки глубоко в карманы, напоминая Алена Делона в “Самурае” Мельвиля, который прятал пистолет в кармане пальто. Когда он сталкивался со студентами на кампусе, его лицо мгновенно деревенело (хотя это происходило еще на

подходе). Он останавливался, разжимал кулак и медленно доставал руку из кармана, будто тайком отпуская невидимый пистолет, который до этого крепко сжимал. Затем, словно пытаясь сохранить равновесие при внезапном головокружении, размахивал руками, делая какие-то неопределенные жесты. Со стороны это выглядело так, будто он пытается успокоить разгневанного собеседника или просит больше не подходить к нему и не делать вид, что они знакомы.

Жан-Пьер был бесконечно добр со студентами и в то же время конфликтовал с другими авторитетными профессорами. Власть — вот что он действительно презирал. Истинный борец за права — ему пришлось отправиться в Париж вместо того, чтобы сесть в тюрьму. Таков был договор с родителями, из-за которого ему пришлось поступиться своими моральными принципами. Власть и унижение были для него самыми ненавистными вещами.

Изначально Жан-Пьер чуть не стал Годаром, это случилось на одном из первых занятий. В тот день мы смотрели фильм “Безумный Пьеро” Жан-Люка Годара, и кто-то в аудитории заметил, что главная героиня Анна Карина очень похожа на нашу одноклассницу Ёнсу. Мы все согласно закивали в ответ. Ёнсу была вылитой Анной Кариной с той лишь разницей, что у первой было чуть более невинное выражение лица. Мы с Ёнсу находились под таким впечатлением от игры Анны Карины, что позже посмотрели все фильмы с ее участием. (Это было задолго до ее смерти, и тогда еще многие, кого мы любили — или только собирались полюбить, — были живы.)

— Если когда-нибудь буду брать себе иностранное имя, возьму Анна, — сказала как-то Ёнсу.

— Тогда давай называть преподавателя Годаром, — внезапно предложила я.

Анна Карина была первой женой Годара. Ёнсу тут же нахмурила брови и помрачнела.

— Да они совсем не похожи. К тому же между ними десять лет разницы.

(У Годара было две жены — Анна и Энн, обоим было по двадцать лет, когда они выходили за него. Упорная тяга к этому возрасту. Возможно, для кого-то любовь — это постоянное возвращение к определенному периоду жизни.) Закончилось тем, что Ёнсу принялась ругать фильмы Годара.

— Но Жан-Люк Годар — это все-таки чертов Годар! — то ли в шутку, то ли всерьез крикнула я, заглушая голос Ёнсу, будто это меня в чем-то несправедливо обвиняли.

В обычной жизни я всегда проявляла завидное упрямство, Ёнсу же была более мирного нрава. Мы долго пререкались,

но в итоге я все же уступила — так наш учитель и стал Жан-Пьером. На самом деле я уже не помню, позаимствовали мы это имя у Жан-Пьера Мельвиля или у Жан-Пьера Лео, потому что мы также обсуждали сходство учителя с последним. Во всяком случае, я уверена, что Жан-Пьер Жене не имеет к этому никакого отношения.

К концу семестра уже все студенты были очарованы Жан-Пьером. Мы с Ёнсу принадлежали к группе самых ярых поклонников его лекций. Пять-шесть начинающих синефилов почти каждый раз собирались вместе после занятий. Обычно все ограничивалось посиделками в кафе или баре, но в последний день учебы нам было так жаль расставаться, что мы решили напроситься в кабинет Жан-Пьера и выпить вина.

Время близилось к полуночи. Мы еще не успели допить даже первую бутылку вина, а уже были без памяти влюблены — не только в самого Жан-Пьера, но и в его кабинет. Будто пытаясь доказать нашу любовь, мы наполняли бокалы снова и снова. Жан-Пьер вел идеальную жизнь тридцатисемилетнего человека. Тогда мне казалось, что я тоже хотела бы жить именно так.

— Если жить такой жизнью, то можно и потерпеть до тридцати семи, — сказала я Ёнсу.

Она же, усмехнувшись, спросила:

— Хочешь стать мужчиной?

— Что?..

— Мы с ним слишком разные. Такой человек, как Жан-Пьер, даже имея все, что захочет, не в силах обрести счастье. Подобную хандру может позволить себе только привилегированный класс. Он сам не знает, какая притягательность в этом заключается, — сказала Ёнсу.

Я молча таращилась на нее, не понимая, о чем идет речь.

— Поэтому мы неспособны безумствовать так же изящно, как он, — закончила Ёнсу.

Черные зрачки ее расширились и сверкнули, в этот момент она выглядела безумной и прекрасной одновременно. Ёнсу не заботило, понимаю ли я ее слова. Склонившись над мной, она быстро пробормотала мне на ухо о том, какая у него выдающаяся семья, как много денег и в какой аристократической среде он рос. Однако я была настолько пьяна, что не могла сосредоточиться ни на чем дольше трех секунд. Мы обе начали нести какую-то чепуху, не слыша друг друга. Единственный вопрос, который не выходил у меня из головы, был: откуда Ёнсу узнала все это о Жан-Пьере?

Если и был кто-то не влюбленный в Жан-Пьера, то только он сам. Его взгляд неотрывно следовал за Ёнсу. Хотя на пер-

вый взгляд она была пьяна не меньше меня, в комнате она двигалась легко и уверенно, словно бывала здесь уже не раз. Ёнсу изящно отпила вина, встала, осмотрела разбросанные по полу виниловые пластинки, выбрала одну и включила незнакомую музыку. Я рассеянно следила за ее действиями и вдруг поняла, что окружена студентами. Не справляясь с избытком юношеской энергии, они двигались неловко, по-детски. И я ничем от них не отличалась.

Мы пили вино как воду. Жан-Пьер ненадолго исчез и вернулся с новыми бутылками. Откупорив одну, он сел рядом с Ёнсу, что было необычно для него и слегка насторожило меня. Он сидел сгорбленно, как обычно в аудитории, но выглядел расслабленным, пытаясь подражать выражению лиц студентов. Смущенно, но с восхищением он пару раз положил руку на колено или бедро Ёнсу. Эти жесты бросались мне в глаза, и Ёнсу, казалось, пыталась избежать его прикосновений, периодически перекидывая ногу на ногу. Выражение ее лица в тот момент помнится мне смутно. Я была пьяна, в глазах все плыло, путанно припоминаю, как мне хотелось окатиться на месте Ёнсу. А может, на месте Жан-Пьера? Сейчас я понимаю неуместность происходящего, но тогда была слишком пьяна. Немного придя в себя, я вдруг поняла, что разговор уже давно зашел о поклонниках Ёнсу.

В то время у нее было не менее дюжины почитателей. Ее популярность была поистине велика. С первого курса ей признавались в любви, с ней флиртовали и подстраивали случайные встречи в коридорах университета. Она начинала встречаться с очередным парнем и тут же его бросала. К концу второго курса таких было уже больше двенадцати. Как невидимый живой щит, я всегда была рядом с Ёнсу, считала ее поклонников и защищала от них (или думала, что защищала). Только мне казалось, что все затихало, как появлялся кто-то новый, действующий по уже знакомому сценарию. Я посмеивалась над парнями, словно комментируя спортивный матч, и мысленно упрекала их в недостатке воображения.

Все они казались мне неудачниками, возможно, потому, что я не могла привыкнуть к присутствию парней в университете после шести лет в женской школе. По этой причине я то презирала их, то жаждала их любви, и так по кругу. Все же любить мужчин было ниже моего достоинства. Вместо этого я притворялась, что люблю Ёнсу. Теперь-то я понимаю, что это было восхищение, а не любовь. Я читала ей свои стихи, фотографировала, писала личные письма и планировала наши будущие путешествия. Я хотела иметь полную монополию на Ёнсу и никогда ее не потерять. Она великодушно это позволя-

ла, проявляя снисходительное безразличие. Пользуясь привилегией быть рядом с Ёнсу, я свысока смотрела на парней. И в конце концов, боясь быть отвергнутой, я предпочла презирать всех мужчин.

Этот день никак не заканчивался. Допив последнюю бутылку вина, студенты, которые еще стояли на ногах, гурьбой повалили в караоке. Там они горланили песни, а я, никогда прежде так сильно не напивавшаяся, даже сидеть ровно не могла. Склонив голову, я раскачивалась из стороны в сторону, блуждая в каком-то мутном, волнообразном мире. Поднимая взгляд, я видела, как человеческие фигуры сливались, обхватывая друг друга за плечи, и странно двигались, переплетаясь в танце.

Внезапно атмосфера изменилась: несколько старшекурсников, подхватив Ёнсу, подтолкнули ее к Жан-Пьеру, чтобы они танцевали блюз. Все смеялись. Жан-Пьер, будто у него не было другого выбора, взял руки Ёнсу и, слегка касаясь ее плеча, начал покачиваться в танце. Тогда я заметила, что из всех девушек к этому времени остались только мы с Ёнсу.

Как-то летом, когда мы в тишине отдыхали у моря, она призналась мне, что уже встречалась с мужчиной. Он был довольно известным и значительно старше нее.

— Но не старше моей матери, — пошутила Ёнсу. — Хотя, возможно, он больше подходит маме, чем мне.

Она усмехнулась и продолжала:

— После расставания с ним я потеряла все чувства и теперь уже никого не смогу полюбить. Я бессильна. Я ничто. Он говорил, что я красива, поскольку ничего из себя не представляю. Самое важное и благородное, что я могу сделать, — это сохранить это состояние как можно дольше. Надо делать то, что хорошо умеешь, а не предаваться пустым фантазиям. Но это сложнее, чем кажется. Иногда я думаю, что хочу стать кем-то другим. Совершить что-то из ряда вон выходящее...

Я была полностью очарована царившей атмосферой, хотя и не до конца понимала, о чем говорила Ёнсу. Но когда мне пришлось в голову, что вряд ли она стала бы так рассказывать о том, чего сама не пережила, меня поразило: Ёнсу спала с мужчиной. Причем с мужчиной гораздо старше себя. Было странно думать, что я уже в том возрасте, когда могу спать с мужчинами. Это казалось одновременно романтичным и в то же время пугающе неприятным и далеким.

— Я погибла. Это конец. Полностью потеряна.

Ёнсу вела себя как женщина, пережившая нечто фатальное. Казалось, она повторяет реплики героини из какого-то старого фильма. Возможно, так и было. Вместо того чтобы

пойти плавать, мы медленно шли по прямой к морю — словно собирались покончить с собой. У Ёнсу хотя бы была причина для этого, а у меня нет. Во всяком случае, мы думали, что в этом есть что-то сакральное. Я все время пыталась подражать Ёнсу. Снова и снова пыталась воссоздать ее образ, и каждый раз ловила себя на мысли, что выгляжу нелепо. Я — всего лишь я. Словно взлетев на пять метров вверх, я наблюдала за нами со стороны.

Мы уже зашли в воду и тяжело продвигались вперед, когда вдруг увидели медузу и с испугом выскочили обратно на берег. Она не была прозрачной или блестящей, как те, что показывают в океанариуме. Плоский и темный силуэт больше походил на подгнившее желе. Если такая ужалил, то кожа будет испорчена навсегда. Медуза показалась нам забавной и даже рассмешила, но все же не избавила нас от уныния окончательно. Поэтому в ту ночь мы много пили сочжу, разговаривали обо всем на свете и плакали, пока не образовалась целая гора из мокрых бумажных салфеток.

В отличие от меня, Ёнсу не заботилась о том, как выглядит со стороны. Скорее казалось, будто она отчаянно держится за собственную безупречность, одновременно запирая себя в абсолютном неведении. Было в этом что-то нездоровое. Я смутно помню, как Ёнсу говорила, что если ее жизнь будет разрушена (мы часто представляли, как ломаем свои жизни), то виной тому будет только ее собственный характер. Есть такие слабости — бесконечно прекрасные, — на которые хочется смотреть снова и снова. Но почему эта странная и загадочная красота досталась двадцатилетней девушке? Глядя на Ёнсу, я подумала: мне нельзя жить, как она. Такая красота была не для меня.

Однажды мне довелось увидеть мать Ёнсу. Встретив ее в зале ожидания аэропорта, я удивилась, как молодо она выглядела. Сперва я даже приняла ее за старшую сестру Ёнсу.

Выглядела эта женщина как настоящая актриса, некогда блиставшая на экране, но теперь вынужденная играть роль матери в каком-то второсортном фильме. Роль явно не соответствовала ее таланту, который она, казалось, растрачивала впустую. Ее лицо — белое, худое, с поразительно пропорциональными чертами — словно выражало насмешку над своим положением: роль обычной матери двоих детей ее не устраивала. Хотя она и пыталась казаться холодной и отстраненной, ей с трудом удавалось скрыть досаду, свойственную человеку, долгое время о чем-то сожалеющему. Умная и талантливая женщина, которая вместо университета вышла замуж и родила детей.

Я фантазировала о семье Ёнсу. Представлялись очень красивые, похожие друг на друга женщины, связанные сложными отношениями любви и ненависти. Даже когда они были полны противоречивых чувств — презрения и ревности, — все вокруг них выглядело прекрасно. Есть такие люди, они намного привлекательнее большинства, но, что удивительно, именно из-за этого чаще всего и попадают в неприятности. Только они приспособятся к своей красоте, как та начинает меркнуть, оставляя лишь слабые отголоски. Увидев мать Ёнсу, я смогла лучше понять те стороны Ёнсу, которые ранее от меня ускользали.

Когда я поздоровалась, эта женщина взглянула на меня оценивающе. Она явно пыталась понять, стану ли я надежным спутником ее дочери в поездке или, напротив, окажусь коварным искусителем. Мы уже были взрослыми, и сама мысль о том, что она приехала провожать нас до самого аэропорта, казалась немного забавной. Поэтому я постаралась сделать все возможное, чтобы мать Ёнсу смогла убедиться в благонадежности моих намерений.

К счастью, мне это удалось. Любой, кто видел меня тогда, мог бы с уверенностью сказать, что меня ждет самая обыкновенная, спокойная жизнь. Так думали и мои родители. Никто не замечал моих амбиций. А я втайне мечтала разрушить свою жизнь так же, как это сделала Ёнсу. План был прост: жить как захочется и умереть где-то к тридцати.

В любом случае мать Ёнсу была вполне мной довольна. Я всегда хорошо училась и умела производить впечатление примерной девушки.

Той зимой мы с Ёнсу отправились в Париж как бэкпэкеры. Сейчас я даже не уверена, употребляется ли еще это слово. (Вернется ли когда-нибудь время путешествий с одним рюкзаком?) Все произошло настолько стремительно, что билеты на самолет пришлось покупать в спешке. Мы, разумеется, считали себя уже взрослыми, но финансово все еще зависели от родителей, поэтому пришлось обратиться к ним за помощью. Я составила детальный план путешествия на неделю, расписала предстоящие расходы и представила эти расчеты родителям. Они верили, что все будет в порядке, если заранее грамотно распланировать бюджет.

Это была наша первая с Ёнсу зарубежная поездка, и вместо рюкзаков мы взяли с собой по небольшому чемодану. Мы намеревались провести в Париже две недели, не выезжая за его пределы. Нам не хотелось перемещаться куда-то еще, к тому же средств было не так много. Просто побыть в Париже — разве этого недостаточно?

Жан-Пьер ждал нас в Париже. Он забронировал нам жилье и сообщил, что планирует остаться там на все зимние каникулы по своим особым “нуждам”. Когда он произнес это слово, он показался нам человеком из другой эпохи, и мы с Ёнсу несколько раз повторили его вслух, посмеиваясь.

В аэропорту имени Шарля де Голля мы пересели на RER, затем на метро и, когда, наконец, вышли на станции “Сен-Поль”, сразу увидели Жан-Пьера. Он стоял, как обычно, скрывая в кармане зажатый в кулаке заряженный револьвер, с абсолютно бесстрастным выражением лица. Он напоминал юношу — мужчину, все еще считающего себя молодым. Мы же были девушками, пытающимися вести себя как взрослые. Увидев, насколько мы устали, его безразличное выражение лица мгновенно сменилось теплой улыбкой. В Париже он выглядел еще моложе, почти как мы. Хотя нет, он, скорее, был похож на бедного иностранного студента, а мы с Ёнсу — на изможденных беженцев.

Жан-Пьер сразу предложил отправиться в забронированное жилье и стал показывать дорогу. Мы с Ёнсу, словно дети, идущие на зов волшебной дудочки, последовали за ним в узкий переулок, не отрывая глаз от его бежевого пальто. Меня удивило, что в январе Жан-Пьер был одет в то же самое пальто, что и в сентябре. Что ж, видимо, таков парижский стиль жизни.

Мы прибыли в скромный, но опрятный отель, больше напоминавший гестхаус. Я не помню точное название, но это было что-то начинающееся на Sa, хотя определенно не Saint¹. Жан-Пьер обменялся парой фраз с сотрудником отеля у небольшой стойки администратора, которую видишь сразу, как только открываешь дверь. Я оглядела крохотный холл, думая о том, как давно Жан-Пьер уже говорит на французском.

Лифт оказался на ремонте. Он был настолько миниатюрным, что вмещал лишь одного человека и выглядел в точности как в фильме, который мы когда-то смотрели. Именно тогда я ощутила: наше путешествие началось.

Сотрудник провел нас к номеру в самом конце коридора на третьем этаже. Отворив дверь, мы увидели маленькую, но изысканную комнатку. Я часто представляла, что если когда-нибудь буду жить одна, то именно в таком месте. Перед нами была мансарда с просторным окном, у стены стояла простая, но уютная кровать. Весь интерьер напоминал мне комнату героини из “Энн из ‘Зеленых крыш’”. Окно выходило на ожив-

1. Святой (фр.). (Прим. перев.)

ленную улицу, и в комнату сочился багряный свет закатного солнца.

Мы с Ёнсу застенчиво улыбались, словно робкие дети. Похоже, ей комната тоже пришлась по душе. Обменявшись взглядами, мы безмолвно согласились, что все складывается удачно. Однако лицо Жан-Пьера вдруг стало серьезным и напряженным, будто он столкнулся с неожиданной проблемой. Выйдя из номера, он долго беседовал с сотрудником отеля.

Прождав его некоторое время и не понимая, что происходит, мы устали еще больше. Нас все устраивало, и не хотелось никаких проблем. Не знаю, думала ли Ёнсу так же, но в тот момент она взяла меня за руку.

— Давайте посмотрим другой отель, — внезапно сказал Жан-Пьер таким голосом, будто принял какое-то важное решение.

Он резко развернулся и быстрым шагом направился к лестнице. Мы с Ёнсу были сбиты с толку и посмотрели на работника отеля, который лишь растерянно пожал плечами и последовал вниз за бормочущим Жан-Пьером.

Громко и недовольно сопя, Жан-Пьер вышел на улицу. Было странно видеть его таким взвинченным, и мы не могли скрыть наше разочарование оттого, что упустили столь милую комнатку. Выслушав его объяснения, мы поняли, в чем дело: он бронировал номер с двумя односпальными кроватями, а нас привели в комнату с одной двуспальной. Оказалось, что номеров с раздельными кроватями в отеле просто не было. Мы были удивлены, услышав это объяснение, ведь нам было все равно, как спать.

— Все в порядке. Мы можем спать вместе.

— Да, нам это не доставит неудобств...

Заверив его, что нам это не важно, мы, изможденно улыбаясь, предложили вернуться в первый отель.

— Здесь в округе много отелей, давайте еще поищем, — решительно отрезал Жан-Пьер, категорически покачав головой.

Однако ни в следующем, ни в третьем отеле не нашлось номеров с двумя одноместными кроватями. В итоге после долгих блужданий мы обнаружили подходящую комнату в хостеле, которого даже не было в путеводителе.

Весь вечер мы бродили с Жан-Пьером по незнакомым улочкам. Именно тогда до меня дошло, что он помнил мои слова о Ёнсу, сказанные в последний день учебы. Более того, Жан-Пьер, похоже, уловил мое мимолетное влечение то ли к ней, то ли к нему самому. Я мучительно копалась в обрывках воспоминаний и наконец поняла, что он отчетливо помнит

тот вечер и воспринимает Ёнсу прежде всего как женщину. Мне стало очень не по себе. Намерения Жан-Пьера были очевидны, но желания Ёнсу оставались загадкой. Появилось чувство, что в этой поездке у меня будет роль, которая меня не устроит.

Хостел, в котором мы остановились, был чистым, но выглядел довольно мрачно. Мелькнула даже мысль, что это заведение существует со времен Средневековья. Ночью, при тусклом освещении, он напоминал женский монастырь, а днем — тюрьму или колонию, куда едва проникал солнечный свет. Единственное окно было с восточной стороны, так что, когда мы вставали, солнца уже давно не было видно. Тем не менее здесь имелись две односпальные кровати, что полностью устраивало Жан-Пьера. С мрачными лицами мы заняли спальные места. Жан-Пьер, засунув руки в карманы, на мгновение замолчал, а затем кивнул в сторону выхода, словно приглашая нас на прогулку.

Ночь окутала город, большинство магазинов уже закрылось, лишь несколько кафе продолжали работать. Следуя за Жан-Пьером, мы дошли до Парижской мэрии и Центра Помпиду. На окнах однотипных домов мелькали объявления о распродаже. Атмосфера не впечатляла. Париж как Париж. Хотя я была поражена увиденным, но не хотела выглядеть наивной простушкой, поэтому сохраняла слегка надменное выражение лица. Жан-Пьер бросил на меня грустный взгляд, но промолчал.

По противоположной стороне улицы прошла шумная компания — я гадала, местные ли это или такие же туристы, как мы. И только тогда вспомнила, что сегодня суббота. Несмотря на свои планы на вечер, Жан-Пьер повел нас в ресторан, настояв на том, чтобы мы выпили хотя бы по бокалу. Понимая, что сегодня мне нельзя терять контроль, я сделала несколько больших глотков воды.

Это был первый раз, когда мы сидели втроем. Разговор не клеился, поэтому мы просто слушали музыку и смотрели на стоявшие перед нами бокалы с шампанским. Мы с Ёнсу пробовали шампанское впервые, но почему-то только мне стало нехорошо, и я периодически убегала в туалет на цокольном этаже. Один раз, притворившись, что иду в уборную, я остановилась на середине лестницы и украдкой взглянула на наш столик. Мне хотелось проверить, не лежит ли рука Жан-Пьера на колене или бедре Ёнсу. Но они просто сидели и молча смотрели в окно. Глядя на них со стороны, я вдруг почувствовала легкий укол зависти и начала гадать, куда направлены их взгляды.

Когда я вернулась, Ёнсу поднялась, сказав, что тоже пойдет в туалет. Я запаниковала, поняв, что останусь наедине с Жан-Пьером, но мне ничего не оставалось, кроме как улыбнуться и кивнуть в ответ. Улыбаться — это единственное, что у меня хорошо получалось весь вечер. Я рассеянно уставилась в окно, куда до этого смотрела Ёнсу. Пока я размышляла о возрасте здания напротив — может, тринадцатый или шестнадцатый век? — Жан-Пьер неожиданно спросил, чем бы я хотела заниматься в будущем.

Фраза “я хочу жить, как вы” пронеслась у меня перед глазами, будто строка на телесуфлере, но, посчитав такой ответ неуместным, я замешкалась, подбирая другие слова. Словно и не ожидая от меня иного, он улыбнулся глуповато и неловко — точно так же, как я сама улыбалась весь вечер. Момент для ответа был упущен, и я тоже улыбнулась, машинально копируя его.

— Это что? — спросил он со скупающим видом, взглянув на мою грудь.

Я опустила взгляд на свою футболку. Там были нарисованы По и Дипси. Дипси мне нравился давно, еще до десятого класса я нарисовала четырехсерийный комикс с ним в главной роли. Это были истории, в которых По и Дипси с ехидными рожицами и морщинками от улыбок, как у персонажей “Бивиса и Баттхеда”, вели, на первый взгляд, бессмысленные (а на самом деле язвительные) разговоры. Эту футболку я нарисовала сама. Не веря, что надела ее даже в Париж, я растерялась и ничего не смогла ответить.

— Серьезно? Вы же одного возраста... — пробормотал Жан-Пьер себе под нос.

Поняв, что он имел в виду, я перевела взгляд со стола на окно, затем на улицу и на средневековое здание. Нахлынувшее смущение не проходило, и я уставилась на хозяина магазинчика через дорогу, который в это время подметал тротуар. Следя за движениями его рук, я как будто сужала угол зрения, пытаюсь прийти в себя.

По правде говоря, под изображением Дипси скрывалась моя грудь. Порой я разглядывала свое обнаженное тело в зеркале. Со временем грудь начала казаться мне слишком привлекательной, и я воспринимала как настоящую трагедию тот факт, что никому не могу ее показать. Я имею в виду, что под По и Дипси таилось нечто большее. К счастью, мне не пришлось в голову озвучить эти мысли. Лишь позже я сообразила, что вся проблема была в футболке, и, смутившись, неловко сгорбилась и выдавила улыбку, которая не была ни милой, ни забавной.

Наконец Ёнсу, стуча каблучками, вернулась к нам, и мое дурное настроение постепенно улетучилось. Только теперь я заметила, что Ёнсу переобулась из кроссовок в туфли.

Первую половину путешествия мы провели вместе с Ёнсу, ни разу не поссорившись. Больше всего нам хотелось верить, что в этой поездке мы обретем своего рода надежду — на нашу дружбу или на наше будущее. Мы бродили по городу в поисках чего-то, что могло бы удержать нас, дать опору — среди избытка времени и мучительного желания обрести хоть какой-то смысл. Куда бы я ни посмотрела, все было ново, и от этого кружилась голова. В такие моменты мы обычно шли в кино или театр, позволяя времени течь своим чередом. Однажды мы случайно наткнулась на небольшой кинотеатр, куда в молодости часто приходили режиссеры французской новой волны, такие как Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. До сих пор удивительно, как я вообще узнала это место.

Рядом с кинотеатром располагался небольшой книжный магазин с книгами по искусству. Похоже, все, кто ждал начала сеанса, зашли внутрь, чтобы скоротать время. Размышляя о том, что пора бы начать учить французский, я взяла с полки и повертела в руках несколько книг. Куда-то исчезнувшая Ёнсу внезапно возникла передо мной, размахивая каким-то фотоальбомом. Присмотревшись, я разглядела мужские гениталии, снятые в контровом свете. Я с отвращением посмотрела на нее, а она абсолютно серьезно спросила:

— Разве не мило?

Это было совсем не мило. Она что, с ума сошла? Я забрала книгу у Ёнсу и вернула ее на полку, стараясь не касаться неприятной картинки на обложке, словно та могла заразить меня каким-нибудь вирусом. Ёнсу звонко рассмеялась, как ребенок, не способный сдержать смех. Я посмотрела на нее с жалостью — так, как обычно она смотрела на меня.

Мы уже собирались войти в кинотеатр, когда, оглядевшись, поняли, что почти все остальные зрители были седыми (будто я попала в страну стариков). Войдя внутрь и ища свои места, мы вдруг заметили, что все присутствующие смотрят на нас. Будто увидев что-то небывалое, они поворачивали свои белые головы нам вслед и удивленно провожали нас глазами. Возможно потому, что мы были единственными азиатками и выглядели слишком молодо. К тому же фильм оказался жестким артхаусом: все экранное время немолодой профессор излагал идеалистические представления об искусстве (на свой лад). Мы не поняли ни слова, но смогли живо вообразить похождения профессора. У него было бесчисленное количество возлюбленных, а в финале его убивает моло-

дая любовница, ненадолго появлявшаяся в самом начале фильма. У меня появилось странное чувство, будто он сни-скал смерть в обмен на любовь к кому-то гораздо моложе и красивее себя. Это была скорее индульгенция, нежели трагическая гибель. Его изобразили жертвой — самой возвышенной и благородной из всех возможных.

Спустя несколько дней мы вновь встретились с Жан-Пьером и рассказали о фильме, который нам удалось посмотреть. Он на мгновение задумался и затем похвалил нас за хороший выбор. Казалось, он решил, что это Ёнсу предложила посмотреть этот фильм. Весь вечер я искала подходящий момент, чтобы сказать, что это не так, что фильм выбрала я, но так и не смогла этого сделать. Я уже никогда не смогу избавиться от имиджа Дипси и навсегда останусь им в памяти Жан-Пьера. И он никогда не узнает, что на самом деле скрывается за этим образом.

В один из дней я поняла, что ставлю будильник, рано просыпаюсь и целыми днями посещаю художественные галереи и музеи, в то время как Ёнсу не строит никаких планов. Иногда она вставала утром и спускалась на завтрак, но чаще всего просыпалась уже после обеда, исчезала на целый день и возвращалась в отель за полночь. Когда она приходила ночью, от нее пахло спиртным. Мне было жаль ее. Ёнсу смотрела на мой путеводитель, в котором я старательно помечала интересные места, и тяжело вздыхала. Такое случалось лишь во время наших редких встреч, ведь большую часть времени я просто ждала Ёнсу и в итоге засыпала на этой старой тюремной кровати. Я всегда оставляла свет включенным. Мне казалось, если так делать, Ёнсу будет чувствовать себя немного виноватой. *Я ждала тебя. Ждала, что ты вернешься. Я спутник, одобренный твоей мамой. Ты должна была закончить свои дела, вернуться и поговорить со мной.* Таков был мой молчаливый протест.

Тогда я убедилась, что Ёнсу видится с Жан-Пьером. Если она ненавидит Годара, то зачем встречается с Жан-Пьером? Я не могла этого понять, не хотела, и в то же время все было предельно ясно.

Иногда она казалась радостной, иногда — растерянной. Но чаще всего — и той и другой одновременно.

— Немного прошлась... побродила по блошиному рынку в парке... и зашла в клуб в районе Пигаль, — так, запинаясь, рассказывала мне пьяная Ёнсу, когда однажды я попыталась узнать, чем она сегодня занималась.

Говоря о своем распорядке, она, казалось, описывает чье-то чужое путешествие. В путеводителе Пигаль значился как

опасный район, где собирались сомнительные личности — “бандиты, бездомные, проститутки и наркоманы”. Мы спим в одинаковых кроватях, так почему же, пока я жду твоего возвращения, ты, словно тот профессор из фильма, беспечно бродишь по ночным улицам Парижа?

Я, как монашка или ревнивый возлюбленный, изводила ее допросами, но Ёнсу не придумывала никаких оправданий. Она взглянула на меня так, будто ее распирало от желания все рассказать, но в итоге лишь слегка надула губки, как делают француженки (где она этому научилась?), и, махнув рукой, словно ничего не может с этим поделать, снова погрузилась в себя. В те дни ее то переполняло радостное волнение, то на нее накатывали необъяснимые душевные терзания.

— А что бы ты сказала, если бы я начала встречаться с Филиппом?

— С кем?

— Это настоящее французское имя Жан-Пьера.

— Филипп?

Ёнсу смотрела на меня с едва сдерживаемым смехом. Заметив мое равнодушие, она, смутившись, упала на кровать и потянулась. Несмотря на ее довольный вид, я почувствовала что-то неладное.

— Хан Ёнсу! Тебе не кажется, что все это — полное дерьмо?

— Что?

— Вся эта ситуация. Что подумает твоя мама, если узнает?

— Не понимаю...

— Ты для этого со мной приехала?

— М-м-м...

— Ты все заранее спланировала, я тебя спрашиваю?

— Спланировала? Что ты несешь?

— Это не замечала, что ли?!

Я резко ударила по выключателю настольной лампы. Комнату залил желтоватый свет, отбрасывая причудливые тени на стены. От удара лампа чуть не упала на пол.

— Где ты все время пропадаешь? Разве не знаешь, что я жду тебя каждый вечер? Что именно поэтому оставляю включенный свет?

Мы должны были обсудить это раньше. Теперь было слишком поздно. Ёнсу резко поднялась. Она бросила на меня гневный взгляд, словно хотела что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Она принялась ходить по комнате, пытаясь совладать с собой.

— Забыла, что мы договорились вместе покататься на тепलोходе? — спросила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. — Ты меня слышишь?

Ёнсу поджала губы и едва заметно кивнула. В этот момент мы обе ощутили, как между нами что-то изменилось. Теперь мы уже не сможем быть откровенными друг с другом. Нет, даже хуже — нам будет тяжело просто находиться рядом. Нужно было до конца поездки притворяться, что я ничего не замечаю. Нужно было дать нашим отношениям угаснуть естественно, чтобы красиво завершить эту историю. Однако я решила быть смелой, словно имела право что-то от Ёнсу требовать.

— Он тебе так нравится? Так сильно? — спросила я, хотя ответ был очевиден.

— Хватит. Прекрати, пожалуйста, — ответила Ёнсу холодно, с едва уловимой насмешкой. Она подошла к старому плетеному креслу у окна, опустилась в него и закрыла глаза. Я так хотела, чтобы она меня утешила, мечтала разрешить все наши разногласия. Я хотела вернуть себе прежнюю Ёнсу и поделиться с ней нелепой историей, приключившейся со мной на Елисейских Полях.

В тот день я сидела на небольшой площади и ела сэндвич, когда ко мне подошел какой-то старик и предложил стать его другом. Поначалу его потрепанная одежда и неприятное выражение лица оттолкнули меня, но одиночество в Париже заставило согласиться. Мы сделали лишь пару шагов, когда старикан вдруг заявил, что друзья должны держаться за руки, и, схватив мою ладонь, расплылся в довольной улыбке. Пока какая-то женщина не пришла на помощь, я прошла десятки метров по Елисейским Полям, держась за руку с этим стариком и ловя на себе любопытные взгляды прохожих. Как можно быть такой наивной? Вернувшись в отель, я долго не могла унять от злости на себя.

Женщина, выручившая меня, оказалась перекупщицей, которая использовала корейских туристов для покупки предметов роскоши. Она потребовала, чтобы я зашла в ближайший магазин “Louis Vuitton” и купила вместо нее дорогую сумку. Если бы Ёнсу не оставила меня одну, ничего бы этого не произошло.

Вспоминая дневные события, я снова ощутила обиду и уже собиралась обвинить Ёнсу, как она внезапно встала и широкими шагами подошла ко мне. Я замерла, а она сердито оглядела меня сверху донизу, задержав взгляд на моей футболке.

— По и Дипси, Дипси и По... — произнесла Ёнсу с легким презрением. — Кажется, ты не понимаешь... чтобы заполучить желаемое, надо прилагать усилия, а чтобы быть любимым, надо отдавать всего себя!

Пытаясь извлечь из памяти эти старые воспоминания, я думала, что ничего особенного тогда и не произошло. Словно

тихая улица ранним утром. Словно идешь по дороге, вдыхая кристально чистый воздух. Может, я просто хочу верить, что многие события никогда не случались? Нотр-Дам не сгорел, паром “Севоль” не затонул, земля не загрязнена радиацией Фукусимы, а у арктических льдов, как и у моей жизни, все еще есть надежда на спасение. Это было задолго до определяющих мою судьбу событий и тех ошибок, которые теперь уже невозможно исправить.

Был такой случай в Париже, в одну из тех редких ночей, что мы провели вместе. Это даже не полноценное воспоминание, а лишь черно-белая картинка, стоящая перед глазами. Размытое изображение с приглушенной яркостью. Мы сидим вдвоем в темном кафе, подперев руками подбородки. Юные девушки. Особенно Ёнсу — она выглядела еще моложе и невиннее, чем я ее помнила. Тогда я еще писала стихи, и вдруг поняла, что сижу в точности так же, как Рембо на одном наброске, который я когда-то видела. (Я ощутила странное удовлетворение.) Эти две девушки и представить не могли, что впереди их ждет еще более длинный жизненный путь, чем тот, который они уже прошли. Мы тихо сидели, прикрыв глаза, слушали музыку, погружаясь в абсолютную безмятежность и желая, чтобы это мгновение длилось вечно.

В тот день мы с Ёнсу впервые попробовали курить. Сделав всего по одной затяжке, мы сильно закашлялись. Раньше я и не подозревала, что даже сигареты нужно курить правильно. Это было время, когда нам еще предстояло узнать так много. Я не знала абсолютно ничего даже о самых элементарных вещах, необходимых для нормальной жизни. Совершенно ничего.

Когда мы вышли на улицу и закурили вдвоем одну сигарету, какой-то француз, проходивший мимо, сказал нам “ни-хао”, а мы, вместо того чтобы обидеться, поздоровались с ним по-корейски.

Я ожидала, что он просто пройдет мимо, но он неожиданно вернулся и на ломаном английском попросил зажигалку. Он был довольно молод и симпатичен, так что мы слегка разволновались, давая ему прикурить. Затягиваясь, он спросил, как нас зовут и сколько нам лет. Январь уже подходил к концу, так что по корейскому исчислению нам было двадцать два года. Неужели уже двадцать два? Как стремительно летит время. Разве может такое быть? Мы с Ёнсу родились в декабре, поэтому, можно считать, что меньше чем через месяц после рождения нам уже исполнилось по два года, если считать по-корейски. Но, к счастью, мы находились в Европе, поэтому назвали ему только наш “международный” возраст. Здесь я

была на два года моложе, чем в Корее, но все равно испытывала смущение, считая себя уже старой. Нам было двадцать лет. Всего лишь двадцать — возраст, когда невозможно устоять перед соблазнами.

За расплывчатыми образами кафе и сигарет всплывает другое, более четкое воспоминание.

Эту сцену можно увидеть почти в каждом фильме: две женщины идут по улице. Их замечает главный герой — мужчина. Одна из них, как правило, та, которую играет более известная актриса, влюбляется в главного героя, а вторая остается одна. Когда я была с Ёнсу, роль второй женщины всегда доставалась мне. Женщина, обретающая любовь, и женщина, остающаяся в одиночестве, — на эти два типа, кажется, делится женский пол во всем мире.

Это озарение явилось мне, когда я сидела в нью-йоркском Линкольн-центре. В тот день после языковых курсов я впервые пошла на корейский фильм. Картина полностью захватила меня — я наконец услышала родную речь. На экране две подруги неспешно прогуливались по пляжу, как вдруг появился мужчина. На протяжении всего фильма он упорно пытался завоевать сердце той, что была красивее. Там, где зарождается любовь, всегда есть свидетели.

Я не могла сосредоточиться на сюжете, постоянно думая о девушке, ставшей невольным очевидцем. Потраченная жизнь. Большую часть своей жизни я была свидетелем, поэтому мне хотелось знать, что героиня будет делать дальше. Как она распорядится своим временем, после того как ее подруга нашла себе мужчину? Обычная жизнь, призванная лишь оттенить исключительную судьбу главной героини.

После показа фильма состоялась беседа с режиссером. Он восседал на ярко освещенной сцене настолько далеко от меня, что казался нереальным. Свет был таким ярким, что даже не было видно его лица. Режиссер свободно изъяснялся по-английски, а рядом с ним сидела его молодая и привлекательная спутница. (Было ли ее присутствие свидетельством его стремления вернуться в прошлое или же наградой за ее усилия завоевать его сердце? А может, и то и другое?)

Все в зале относились к нему с глубоким почтением. А я, сидя на галерке второго этажа, постепенно приходила к мысли, что никогда не смогу прожить такую жизнь, как он. Кому-то достается путь, устланный розами, а кому-то — дорога, полная камней. Казалось, эту истину знали все, кроме меня. Я медленно поднялась и покинула зал.

Как и в Париже, в Нью-Йорке я при любой возможности ходила по музеям — словно надеялась сделать хоть что-то, что

сможет меня спасти. Деньги, выданные родителями по моей просьбе, давно закончились, а мой английский так и не улучшился за последние три года. Мне уже за тридцать. И все же, как ни странно, я до сих пор жива.

Я ошиблась в предсказаниях своего будущего и будущего Жан-Пьера. Когда я случайно наткнулась на его имя в интернете, на мгновение мне даже пришло в голову, что он, возможно, умер. Узнав, что это не так, я почувствовала легкое разочарование. Я не желала ему смерти, но почему-то казалось, что такой трагический и романтический финал подошел бы ему больше. Вопреки моим ожиданиям, он не свел счета с жизнью и не угодил в психиатрическую больницу. Напротив — он добился успеха и стал штатным профессором. Оказалось, такие вещи, как любовь, были не в силах его сломить.

Судя по ленте его твиттера, Жан-Пьер все еще питал слабость к молодым девушкам. Все происходило так же, как когда-то с Ёнсу. Его обвиняли в том, что на вечеринках он позволял себе вольности с юными ученицами, кладя руки им на бедра и плечи. Поговаривали, что, подвыпив, он распускал руки, целовал девушек и даже являлся прямо к ним домой. Это происходило не с одной, а как минимум с четырьмя его студентками. В итоге одна из них вызвала полицию, завязалась потасовка, и история вышла наружу.

Жан-Пьер также назначил одну свою “фаворитку” личным помощником — хотя она этого вовсе не просила, — незаконно сместив с этой должности другого сотрудника. Когда до меня дошло, что героем этих слухов действительно был Жан-Пьер, мне стало жаль его, но, с другой стороны, я ощутила проблеск надежды: теперь всем станет ясно, насколько отвратительно он себя вел. По крайней мере, тем, кто, как и я, знал его лично. (Я была свидетелем того, как людское безразличие порождает все беды.)

Несмотря на шумиху в твиттере, в реальной жизни о нем говорили только хорошее. У него было много друзей. Они рассказывали о том, каким прекрасным и заботливым преподавателем он был, каким активным и уважаемым человеком, и те заявления (революционные и высокоинтеллектуальные), которые он делал в двадцать с небольшим, уже стали легендарными и вошли в историю. И как это часто бывает, нашлись те, кто считал, что слухи о Жан-Пьере распускаются намеренно.

Так или иначе, несмотря на все обвинения, оправдания, споры и подозрения, его жизнь оставалась стабильной. Он многого достиг: преподавал в университете, имел детей, а жена после всего пережитого его не оставила. Последователей у

него по-прежнему хватало. Когда-то он бросал вызов системе, а теперь система приняла его, встроила в себя и начала работать на него.

Один французский антрополог сказал: “Человеку уготована трагическая участь — жить с вечно молодой душой, невзирая на возраст. Человек слаб и пребывает в иллюзии, что в любом возрасте имеет право на любовь”. Я невольно возвращалась мыслями к фразе Жан-Пьера — к тому неверному суждению о самом паршивом времени нашей жизни. Неуместное предостережение. Меня одолевало желание исправить фразу, которую когда-то он прочел нам на занятиях. По иронии судьбы, произнося ее, он добавил слова, перевернувшие весь смысл. Это была цитата из песни, и я до сих пор храню ее в памяти: “Запомните, никогда не становитесь похожими на тех, кого сами когда-то презирали”.

Около года назад после долгого перерыва я вновь встретила Ёнсу. Тогда я все еще ходила на свою ничемную работу — настолько незначительную, что я даже не стала уточнять, чем занимаюсь. Да она и не спрашивала. Сама Ёнсу выглядела неважно — изможденная, словно увядший листок на исходе лета. И все же она оставалась прекрасной. Все мы в той или иной степени терпим лишения на протяжении всей жизни.

Она только что рассталась с мужем и призналась, что впервые после окончания школы уже больше года ни с кем не встречается. Сказала, что больше никогда не выйдет замуж, и повторила это еще несколько раз в течение разговора. О ее бывшем супруге, казавшемся со стороны идеальным, я узнала неожиданное: он настаивал, чтобы она увеличила грудь. Услышав это впервые, я не переставала повторять, какой же он мерзавец, ведь я и представить себе не могла подобного.

Возможно, это было последствием развода, но она, смущаясь, сказала, что собирается какое-то время отдохнуть от работы и попробовать себя в литературе.

— Я хожу в культурный центр, там есть курс литературного мастерства. Забавно, правда? — сказала она с легкой улыбкой.

Сначала я удивилась ее словам, а затем — своей реакции. Все это время я не подозревала, что Ёнсу, как и я, давно мечтала о том, чтобы писать.

Мы вышли на улицу и немного прошли. Район, где жила Ёнсу, всегда славился тишиной и спокойствием, но в последнее время здесь появилось множество уютных кафе, книжных магазинов и пекарен. Мы шли, наблюдая за людьми, увлеченно делающими селфи, и искали, где бы посидеть за чашкой чая. Теперь мы предпочитали чай алкоголю. Допивая вторую чашку, Ёнсу задумчиво произнесла:

— Представь, что у тебя есть особый дар. Даже если ты сомневаешься в его существовании, он есть. И тебя преследует навязчивая идея, что его обязательно нужно использовать, но вместе с тем растет тревога: а вдруг именно он тебя и погубит? Это может показаться тупиком, но иного пути нет... Долгое время я думала, что на нашу семью наложено какое-то проклятие. Все нам завидуют, ведь мы можем выбрать что угодно, но почему-то всегда выбираем наихудший вариант.

Ёнсу вздохнула, но не тяжело, а будто с облегчением, и продолжала:

— Когда я развелась и начала проводить больше времени наедине с собой, то поняла, что хочу меняться. Сначала понемногу. А потом вдруг это желание стало совершенно неконтролируемым. И внезапно до меня дошло, что все это было не даром, а ловушкой. Иллюзией, которая вскружила мне голову, чтобы в итоге поглотить целиком. Все оказалось фальшивкой. Абсолютно все.

Теперь я понимала Ёнсу. Я ничего не сказала, только кивнула, позволяя ей говорить дальше. Она продолжала. А я, чтобы не мешать, отвернулась, уставившись мимо нее, поверх плеча. На старом ковре солнечные блики сбились в кучу, сверкая, как мелкая галька на берегу.

— В последнее время я чувствую себя дома так хорошо. Рядом никого нет, да и делать ничего не нужно. Такое ощущение, будто я одна в бескрайнем океане, и именно это чувство снова делает меня счастливой.

Не помню, в этот ли день или на следующий, но мы снова заговорили о Жан-Пьере. О его нынешнем положении. О его репутации и недавно разгоревшемся очередном скандале. О том, как изменилось и иссякло то, что раньше мы так ценили. Остались лишь осколки. Теперь ни фильмы, ни его напыщенные речи уже не оказывали на меня прежнего влияния.

— А он действительно был похож на медузу, — сказала Ёнсу.

Мы одновременно хихикнули. Это было странно. Иногда казалось, что все это случилось сотни лет назад, а иногда — будто прошла всего пара месяцев.

— Тогда Жан-Пьеру было столько же, сколько нам сейчас.

— Совсем молодой.

— Ага, хотя нам казался таким взрослым.

— Точно.

— Смешно вспоминать, как парни им восхищались.

— Среди приверженцев Годара нет людей без изъяна, — сказала я.

Мы улыбнулись друг другу; глаза Ёнсу превратились в милые полумесяцы. Вокруг них на мгновение проявились и тут

же исчезли тонкие морщинки, которых раньше не было. За ее красивым лицом скрывалось нечто большее. Что я вообще знаю о Ёнсу?

— Да не было в нем ничего особенного, — бросила Ёнсу, взяв со стола салфетку. Она начала рвать ее, как будто срезала кожуру с яблока — длинной, непрерывной лентой, от края к центру. Я молча наблюдала за ее движениями, всем сердцем желая, чтобы она добралась до самого конца, не оборвав ни единого кусочка.

Мы вышли на улицу и некоторое время шли молча и понуро, будто не спали всю ночь и сейчас возвращались домой с шумной вечеринки. Я размышляла о своем потерянном десятилетии. Чем я занималась все эти годы?

До отправления последнего поезда метро оставалось еще много времени, и мы решили заглянуть в букинистический. Мы договорились выбрать друг дружке по книге, поэтому разделились и около получаса бродили по магазину. Мне на ум пришел французский роман, который, кажется, назывался “Моему другу, которого я не смогла спасти”. Я попыталась его найти, но безуспешно. Почему-то разволновавшись, я быстро пробежала глазами по книжным полкам и заметила знакомое название на тонком сборнике стихов. Предложения были выстроены причудливо и выглядели неестественно. Совершенно не впечатляюще. Пока я листала страницы, мое внимание привлекла аннотация на обложке: “Он заразился ‘испанкой’, бушующей в то время в Париже... и умер в возрасте тридцати семи лет”.

Я долго вглядывалась в эту фразу, будто в ней таился какой-то скрытый смысл. Вернувшись к началу, я поняла, что поэт на самом деле умер в тридцать восемь лет. Дата его смерти приходилась на ноябрь, когда ему уже исполнилось тридцать восемь. Однако на обложке книги возраст почему-то был указан неверно.

Поэт, скончавшийся век назад в Париже, и ошибочная дата.

Порой кажется, что все истории мира отражаются в моей личной жизни.

Я полистала книгу еще немного и в итоге поставила ее в угол самой нижней полки, где вряд ли кто-нибудь сможет ее найти. Надеюсь, она навсегда там затеряется. Надеюсь, больше ничто не сможет так сильно на меня повлиять.

Ёнсу выбрала для меня роман английского автора. Один из его героев произносил замечательные слова, подчеркнутые в книге зеленым маркером: “...Существует два типа женщин: обыкновенные и непостижимые. Это первое, на что

мужчина обращает внимание, и первое, что очаровывает его или отталкивает”.

Их этих двух я определенно была обыкновенной женщиной. Той, кто хотел знать все — от начала и до конца. Тщательно изучив путеводитель, я непременно должна была посетить интересующие меня места, и неважно, разочаруюсь я в итоге или нет. Ёнсу же принадлежала к непостижимым. Она была женщиной с врожденной способностью быть загадочной. Когда я обронила эти слова возле кассы, Ёнсу лишь безразлично спросила: “Думаешь?” — и снова погрузилась в свои мысли.

Однако через несколько дней я получила от нее сообщение:

Мы станем женщинами, хранящими истории.

Все, что мы пережили, обретет форму слов.

Я верю, это непременно случится.

Я посмотрела на разбитый уличный фонарь. Если долго вглядываться, начинало казаться, будто в нем действительно мерцает свет. Запрокинув голову, я пристально в него всматривалась. Фонарь был разбит, но свет слабыми вспышками пробивался сквозь трещины. Даже с поврежденным плафоном он будет светить, пока не перегорит лампочка. Я какое-то время наблюдала за ним, а потом, ощутив усталость, направилась обратно в офис — в место, где мне никто не рад. В систему, которая не смогла меня поработить.

Шел второй час дня, и я решила поспешить.

Войдя через заднюю дверь, я заметила в пустом вестибюле женский силуэт. Девушка стояла одна, будто кого-то ждала, нервно переминаясь с ноги на ногу. В руках у нее был букет мелких полевых цветов. Я подумала, что это и есть та самая возлюбленная Жан-Пьера, которую “легко влюбить”, поэтому замедлила шаг и направилась к ней. Ее лицо казалось безупречным, будто обработанным в фотошопе. Она выглядела ровно на двадцать, не больше. Ребенок. Да, ее нужно спасти.

Моя поездка в Париж, кажется, не закончилась. Она продолжается вне времени и пространства, которые я давно перестала ощущать. Бесконечные вечера и ночи, в которых мы с Ёнсу навсегда остались двадцатилетними, зачарованными взрослым мужчиной, которого по наивности воспринимаем как своего ровесника. Я все еще живу в той личной трагедии.

Решившись, я направилась к девушке, чтобы предостеречь ее от пустых обещаний взрослых, состоявшихся мужчин.

Заметив меня, она напряглась, выпрямилась и замерла, перестав переступать с ноги на ногу. Я приближалась, подбирая нужные слова, но не могла сократить свою речь до пары внятных фраз. Я то замедляла шаг, то снова шла вперед, то оставалась на месте. Со стороны я, должно быть, выглядела странно.

Когда я почти решилась подойти, мимо пронесся легкий аромат цитрусового мыла. Его обладатель уверенно прошел мимо меня прямо к девушке. Цитрусовый запах окутал руки, держащие полевые цветы. Еще недавно настороженный взгляд девушки с цветами предупреждал меня держаться подальше, но теперь она, казалось, совершенно забыла о моем существовании.

Цитрус и полевые цветы вместе двинулись вниз по лестнице к фонтану во дворе лаборатории.

Я осталась стоять, словно отвергнутая, безучастно глядя им вслед. Два силуэта постепенно удалялись, превращаясь в крошечную точку, а затем, свернув за угол... исчезли навсегда.



Продам костюм Супермена

Рассказ

Перевод с корейского

ЕКАТЕРИНЫ ПОХОЛКОВОЙ И ДАРЬИ МАВЛЕЕВОЙ

Ночь. 2:18

СНИМАЮ трусы. Раздевшись догола, нехотя поднимаю с пола синее трико. Все как всегда: сперва левую ногу, потом — правую. Чувствую, как вверх от ступней побежала энергия. Впрочем, эта энергия мне теперь ни к чему. Что в ней проку? Мощные икры, бугры мышц на ягодицах... Все это нелепо и только мешает, как мужчине-импотенту большой член. Стальные сухожилия на лодыжках — и топором не перерубишь, каменные икры — к чему, зачем мне все это? Следом за трико надеваю такую же обтягивающую кофту. Проще говоря — футболку с длинным рукавом. И вот уже вздулись мускулы торса. Плечи раздалились, живот исчез, выгляжу нелепо, как равносторонний треугольник, все это вызывает только досаду. И еще дурацкая английская S на груди.

Покончив с трико и футболкой, поднимаю с пола ярко-красные плавки. Натягиваю поверх штанов, что само по себе

© KANG BYOUNG YOONG

© ЕКАТЕРИНА ПОХОЛКОВА, ДАРЬЯ МАВЛЕЕВА. Перевод, 2025

Переводчики выражают благодарность Дмитрию Михайловичу Бузаджи за помощь в поиске переводческих решений.

нелогично. Смотрюсь в зеркало. Ну и вид: обтянутый, как ливерная колбаса, качок в малиновых труселях! Тут взгляд падает на еще один “аксессуар” — ярко-красные сапоги. От одного вида трясет! А на полу вдобавок такой же алый плащ — и его тоже надо?! Ладно, в последний раз. Завязываю плащ, и тело приобретает необыкновенную легкость. Кажется, вот-вот взлечу в воздух. Достала эта легкость, сил нет! Так хочется уже не отрываться от земли. Вообще. Хочется просто жить по законам земного притяжения. Мало того, что фасон не очень, так еще и цвета какие-то детсадовские. Ну разве нормальный человек такое станет носить? Плащ еще этот... И все же, как подумал, что сегодня последний раз, почему-то стало немножко грустно.

Но снимать эту красно-синюю дрянь куда быстрее, чем надевать. В мгновение ока стаскиваю с себя все, швыряю на пол. Так быстро мне приходилось переодеваться разве что в телефонной будке, когда нужно было лететь на очередное ЧП. Наконец-то избавлюсь от этого клоунского костюма. Беру из ящика письменного стола канцелярские кнопки и прикрепляю одежду к стене. Красный, синий — аляповатые цвета бьют по глазам. Снова стою голый, тощий — рельефных мышц как не бывало. Разгладил костюм, достал фотоаппарат и принялся фотографировать. Не забываю запечатлеть и малиновые сапоги. Фотография получилась не очень, но сойдет и так. Общее представление есть, и ладно. Перебрасываю на компьютер пять файлов в формате jpg. Захожу на сайт интернет-аукциона. В разделе “Одежда” создаю карточку лота, загружаю фотографии. Теперь мой костюм увидят тысячи, нет, десятки тысяч людей. В графе “Описание” указываю: “Костюм Супермена. В комплекте футболка с длинным рукавом, штаны-трико, плавки, плащ и сапоги. Для тех, кто хочет стать Суперменом”.

Срок размещения лота — сутки. Дольше и не нужно, хватит. Такую вещь даже за день с руками оторвут. Хотя мне, честно говоря, все равно, кто и за сколько этот костюм купит. Главное — найти нового супермена, который будет вместо меня защищать мир и спокойствие на Земле, а именно в Северо-Восточной Азии. Наконец-то смогу не опаздывать на работу и не отпрашиваться пораньше, не буду исчезать в разгар вечеринки. И мне больше не придется ни носить очки в роговой оправе, которые мне не идут, ни запираяться в тесной телефонной будке и судорожно натягивать костюм в обlipку. И не надо будет ни врать девушке, ни летать в дурацком развеваемом на ветру плаще между высоток, ни мотаться на другой конец Тихого океана, потому что террористы распоясались.

Просыпаюсь от звонка будильника.

Приколотый кнопками к стене костюм висит на том же месте. Если никому не приглянется, так и будет висеть. Медленно захожу в ванную, залезаю в душ. Струя воды бьет в затылок, однако сон прогнать не удастся. Помывшись, голым выхожу из ванной. Включаю плиту, ставлю на конфорку позавчерашний капустный суп. Из ведерка достаю палочки и ложку. Остальные как стояли на месте, так и стоят. Сегодня у меня на завтрак холодный рис с супом.

Беру пульт от телевизора, жму на кнопку. Двое ведущих и журналисты утренней передачи бодро возвещают о начале нового дня. В очередном репортаже речь идет об африканском племени менде. Чтобы встретиться с вождем, съемочная группа во главе с симпатичной корреспонденткой отправилась в Африку. Хотя живем мы в разных концах света, говорит журналистка, у нас с народом менде много общего. Как и корейцы, аборигены тяготеют к патриархальности и коллективизму, да и основная пища у них — рис.

Один из ведущих спрашивает вождя, что у него за маска. Маска эта, напоминающая корейскую, выглядит немного карикатурно и уж точно не может никого напугать. Вызывает скорее симпатию и умиление. С ее помощью вождь исполняет роль шамана. Он заключает браки и разрешает споры, на него вся надежда в случае бедствий и природных катаклизмов. Ему доверяют абсолютно всё: от семейных неурядиц до сношений с богами. В племени его и самого почитают как бога. Однако он почему-то — даром что патриарх — со своими подопечными не общается. Кажется, даже репортер-чужеземец с ними ладит лучше. Мы видим, как вождь или с безучастным выражением лица бродит по деревне, или сверлит взглядом журналистку.

Он молится о дожде, делает амулеты для охотников, читает заклинания. Все племя смотрит на него с благоговением, но ему это как будто безразлично. За время репортажа несколько раз показывают момент, когда вождь внимательно разглядывает красивую журналистку. Ее коллега, сидящий рядом в студии, подкалывает: “Посмотрите, Ли Ынха, да он с вас глаз не сводит!” Журналистка краснеет, но невозмутимо объясняет: “Вождь с соплеменниками близких отношений иметь не может. В отличие от них, у него нет права на личную жизнь. Все-го в Африке представителей народности менде около восьмисот тысяч, и большинство из них ничем от современных людей не отличается. Однако племя, о котором мы рассказыва-

ем, живет по берегам реки Скас в Сьерра-Леоне и сохраняет традиционный уклад. Поскольку у вождя нет возможности поддерживать отношения с сородичами — разве только отношения начальника и подчиненных, — он обречен на одиночество”. При этих словах камера выхватывает огорченное лицо одного из ведущих. Мне и самому становится как-то грустно.

Переключаю канал и попадаю на какую-то детскую передачу. Десятка два малышей в желтых костюмчиках прыгают под музыку. Отцу бы эта передача точно понравилась. За завтраком он всегда смотрел детские программы. Мама, хоть и не понимала, что в них хорошего, все равно смотрела вместе с ним. В эти минуты он казался счастливым. Запихав в себя холодный рис, отодвигаю стол. Выбрасываю остатки в унитаз. Нажимаю на слив, красная от супа жидкость с плавающим в ней рисом исчезают, и унитаз вновь наполняется прозрачной водой.

По телевизору по-прежнему дети. Начинает надоедать весь этот галдеж. Переключаю канал — теперь прогноз погоды. За кадром голос ведущего, а на экране толпы людей спешат на работу. Их сменяют несущиеся по трассам автомобили. В глазах рябит от суеты на экране.

Утро. 8:10

Как же неудобно рослым людям вроде меня ездить в микроавтобусах.

Когда автобус резко тормозит или подпрыгивает на ухабе, всегда ударяюсь головой о потолок. Иногда это издевательство приходится терпеть минут десять, а иногда и полчаса. По дороге все думаю, кто же виноват: мой рост или дело в непредусмотрительности инженеров. Наконец объявляют мою остановку. И при выходе приходится быть начеку: дверные проемы тоже довольно низкие. Подъезжая к остановке “Синдорим”, всякий раз задумываюсь, бывает ли здесь когда-нибудь мало народу?

Людской поток заносит меня в метро. Толпа выплескивается на платформу; я безвольно шагаю следом. Прибывает поезд до “Кёдэ”. Люди выстраиваются в очереди перед вагонами. Однако, как только открываются двери, все пытаются протиснуться внутрь. Пробиваюсь сквозь толпу и с трудом заталкиваюсь в вагон. Пока поезд мчится до станции “Чам-силъ”, делать нечего, кроме как разглядывать попутчиков, глазеть на рекламу или мечтать. А бывает, достаю наушники и слушаю музыку.

Хотя с каждой остановкой народу понемногу убывает, в поезде все равно тесно. Не продохнуть. Рекламные листовки

расклеены на дверях и окнах, рядом со схемой метро, над багажными полками, даже на поручнях, и каждая настойчиво требует внимания. Журналы, обувь, одежда, косметика, напитки, компьютерные игры, интернет-сайты... Самое дорогое рекламное место — над крайним сиденьем рядом с дверью. Когда пассажиры ждут своей остановки, смотрят в основном в эту сторону, ну и заодно рекламу читают.

Меня зажало людьми напротив плаката, гласящего: “Сайт знакомств www.your-choice.kg. Найдите свою вторую половинку. Ваш выбор в ваших руках!” На плакате изображен игровой автомат типа того, из которого клешней достают игрушки, только вместо игрушек он набит людьми. Запрокинув головы, все впились глазами в клешню и истошно кричат, чтобы выбрали их. Но клешня направляется к невозмутимому субъекту, который держит в руке табличку с названием сайта. Правда, хоть этого счастливчика и поместили в самый центр, интереснее другой мужчина, прижатый к стенке.

Да, он тоже вытянул руки вверх, но выглядит этот жест как-то неестественно. На месте дизайнера я бы изобразил его иначе или убрал совсем. Хоть его сдавили со всех сторон, лицо у него безмятежное и даже вроде бы просветленное. Особой красотой мужчина не блещет, фигура тоже самая обычная, еще и поза неловкая, но странное дело: есть в нем какое-то обаяние. Он не похож на остальных: поступает не так, как все, не идет на поводу у обстоятельств. Ему как будто все равно, схватит его клешня или нет, — на его лице отражается безмятежность. Нет, не вписывается его образ в эту рекламу.

На станции “Кёдэ” многие выходят. Еще по несколько человек — на “Каннаме” и на “Самсунге”. Почти приехал, и вдруг в голову приходит мысль, что за последние восемь лет, которые я провел в роли супермена — а сейчас мне двадцать восемь, — я впервые вдохнул полной грудью. Нет больше в сумке сине-красного костюма. Если что-то случится, я пас, могу не вылетать на задания, не переживать. Пускай разбираются супермены с Ближнего Востока или из Юго-Восточной Азии, я даже не буду чувствовать вины. Даже боязно признать себе, насколько полегчало. Как будто пошел на работу, а мобильный дома забыл. Вроде волноваться положено, а в душе чувствуешь: свобода!

День. 11:47

Мало-помалу подтягиваются посетители.

Чем больше людей, тем больше работы. Приходится надевать огромную голову енота — и не снимать часами. Когда я

рассказываю о своей работе, многие удивляются, как я стою весь день в гигантской маске у входа в парк. Да ничего особенного, честно говоря. Даже весело. Пока ты в костюме енота, ладить с людьми легко. Можно даже притворяться, что тебе весело. Фотографироваться со всеми желающими, давать детям себя потискать. Японские, китайские школьницы, не говоря уже о корейских, угощают шоколадками и газировкой. Но иногда устаешь.

Даже в будни народу полно. Весна все же. Особенно много детсадовцев. Сегодня не исключение. Повсюду слышны детские голоса. Моя работа состоит в том, что я в костюме енота встречаю посетителей на входе. У нас, аниматоров, это считается одним из самых тяжелых заданий. Енот — символ парка, и все хотят с ним сфотографироваться. В день приходится сниматься минимум сто раз, а то и несколько тысяч. Вот с эскалатора сбегает человек двадцать ребятишек и несутся на игровую площадку. Поднимают галдеж. Одни, кто побойчее, скачут и сражаются на игрушечных мечах, другие стоят парами и растерянно озираются по сторонам. А некоторые уже что-то жуют.

Но тут один мальчишка замечает меня: “Ого, енот!” Показывая в мою сторону пальцем, он устремляется ко мне, а за ним следом несутся остальные. Через мгновение нас с напарником взяли в кольцо. Часть детей спорит, енот я или щенок, другие спешно вытаскивают фотоаппараты. Четверо или пятеро уже успели на мне повиснуть. Со стороны эскалатора подбегает новая ребятня — всего набралось уже с полсотни. Один здоровый мальчуган вдруг как закричит: “А давайте снимем с него маску!” Я теряюсь. Такие выходки бывают часто, но каждый раз не могу сообразить, что делать. Все потому, что нельзя ни убежать, ни отбиться, ни накричать. Дети всей гурьбой с воплями накидываются на меня и сбивают с ног. Мальчишка-подстрекатель хватается за маску и пытается ее стащить. Я держу ее изо всех сил, а мультяшная голова не перестает улыбаться. Тут кто-то начинает меня щекотать, остальные просто пинают ногами.

Заметив эту сцену, воспитательница пронзительно свистит в свисток. Дети замирают. Воспитательница подзывает того крепыша. Задира — у сверстников он явно пользуется авторитетом — подбегает к ней и изображает на лице глубокое раскаяние, хотя видно, что неискреннее. Воспитательница строит детей парами и уводит на аттракцион “Пиратское судно”. Еле-еле поднимаюсь с земли. На лице по-прежнему улыбка. Точнее, улыбаюсь не я, а маска енота. Ей-то хорошо, а вот у меня настроение паршивое. Прохожих забавляет мой неле-

пый вид, но некоторые смотрят с сочувствием. Постепенно прихожу в себя и снова начинаю пританцовывать в такт музыке и подшучивать над парочками: подбегаю сзади и втискиваюсь между ними.

День. 15:11

Захожу в туалет, сажусь и по привычке достаю телефон.

Надо бы узнать новости. Супермен обязан быть в курсе последних событий. Если в подведомственном мне регионе что-то случается, то раньше всех об этом должен узнать не дежурный в полицейском участке, а я. Ну если не раньше, то уж явно не позже. Только так я могу выполнять свою миссию. Именно поэтому супермены обычно стремятся устроиться на работу в офис с высокоскоростным интернетом, или, скажем, журналистом. И это понятно. Если ты журналист, то новости доходят до тебя молниеносно. Да и работа за компьютером позволяет сразу узнавать о последних событиях. А я развлекаю взрослых и детей на игровой площадке в маске енота, что не очень-то сочетается с призванием супермена. Однако подходящая работа — это еще не гарантия того, что ты станешь хорошим суперменом. Непосредственный пример — мой коллега, ведающий Северной Америкой, журналист по совместительству. Расслабился человек в офисе на своей непыльной работе и проморгал теракт. Потом только и оставалось, что спасать людей. Да, многих спас, но мог бы и теракт предотвратить.

Итак, моя работа никак не связана с медиа и поиском информации в интернете, поэтому я могу узнавать последние новости только в телефоне. Конечно, не из первых рук и не в режиме реального времени, но все равно быстро и без проблем. Сидя в туалете, всегда проверяю новости в приложении. Хотя особого смысла в этом нет. Даже если сегодня что-то и случится, полететь я все равно не смогу, костюма-то с собой нет. А ведь суть супермена именно в нем. Большинство людей судит о суперменах по американским фильмам. Они считают, что мы люди из другого мира, что мы рождаемся со сверхспособностями. Но это заблуждение. Супермены — это работники международной организации “Мир на Земле”, созданной по инициативе правительств и лидеров разных стран после Второй мировой войны. Сверхспособности у нас появляются, только когда мы надеваем костюм. В нем вся наша сила.

Первый комикс под названием “Супермен” вышел в американском издательстве “Марвел”. Это встревожило лидеров стран, предлагали даже устранить Боба Кейна, автора идеи,

укравшего информацию для своего комикса у Госдепа США. В итоге в массы внедрили миф о том, что супермены — люди с другой планеты, которые рождаются сразу со сверхсилой. Но на самом деле супермен, не надевший костюма, это совершенно обычный человек, без единого намека на что-то из разряда “супер”.

К счастью, сегодня никаких происшествий. Убираю телефон и просто сижу в прострации. Вдруг становится любопытно, как там мой костюм на аукционе. Наверняка кто-нибудь уже купил. Интересно, сколько предложили? Но тут начинает вибрировать телефон. Международный звонок. Похоже, супермен из Юго-Восточной Азии или другой сосед. Но я не беру трубку. Снова звонок. Опять не отвечаю. Отчаявшись дозвониться, он оставляет голосовое сообщение: “Ты где? В Кёнсандо лесной пожар, почему ты не там? Я и так занят, а тут еще лететь через море. Одевайся и вперед! И смени уже работу!”

Точно, супермен из Юго-Восточной Азии. Откуда он узнал о пожаре в южных провинциях, этого ведь даже в новостях нет? Уже успел долететь из Сингапура. По его тону понятно, что ему абсолютно не нравится моя работа. Но это не имеет значения. Выключаю телефон, собираюсь выйти из кабинки. С улицы доносятся знакомые голоса коллег.

Тут двое заходят в туалет и начинают говорить обо мне: что я на днях раньше с работы ушел и вообще как-то странно себя веду. В принципе ничего плохого. Это как раз произошло в тот день, когда сообщили о маньяке в Ёсу. Пришлось туда отправиться, поэтому и с работы отпросился. Ясное дело, настоящую причину не озвучишь, пришлось выдумывать оправдание. И вот они уже обсуждают, что, когда я ухожу с работы раньше, что-то непременно случается. То раскроют религиозную секту в Хвасоне, то пожар в районе красных фонарей в центре Сеула, то взрыв газопровода в Чончжу, то северокорейское судно нарушит границы возле Канхвадо. Видимо, они решили, что я просто неудачник, который гоняется за впечатлениями и ездит по местам ЧП в ущерб работе.

А я сижу в кабинке туалета, затаив дыхание, и слушаю их рассуждения.

Вечер. 19:02

Сегодня работал в первую смену, поэтому ухожу домой пораньше. А если выпадает вторая, то возвращаюсь за полночь. Когда работаешь в первую смену, вечером остается время приготовить ужин. Да и в принципе гораздо приятнее прихо-

дить домой не слишком поздно. Честно признаться, если бы большая часть происшествий не случалась по вечерам, я бы искренне любил это время суток. А так большинство моих вечеров выглядят как дурной сон. Но скоро все изменится.

Иду в гипермаркет неподалеку от дома. Магазин заполнен людьми: приходят всей семьей или с соседями, потому что вечером скидки. Направляюсь в четвертый ряд, чтобы купить лапшу быстрого приготовления. Лапша разложена по сортам, у каждой свой стеллаж. Вечером этот отсек пустует — все идут в рыбный или мясной отдел, туда, где вечерние скидки. Но я уже восемь лет не могу избавиться от привычки готовить по вечерам лапшу. Как стал суперменом, так по вечерам сплошная лапша: теперь же себе не принадлежишь. Я пробовал составлять меню, покупал продукты, тратил время, но все равно не мог ничего приготовить: все время какие-нибудь ЧП. В Корее, Китае, Японии — где угодно. Сколько раз приходилось спасать человечество ночь напролет. Какая уж тут домашняя еда! Одним словом, логично, что по вечерам у меня лапша. А если выдается свободный вечер без происшествий, то, конечно, готовлю что-нибудь, но оставляю на завтрак — не очень люблю готовить по утрам. Лучше доем холодный рис. Вдруг меня посещает мысль: почему бы не начать готовить уже с сегодняшнего дня? Но что я вообще умею готовить? Если не считать острого супа из квашеной капусты, больше особо и ничего. Потому на автомате покупаю лапшу. Беру немного — две упаковки. Только на сегодня.

После гипермаркета направляюсь в книжный магазин. Я живу в этом районе уже десять лет, а в книжный захожу впервые. В этом крошечном пространстве мне вдруг становится не по себе, хотя вокруг тишина и спокойствие. Хозяин магазина что-то оживленно объясняет мальчику, похоже, сыну. Эти двое не обращают никакого внимания на посетителя и продолжают беседу.

— Извините, а где тут у вас кулинарные книги?

Они лежат вместе с глянцевыми журналами прямо у кассы. Это первая в моей жизни кулинарная книга. Настроение заметно улучшается. Представляю себе, как буду каждый раз после работы готовить ужин. Мысли несутся дальше — мечтаю, как женюсь и буду готовить для всей семьи. Жена с детьми играет в гостиной, а я на кухне готовлю ужин. И Землю защищаю не я, а другие супермены. Выбираю книгу потолще, довольно дорогую, расплачиваюсь и выхожу на улицу. Держа в одной руке лапшу, а в другой кулинарную книгу, иду домой.

Выкладываю покупки на стол. Переодеваюсь в домашнюю одежду. Красно-синий костюм висит на стене. Захожу в ван-

ную. Тщательно намыливаю руки и ноги. Чтобы умыться, взбиваю сначала пену, натираю лицо. Из-за того, что я весь день работаю в маске, лицо очень потное. Хочу смыть с себя всю эту грязь. Смываю пену один раз, второй. После третьего раза наконец чувствую себя чистым. Пена попадает в глаза и в нос. Глаза краснеют, от этого начинает болеть голова. Глаза режет так сильно, что я ничего не вижу, голова раскалывается. Я смахиваю остатки воды полотенцем. Глаза и голова по-прежнему болят. В полной тишине ложусь на кровать. Как только спина касается кровати, кажется, что вся боль исчезает. Но это не так. Глаза все еще жжет, голова все так же гудит. Все, с меня хватит! Уф, прямо гора с плеч от этой мысли.

Ночь. 23:51

Открываю глаза — почти полночь.

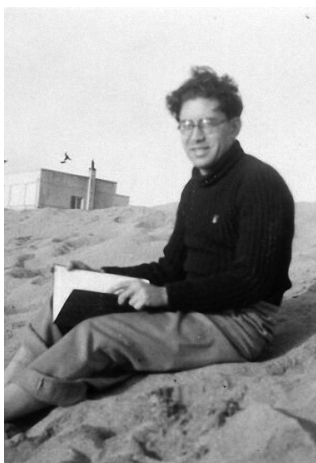
Глаза и голова уже прошли. Безумно хочется есть. Видимо, из-за того что сильно устал за весь день. Пытаюсь найти, что бы перекусить, открываю холодильник. Вижу шоколадку и молоко. Достāju молоко и пью. Затем включаю компьютер и проверяю почту. Большая часть писем — спам. Но есть и пара важных. Супермен из Юго-Восточной Азии пишет о лесных пожарах. Жалуется, что я не полетел и он отдувался за меня. Требуется устроиться наконец на новую работу. Письмо от супермена из Европы — сплошное хвастовство. Противно читать. Бегло просмотрев остальные письма, открываю новости. На первых полосах — заголовки о пожарах. Перехожу в раздел спорта. Моя бейсбольная команда за день проиграла два матча. Ни одной хорошей новости. Открываю сайт интернет-аукциона. Хотя сутки еще не прошли, открываю раздел “Одежда”. Руки дрожат от волнения.

До конца аукциона всего два часа, а купить костюм супермена никто так и не захотел. Я растерянно смотрю на надпись “Покупатели: 0”. Это даже хуже, чем двойное поражение любимой команды. Хотя купить костюм никто не захотел, многие оставили комментарии. У меня появляется призрачная надежда. Но как только я начинаю читать их, она тут же исчезает. В основном тут язвительные фразы вроде “Да кто это купит?”, “Где такое откопали?”. В какой-то момент возникает желание ответить им, но я быстро отказываюсь от этой затеи. Бросаю взгляд на костюм. Он уже немного обвис. Кажется, что кнопки скоро повыскакивают из стены и костюм просто свалится на пол. Вхожу на сайт аукциона, меняю данные. Увеличиваю срок продажи с суток до месяца. Затем открываю браузер, в строке поиска набираю: “Продать товар”.

Появляется множество сайтов. Выбираю десять наиболее понравившихся. На каждом размещаю свое объявление. Срок продажи, естественно, один месяц. Возможность продать мой костюм возрастает в триста раз. Иду на кухню, достаю из шкафа кастрюлю. Наливаю в нее воды, включаю радио. Играет какая-то популярная песня. Когда она заканчивается, вода закипает. Кидаю в кастрюлю две порции лапши, высыпаю приправы. В эфире диджей представляет слушателям гостя программы. В ответ гость шутит. Когда они заканчивают обмениваться любезностями, лапша уже готова. Начинается другая песня. Я беру палочки для еды. Вдруг посреди песни раздается дрожащий голос ведущего: “Срочное сообщение. Только что в городе Коян рядом с Сеулом в районе Ильсан...”

Я беру крышку и аккуратно закрываю кастрюлю. Снимаю со стены красно-синий костюм. Натягиваю синее трико, поверх — красные трусы. Завязываю на шее красный плащ. Обуваясь в красные сапоги. Нижняя часть тела окрепла, верхняя приобрела форму равностороннего треугольника. Мигот открываю дверь на балкон, выпрыгиваю из окна. Легко взлетаю. Думаю о лапше. Что можно съесть еще быстрее, чем лапшу? В животе урчит. С грустью вспоминаю про шоколадку в холодильнике.

ЛУИС ПЕРЕС ИНФАНТЕ и МИГЕЛЬ ПРИЕТО



Оборона Мадрида и Молы коррида

Фарс для кукольного театра

Перевод с испанского

КСЕНИИ ДМИТРИЕВОЙ и АЛЕКСАНДРА КАЗАЧКОВА

Романс Рафаэля Альберти "Оборона Мадрида" дан в переводе

ДАВИДА САМОЙЛОВА

“Ла Тарумба” — испанский театр кукол, созданный художником и членом компартии Испании Мигелем Прието в 1934 году и потом, в 1937 году, воссозданный в Валенсии вместе с поэтом и журналистом Луисом Пересом Инфанте. С театром работали Федерико Гарсиа Лорка, Пабло Неруда, Рафаэль Альберти. Во время Гражданской войны в Испании “Ла Тарумба” играл свои спектакли прямо на фронте, для бойцов республиканской армии. Сохранились свидетельства о его выступлениях в Гранаде, Мадриде, Валенсии и Барселоне.

Долгое время считалось, что архив театра погиб. Но оказалось, часть его уцелела. Уникальные, до сих пор не известные ни в России, ни в Испании документы были найдены театроведом Ниной Моновой в архиве московского Театра кукол имени С. В. Образцова. Среди них 37 фотографий и текст леген-

дарной пьесы “Оборона Мадрида и Мола коррида”. Эти документы привез в Москву Мигель Прието в 1937 году. В очень сложный для обеих стран год он приезжал в Москву на фестиваль кукольных театров, где познакомился и подружился в Сергеем Образцовым. В ту же делегацию входили Ривас Чериф и Мигель Эрнандес.

И вот совсем недавно бесценные материалы вновь стали доступны историкам и театроведам России и Испании.

[209]

ИЛ 6/2025

Постановка кукольного театра “Ла Тарумба” по заказу Управления пропаганды Главного комиссариата военных дел Испанской Республики

Перед поднятием занавеса звучит песня “За оборону Мадрида”. В углу на заднем плане — крепость Мадрид. В противоположном углу — Франко, генерал-карапуз, с тревогой смотрит на осажденный город. Шея его вытягивается по мере нарастания беспокойства. Тонкий бабий голосок.

ФРАНКО. Увы тебе, Мадрид, не ведаешь, кто на тебя взирает, —
То несравненный Франко, великий воин,
Отвагой, удалью снискавший в мире славу;
Не ведаешь, кто силой взял тебя в осаду;
А знал бы ты, Мадрид,
Тотчас без боя сдался б мне на милость.

Дудит в облупленный рожок. Появляется генерал Мола со своим войском: кюре с мушкетом, фалангист, карлист-монархист и боец-марокканец.

Под началом Мола бравая колонна
В триумфальном марше сможет одолеть
Яростной атакой город непреклонный
И не защитит его на гербе медведь.
Мола (*обращаясь к своему войску*).

Командиры brave армии Испании:
Древний стольный город штурма в страхе ждет,
Поднимаясь ныне на героический подвиг,
Помните — мой маузер меня не подведет:
Он не даст осечки, в спины ваши метит,
Коль в штаны наложите, наповал убьет.

Вновь слышится звук рожка. Фалангист, карлист, марокканец и кюре с мушкетом бросаются на Мадрид и разбиваются о стену. Мола толкает их, вновь поднимая в атаку.

Приказываю атаковать Мадрид!.. Труссы, мокрые курицы!..

Попытка штурма вновь проваливается.

[210]

ил 6/2025

(Подпрыгивает, задыхаясь от ярости.) Крепкий, однако, орешек... не расколешь!

ФРАНКО. Еще как расколешь! Вперед!

После третьей атаки Мола и его войска из Мадрида выходит ополченец-милисиано, он стреляет и убивает кюре, карлиста, фалангиста и марокканца. Франко вертит головой.

МИЛИСИАНО *(произносит фугательство и прячется)*.

Попробуй только сунься, шлюха ты бесхозная!

В Мадриде поют песню “Но пасаран”.

ФРАНКО *(обращаясь к Моле)*.

Мола, дорогуша, всем давно известно,
Что в войне победу принесет талант.
Только, между нами, шпагою клянусь я:
Ты в военном деле вовсе не гигант.

Знай, прорвет нам фронт мадридский
Славный император римский —
Твою голову ослиную
Заменю на муссолиньеву.
(Снимает Моле голову и напяливает на него голову Муссолини.)

Пролетают три самолета “капрони”.

МОЛА. Имперской Италии славные птицы!

Нашему Дуче-спасителю сальве!
Бомбы прислал он нам с газом ипритом
С благословенья святейшего Папы.
Вышвырнем мы из Испании марксистов,
Искореним их поганое семя,
Смерть пионерам от пули фашистов!
Делу благому самое время!

В небе появляется истребитель красных и сбивает итальянские самолеты. Мола мечется в бешенстве. Ретируется, грозно сопя. В Мадриде милисиано лениво потягивается и запекает частушку.

Милисиано. Залезу на елку зеленую,
 Не видно ли Франко с колонною?
 Бронепоезд подъезжает —
 Метко по врагу стреляет.
 Расступись народ, не на шутку бой идет!
 Паровоз свистит, разгоняется,
 Франко прочь бежит, спотыкается.

ФРАНКО (*снова подходит к Моле и снимает с него голову Муссолини; обращаясь к голове Муссолини*).

Пусть Абиссинию ты шустро покорил,
 Но здесь, Бенито, план твой не проходит,
 Германец храбрый вмиг возьмет Мадрид —
 Адольф блистательный со свастикой подходит.

Пока Франко делает из Мола Гитлера, вдали слышится глухой лай собачьей своры. Появляются три танка: тяжелый ход, лязг гусениц.

МОЛА (*танкам*). Давите вашей мощью ряды проклятых
красных,

Пусть громоздятся горы их ненавистных трупов:
 На бой, смелей, в атаку, вперед, вас ждет победа,
 И завтра кофе с Франко я буду пить в Мадриде.

Из-за стен красного Мадрида слышится гнусавый голос, с издевкой.

ВЫКРИК ИЗ МАДРИДА. Вам с молоком или черный?

Все ближе лай собак. Танки подходят к Мадриду. Навстречу им выходит Антонио Колль с ручными гранатами.

А. КОЛЛЬ. Я, матрос Антонио Колль, справлюсь, не спасую,
 Так гранатой угощу — в клочья разнесу вас.
 Танков ваших не боюсь. Знайте, людоеды,
 На родной земле испанской я добыюсь победы,
 Той земли не видеть вам, чуют мои почки,
 Белобрысым соплякам, мамкиным сыночкам.
 (*Говоря это, бросает гранаты и подрывает танки.*)

Лай собак переходит в завывание. Мола подпрыгивает в бес-
 сильной ярости, изрыгая нутряное мычание. В Мадриде вос-
 певают подвиг матроса.

В Мадриде поют:

Матрос Антонио Колль —
 Герой Испании новой:
 Восславят подвиг твой
 Народы шара земного.

СТАРЬЕВЩИК (*пересекает сцену, подбирая искореженные обломки танков*).

Старье берем! Тряпье, лом!..

ФРАНКО (*подходит к Моле и снимает с него голову Гитлера*).

Теперь же, Мола, по секрету,
Поведаю тебе, что блефом
На самом деле оказался
Престиж, которым так кичатся
В боях Бенито и тевтоны.
Мечталось мне пройти парадом
по Алкала́, но ополченцы
ни пяди мне не уступают
И стойко держат оборону.
Мне горько, Мола, что придется,
И ничего здесь не попишешь,
Вернуть тебе присущий кумпол,
Он здесь случайно оказался.
(*Напяливает Моле бычью голову*.)

ГОЛОС в МАДРИДЕ. Выдь, бычара,

Из загона —
Матадор
Тебя заколет.
Ну-ка, бык,
скорее выйди!
Ждем в Мадриде
На корриде.

ФРАНКО (*жеманничая и кривляясь, “генералиссимус” вздыхает и стелает*).

Эх, хвост, чешуя —
Страху натерпелся я!

Бык-Мола на арене коварно готовится нанести роковой удар.
Жители Мадрида веселятся, предвкушая корриду. Два милисиано вызывают быка на смертный бой.

1-й милисиано. Поживее, Мола,

Обессилел что ты?
Упирайся рогом,
И хвостом работай.

2-й милисиано. Бейся, не тушуйся,

Но Мадрид пророчит
Смерть твою мулетой,
Хочешь иль не хочешь.
Не помогут фрицы
С криком “цацки-печки”, —

Нам “олé” отвратно
Слышать по-немецки.

1-й милисиано. Торо, ты Мадридом
на сражение вызван.
Если все же струсишь,
Наши парни-махо
Копьями подгонят,
Угостят навахой.

Народ. То не бык могучий — телка недотрога!
Скверная коррида, смотрится убого.

Один милисиано втыкает в быка пару бандериллий, другой
дразнит плащом.

1-й милисиано. Нет удали в тебе истинной,
Быку боевому свойственной,
И кровь твоя не испанская
(берет Мола за рога, тот злобно роет землю копытом).
Да, кровь твоя не кастильская,
Течет в твоих жилах кислятина —
Вонючее пиво баварское.

Народ. Это желчь и горький уксус,
Нашей кровью здесь не пахнет.

2-й милисиано (с мулетой). Мадрид твоей станет могилой.
Близка твоя гибель — слышишь?
О дне ее возвещают
На перекрестках афиши.

Мола брыкается, но напасть не решается.

Голос в Мадриде. Этот Мола вроде мула,
Он лягает только с тыла.

Другой голос. Подобно мулу и волу,
Умрешь ты на коленях,
Мадрид без шпаги подойдет,
Без лишних церемоний,
Он даже глазом не моргнет,
Клинком в упор тебя добьет.

Мола, в ярости подскакивая и нелепо мотая головой, как вол,
с ревом бросается на Мадрид. Ударяется рогами о стену. Вы-
бегают мулы и уволакивают быка с арены. Глубокая тишина.
Серебряный звон колокольчиков. Медленно опускается занавес,
выходит кукольник в форме милисиано и декламирует ро-
манс Рафаэля Альберти “Оборона Мадрида”.

Кукольник. Мадрид — сердце Испании —
бьется как в лихорадке.
В нем бурно взволнованной крови
все яростней клочкотанье.
Эта кровь не утихомирится,
к рассвету сном не забудется,
а если Мадрид задремлет,
когда-нибудь он пробудится.
Мадрид, не забудь о подвиге,
Мадрид, позабудь усталость!
Помни — зрачками подлыми
враги на тебя уставились.
В небе кружатся коршуны,
вниз готовые ринуться —
на крыши, что кровью окрашены,
на площади и на улицы.
Мадрид! Пускай не посмеют
сказать о тебе иные,
что в жарком сердце Испании
кровь превратилась в иней.
Истоки отваги и мужества
еще в тебе не иссякли.
Огромные реки ужаса
оттуда возьмут начало.
Пусть каждый квартал и улица,
когда этот час настанет,
сильнее крепости встанет.
Пусть враг попробует, сунется!
Здесь люди — как бастионы,
их лбы — угловые башни,
их руки — огромные стены,
за ними стоять не страшно.
Кто рвется к сердцу Испании,
пускай попробует, сунется¹.

Примечание

В тексте фарса использованы строфы из романсов Антонио Апарисио и Рафаэля Альберти.

Издано Управлением пропаганды Главного комиссариата военных дел Испанской Республики. Пласа Нулес, 2, Валенсия.

Цена: 20 сантимов в пользу культурного воспитания бойцов Народной армии.

1. В испанском оригинале романс Р. Альберти приводится полностью.
(Прим. переводчиков.)

ФРИДРИХ ФИДЛЕР

Берлинский дневник 1894 года

[215]

ИЛ 6/2025

Публикация, перевод, вступление и примечания
КОНСТАНТИНА АЗАДОВСКОГО

В течение несколько десятилетий имя Фидлера принадлежало к числу забытых. О нем вспоминали, да и то изредка, лишь специалисты, изучающие историю литературы конца XIX — начала XX века, русско-немецкие отношения или переводы русских писателей на немецких язык.

Во второй половине прошлого века ситуация изменилась. Появилось несколько статей, диссертаций и даже книг, посвященных этому удивительному и незаслуженно забытому деятелю культуры — как русской, так и немецкой.

Фридрих Фидлер (1859—1917) родился в Петербурге в немецкой лютеранской семье (в России его обычно звали Федор Федорович). После окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета он всю жизнь преподавал немецкий язык в столичных учебных заведениях. Но педагогическая работа не была его основным занятием. В истории немецко-русской культуры Фидлер остался как поэт-переводчик, переложивший на немецкий язык Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Некрасова, Полонского, Надсона, Никитина... Переводил он и поэтов следующего поколения, например К. Фофанова, а также поэзию Серебряного века. Избранные стихи этих авторов появлялись в 1890-е годы и в начале XX века в известном лейпцигском издательстве “Филипп Реклам”.

К этому следует добавить, что Фидлер был страстным собирателем. Однако его увлечение носило своеобразный характер: Фидлер коллекционировал... литераторов. Самозабвенно преданный литературе, он собирал все, что имело хотя бы малейшее отношение к писательству: книги, рукописи, письма, автографы, рисунки, портреты и даже предметы, связанные с тем или другим писательским именем. Так сложился созданный им Музей, размещавшийся в нескольких комнатах его петербургской квартиры — собственно, первый в России частный литературный музей. Коллекция формировалась не столько за счет приобретений — для этого Фидлер был не слишком богат, сколько благодаря “пожертвованиям”: зная о собирательской страсти Фидлера (некоторым она казалась патологической), литераторы, главным образом петербургские, знакомые и не знакомые с ним

лично, охотно несли в его “сокровищницу” все, с чем готовы были расстаться. Среди “жертвователей” встречаются и такие имена, как Максим Горький, Леонид Андреев, Федор Сологуб...

“Его квартира была настоящим литературным музеем, — писал о Фидлере Василий Немирович-Данченко (брат театрального режиссера), романист, очеркист и мемуарист. — Вы не могли вспомнить ни одного писателя, ни крупного, ни мелкого, чей портрет или бюст — первый непременно с автографом или посвящением — не занимал бы своего места на стене, на шкафу, на этажерке. Целая галерея карикатур значилась тут же. В папках, в ящиках фотографии — сколько бы то раз, где бы то ни было, как бы вы ни снимались — все равно, гравюры с вас, помещавшиеся в каких бы то ни было журналах, десятки папок с приведенными в самый аптекарский порядок письмами писателей, помеченными, когда, кому, откуда и по какому случаю. В целом мире не было другой такой коллекции...”¹

Эта коллекция была по своему содержанию не только русской. В поле зрения Фидлера находилась вся современная западноевропейская (в первую очередь немецкая) литература. Фидлер переписывался со многими немецкими писателями, посылал им изданные Ф. Рекламом книжечки своих переводов и затем, получив в ответ благодарственное письмо, добавлял его к своему собранию. А летом, совершая во время отпуска очередную заграничную поездку, спешил навестить своих корреспондентов по месту их жительства. При этом, знакомясь с тем или иным писателем, Фидлер неизменно просил его записать несколько слов в альбом (который он с этой целью всегда держал наготове) и, кроме того, подарить ему книгу или портрет с надписью.

В результате в архиве Фидлера скопилось со временем множество писем от немецких писателей, критиков, издателей. Назовем лишь некоторые имена: Пауль Гейзе, Конрад Фердинанд Мейер, Фридрих Боденштедт, Теодор Фонтане, Петер Альтенберг, Райнер Мария Рильке, Берта фон Зуттнер, Генрих и Томас Манн... Реже встречаются имена писателей из других стран, например, Эмиля Золя или Георга Брандеса. Многие западные писатели оставили свою запись в альбоме Фидлера. Но особую ценность представляет собой “литературный дневник”, который Фидлер начал вести с 1888 года и не прерывал своих записей в течение почти трех десятилетий. Достоверно и добросовестно, с немецкой аккуратностью он ежедневно воспроизводил все, что ему приходилось видеть и слышать за последние сутки: разговоры писателей, их суждения, реплики, шутки, отзывы друг о друге.... “Я стараюсь дать только голые факты, — подчеркивал Фидлер, — записанные мною не через 5, 10, 15, 25 лет, — а через 5, 10, 15, 25 часов, а иногда даже минут после встречи и беседы с писателем. Таким образом, невольным неточностям тут нет места”².

Тем не менее, несмотря на скрупулезное отношение Фидлера к любой мелочи, имеющей отношение к литературе, его дневник не следует рассматривать как абсолютно объективный, достоверный источник. Наблюдая литературную жизнь изо дня в день в ее, так сказать, повседневно-бытовом виде, автор дневника невольно превращался из летописца в бытописателя. Запечатленное им бесконечное множество писательских лиц, описание встреч, собраний и вечеринок, в которых ему доводилось

участвовать, пересказ бесед, а нередко и сплетен, подробностей личной жизни того или другого литератора — все это не лишено, конечно, определенного интереса. И все же фидлеровский дневник, до предела насыщенный конкретными фактами и сведениями, страдает односторонностью. Подлинная литературно-общественная жизнь — будь то в России или за границей — с ее перипетиями, идейными битвами, противоборством старого и нового, накалом гражданских страстей почти не находит места на страницах этого многостраничного памятника.

Летом 1894 года Фидлер вновь посетил Германию; путешествие началось в Берлине. Публикуемые ниже фрагменты отображают берлинскую литературную панораму той поры, причем в специфическом освещении. Перед читателем проходят один за другим писатели, чьи имена сегодня прочно забыты, да и современники знали далеко не всех, кого запечатлел в своем дневнике Фидлер. Он, впрочем, и не тяготел к знаменитостям; его интересовал любой “пишущий”. На страницах берлинского дневника друг с другом соседствуют такие именитые авторы, как Герман Зудерман или Юлиус Штинде (автор популярного в свое время, особенно в России, романа “Семейство Бухгольц”) и совершенно незначительные, даже для истории немецкой словесности, имена, как, скажем, Максимилиан Берн. Для Фидлера имела значение не степень известности того или иного автора, а его причастность (пускай даже минимальная) к литературному миру. Примечателен также взгляд Фидлера на своих собеседников. Он видит их глазами человека из России, и сквозь те вопросы, которые он задает по-немецки, неизменно просвечивает его принадлежность к русской и петербургской культурной среде.

Автор дневника наблюдателен, подчас ироничен. Не подлежит сомнению и литературное умение Фидлера. Каждый из берлинских писателей приобретает под его пером индивидуальный, по-своему неповторимый облик. Метко схвачены черты собеседника, которого он видит впервые, его внешность, манера поведения, обороты речи, суждения о себе и других, — можно утверждать, что в своем дневнике Фидлер создал красочную портретную галерею немецких литераторов конца XIX столетия³.

1894

Берлин, среда, 18/30 мая

Сегодня начались мои визиты к писателям. Сперва я отправился к Р. Лёвенфельду⁴, но там мне сказали: “Господин доктор уже несколько недель находится в еврейском госпитале, у него воспаление желудка; через пару дней его должны выпустить”. Э. Вихерт⁵ встретил меня любезно; я поблагодарил его за письмо о Лермонтове⁶. Над его письменным столом возвышается массивный бюст, повернутый к окну (я не смог разглядеть лица), и увенчанный огромным лавровым венком. “Это,

видимо, с Вашего юбилея?” — спросил я. — “Да, я получил его в Кёнигсберге, то есть вынимал по листу из каждого венка и собрал их в один. А здесь в Берлине не дожدهшься лавров”. Дальнейший наш разговор совершенно неинтересен. Он подарил мне свою фотографию двухлетней давности; борода его с тех пор поредела, а лицо округлилось (не могу подобрать другого глагола для “пополнить”).

Пошел затем к Генриху Зайделю⁷ (Карлсбад⁸). В прихожей я вручил визитку какому-то мальчику, и примерно через три минуты появилась гигантская фигура и, не подав мне руки, изрекла: “Что-о?” — “Вы, как будто, желаете беседовать в прихожей?” — ответил я вызывающе и повернулся к выходу. “А что вы желаете?” — “Собственно, ничего, разве что сообщить вам, что я получил ваше письмо о Лермонтове, которого послал вам!”⁹ — “А... забыл... пожалуйста... проходите!”

Несмотря на то, что я вошел в его кабинет, мы сели за стол друг против друга, и я увидел перед собой пару добрейших глаз, удачно сочетавшихся с обликом этого человека, его неловкостью, ненавязчивой скромностью и тихим, почти робким голосом. Клокотавшее во мне раздражение быстро улеглось. “Я как раз писал мою автобиографию; половина уже готова, и все вместе появится уже, наверное, в августе”¹⁰. Он заговорил о статье “Фритц Ройтер и Генрих Зайдель”¹¹, опубликованной в серии “Deutsche Schriften für L<iteratur> und K<unst>” Ойгена Вольфа¹². “Мне очень повредила чрезмерная похвала, — посетовал он. — Ну разве можно сравнивать меня с Готфридом Келлером. Это тончайший юморист!..” Он показал мне свои сочинения, элегантно изданные Либескиндом¹³; каждый том открывается письменным посвящением его жене. Увидев на столе книгу Иоганнеса Трояна¹⁴, я спросил: “Он ведь живет на Вормзерштрассе?” — “Нет, уже не живет — переехал к Зоологическому саду, Марбургерштрассе, 12. Он всегда ищет себе квартиру в каком-нибудь незастроенном районе и живет там, пока все вокруг не застроится; тогда переезжает на новое место...” Прощаясь, я спросил: “Вы бывали в Петербурге?” — “О да!” — “А где останавливались?” — “Ах, извините! Мне показалось, вы спрашиваете, читают ли меня в Петербурге! Нет, я там не был. Я, вообще говоря, не любитель путешествий; на Рейне и то не был”.

Он подарил мне свою фотографию и написал в мой альбом:

Есть на свете славные вещички,
Соловьи и розы, и синички,
Алый рот и золото вина,
И здоровье крепкое сполна.

Забыл привести еще запись Вихерта (ей не хватает ясности!):

Искусство — ложь, а красота как дым.
Что истинно, не может стать иным.

Зайдель живет буквально напротив Альфреда Фридмана¹⁵. В высшей степени элегантная лестница. Горничная взяла мою визитную карточку и пошла в соседнюю комнату, откуда до меня донесся гнусавый голос: “Весьма сожалею: мы только что сели за стол!”

Тогда я отправился к Роберту Швейхелю¹⁶. Он тотчас принял меня, хотя лежал на диване и собирался вздремнуть. Мне редко приходилось встречать такое приветливое, сердечное выражение глаз и красивого лица, обрамленного длинными седыми волосами. Он стал листать мой альбом и попытался прочесть русские записи, вернее сказать, произносил русские буквы как латинские, отчего порой возникал прямо-таки комический звуковой эффект. Оставил запись в моем альбоме (семидесятитрехлетний старик в уютном халате, поспешивший с юношеской живостью к письменному столу):

“Кто сохраняет верность самому себе, тот никогда не потеряется в суете жизни”.

Подарил мне также свою прекрасную фотографию. Мы болтали с ним и шутили самым невинным образом. Собирается летом в Швейцарию на Фирвальдштетское озеро. Я рекомендовал ему гостиницу “Золотой лев” в Веггисе¹⁷, и он записал адрес. Расставаясь с любезным старцем, я испытывал чувство глубокого удовлетворения.

Берлин, 19/31 мая

Вместе с театральным директором Филиппом Боком¹⁸, которого мы посетили в Штеглице¹⁹, отправились вчера в роскошную “Берлинскую Италию”²⁰. В английской рюмочной я познакомился с Рудольфом Жене²¹; он пил портер. Мы заказали виски. Он рассказал о своем пребывании в России и недоразумении, которое приключилось с ним в Ревале. “На вокзале я нанял за рубль извозчика, чтобы ехать в гостиницу. Когда приехали, я рассчитался, но он опять протянул руку. Я дал ему двадцать копеек, он благодарственно кивнул и опять протянул руку. У меня лопнуло терпение, я вызвал портье и пожаловался на наглость извозчика. И что оказалось? Он хотел, чтоб я вернул ему бляху”.

Бок ушел, а мы перешли в другое заведение. Я заказал себе бутылку хохгеймера²², Жене стал говорить о своей книге, посвященной Гансу Саксу²³, и я спросил, кто ему ближе, Ганс Сакс или Шекспир. “Ах, у меня в этом смысле две души, так сказать: одна тянется к Шекспиру, гениальному поэту, другая — к

[219]

Ил 6/2025

Гансу Саксу, великому человеку и типичному представителю той характерной эпохи”. О Гончарове сказал: “Я знаю только ‘Обломова’ и восхищаюсь этим произведением; читатель чувствует себя в полной мере вознагражденным за длинноты, которые кажутся подчас невыносимыми”. О Вильгельме Йордане²⁴ как исполнителе песен: “В этом он не более чем коммивояжер: главным для него всегда был заработок — настолько, что при продаже билетов он назначал своего человека, который проверял работу кассира; а раньше он ходил от одних знакомых к другим, держа под мышкой связку своих рукописей, и пытался их продавать”. Рассказывал о Гуцкове²⁵: “Удивительно, этот человек, казавшийся таким холодным и грубым, любил меня трогательно и нежно; и когда у него наступило душевное расстройство, врачи надеялись, что мой визит к нему может оказать благотворное действие; так, кажется, и произошло, но лишь на короткое время”. — “А что можно сказать о его смерти?” — “Да, непонятная история; возможно, он покончил с собой, ведь он уже совершал такую попытку”²⁶.

Жене был возбужден и уговаривал мою дочь²⁷ выпить, что встретило протест с моей стороны; мы шутили и смеялись. Через окно мы видели снаружи восхитительную девушку, одетую итальянкой; она стояла у стойки, пристроенной к внутреннему залу, и что-то делала. Мы выпили за ее здоровье, придав лицу соответственное выражение. Она заулыбалась и кивнула нам; а мы пообещали друг другу сегодня же написать по лирическому стихотворению. Когда мы вышли из зала, Жене подошел к стойке и попросил прелестницу налить ему рюмочку коньяка.

Мы сели на конку и поехали домой. На нужной нам остановке моя жена²⁸ с дочерью вышли. Жене последовал за ней, но в этот момент вагон тронулся. Оказавшись спиной к извозчику (мы ехали на задней площадке), Жене спрыгнул на землю, пытался ухватиться рукой за трамвай, упал, и его протаскило несколько шагов по земле; он лежал на спине, а прямо на него уже надвигался другой вагон. Я перескочил через его ногу и стал размахивать перед лошадьми палкой; кучер тотчас затормозил. Мы стали поднимать лежащего: мизинец на его правой руке был залит кровью, а ноготь большого пальца левой руки сломан. Мы хотели проводить его до дому, но он сказал: “Ничего страшного!” — и бодро зашагал по улице.

20 мая / 1 июня

Как и договорились, пошел вчера к Р. Жене. У него новое холостяцкое жилище из трех комнат (он не женат); две из них он сдает тихой семье какого-то столяра. Показал мне разные издания Шекспира и Ганса Сакса и печатное уведом-

ление о выходе книги Эдвина Бормана “Тайна Шекспира”; эта книга реабилитирует Бэкона²⁹. “Полнейшая ерунда!” — отозвался он. Про Юлиуса Вольфа сказал (в это время он писал мне рекомендательную записку к нему, сперва проверив, пишется ли эта фамилия с одним или двумя “f”): “Это свежий, наивный, естественный талант”. Сделал запись в моем альбоме:

Дерзай, овладевая новизною,
И трепетно склонись пред стариною!

На подаренной мне фотографии, в целом весьма удачной, Жене выглядит куда толще, чем в жизни.

Он проводил меня до “Герсона”³⁰ (бывший “Кайзер-базар”³¹), где я примерил новый костюм; затем мы поели и выпили в пивном заведении Зикена. О чем говорили? Ничего такого, что стоило бы записать. Он здоровался со мной и прощался левой рукой.

Жене занимается живописью, играет на рояле и поклоняется Моцарту (“Это мой кумир!”) — столь сильно, что даже основал здесь Моцартовское общество.

Затем мы отправились к Максимилиану Берну³², он пригласил нас письменно. Обстановка квартиры производит эстетически приятное впечатление. Его дочурка Вера³³, ей шестой год, — очаровательное, прелестное и умное существо; я редко встречал такого ребенка, вернее, никогда не встречал. Фотографы бьются друг с другом за право сделать с нее бесплатный снимок и затем выставить его в окне своего салона. Берн выглядит так же молодо, как и девять лет тому назад (1885) в Вене, когда мы познакомились. Остался таким же скептиком в отношении писателей и подшучивал над моей страстью заводить среди них знакомства. “Может, они в России интересные люди, а здесь — мелкие, пошлые, скучные; общению с ними предпочитаю беседу с нашей канарейкой. Вот, возьмите ‘Зеленых’³⁴! Это ведь нечто противоестественное, им доставляет удовольствие валяться в дерьме: грязь для них цель, а не средство. Девятнадцатилетние юноши выставляют себя импотентами, чтобы похвастаться своим жизненным опытом и вызвать к себе интерес. Какая-нибудь книга двухлетней давности, написанная их единомышленником, уже считается устаревшей; да они и сами не знают, чего хотят!” — “Значит, вы мало общаетесь с писателями?” — “Совсем не общаюсь; многие пишут мне письма, кое-кто навещает меня, но я ни с кем не встречаюсь”. — “А вы не пишете воспоминания?” — “Собираюсь, и они будут весьма интересны!” — “А что вы написали нового за три года?”³⁵ — “Ничего, если не считать нескольких редакторских работ”. — “А почему? У вас ведь

предостаточно материала, да и свободного времени тоже. Вы где-нибудь служите?” — “Нигде, я весь день свободен. Да, материала у меня в избытке. Некогда я был очень богат, потом очень беден; странствовал вместе с бродячим цирком от одного города к другому, обучая маленьких акробатов, — им надо ведь как-то учиться. За это время я приобрел богатый опыт”. — “Почему же вы им не воспользуетесь?” — “Предоставляю это своей жене — подбрасываю ей сюжеты, и она тут же их обрабатывает...” (Продолжение о семье Берна и Вольбрюк следует.)

Сегодня пошел к Г. Карпелесу³⁶. Горничная взяла мою карточку и сказала: “Он, наверное, дома; пойду посмотрю”. Прошло не менее трех минут, и она вернулась с сообщением: “Он сегодня очень рано ушел”. — “А когда вернется?” — “Ну, этого я не могу сказать; вероятно, к ужину”. — “А когда его можно видеть?” — “Ну, этого я не знаю”. Думаю, Карпелес велел ей сказать, что его нет дома, — испугался, что я пришел что-то от него требовать за чтение корректур русского отдела в его “Истории всеобщей литературы”!³⁷

Затем — к старому Максу Рингу³⁸. Впрочем, мне казалось, что он еще старше. Он встретил меня приветливым взглядом и повел в свой большой кабинет; на голове у него была шапочка. Во время нашего разговора постоянно шевелил ртом, словно что-то жуя передними губами. “Я поставил вашего Лермонтова на полку моих любимых книг”. Потом спросил: “А что поделявает Видерт³⁹?” — “Он давно умер, причем внезапно — в вагоне конки”. — “Ах, умер! Жаль, жаль! Похоже, он — первый, кто заговорил у нас о русской литературе. Я часто встречал его у Фарнгагена⁴⁰”. — “Вы знали Фарнгагена?” — “О, прекрасно! Я провел у него несколько лет домашним врачом. Какой это был остроумный, милый человек!” — “А Рахиль⁴¹ вы тоже знали?” — “Нет, я переселился в Берлин в 1850 году...” — “Скоро должна появиться его автобиография”⁴². — “Мне хотелось бы издать сборник моих стихотворений, иначе, когда меня не станет, их издаст мой сын, который, однако, не писатель, а юрист”. Сделал запись в моем альбоме:

Пускай народы разных стран
Сплотит искусство в дружный стан!

У него не нашлось ни одной новой фотографии, а потому он подарил мне фото своего портрета маслом, который написал Антон Вебер⁴³ в 1879 году; но портрет вполне отвечает его нынешнему облику. Проводил меня до самой двери: “Я не выхожу из дома: в моем возрасте следует беречься — не хочется зазря укоротить себе жизнь”.

Подойдя к дому, стоящему во дворе, я позвонил в дверь; мне открыл стройный молодой человек. “Я хотел бы видеть господина Товоте⁴⁴”. — “Это я. Входите!”

Он провел меня по темному коридору в какую-то комнатку слева, в которой я едва нашел себе место: все было захламлено; на полу лежал открытый чемодан, забитый бельем, книгами и т. д. “Вы как раз застали меня, когда я собираю вещи; уезжаю через час в Шварцвальд, чтобы там спокойно поработать...” Я предложил ему русскую сигарету. “Спасибо, не надо; я — убежденный противник курения...” Пожав плечами, сказал: “Ну что же мне написать вам?” Он положил альбом на письменный стол, опрокинув при этом подставку для бумаги. “Все валится у меня из рук, и ничего не приходит в голову!”⁴⁵ И в тот же момент написал: “Любовь — это поэзия эгоизма!” Подарил мне свою книжку под названием “Тайная любовь”⁴⁶, сделав на шмуцтитуле такую надпись: “Нет ничего страшнее, чем *Тайная любовь*...”⁴⁷ Х. Т<овоте> — коллеге Ф<идлеру>”.

У него оказалась лишь единственная фотография, она стоит на письменном столе рядом с фотографией молодой дамы; но он подарил мне совсем маленькую (такие наклеивают на визитные карточки) и пообещал, что пришлет в Петербург другую, настоящую. Вид у него на этой фотографии напыщенный и похотливый, тогда как на самом деле у него открытое, естественное и свежее лицо — столь привлекательное, что можно влюбиться. “Говоря по совести, — сказал я ему, — мне даже не хочется брать эту фотографию; это не вы, в лучшем случае — ваш брат!”

Я спросил его, здесь ли Шлаф⁴⁸. “Нет, думаю, в Дрездене”. — “А Гольц?”⁴⁹ — “Поверьте, не знаю”. — “А Зудерман?”⁵⁰ — “Тоже не могу сказать точно”. — “Меня это весьма удивляет. Мне казалось, что молодые писатели держатся в Берлине вместе!” — “О, вы заблуждаетесь! Лично я, например, избегаю писателей. Слишком легко складывается предвзятое мнение, и оно тебя связывает. Я общаюсь только с теми, кто не принадлежит к миру писателей; изучаю людей...” Когда я сказал ему, что заеду на обратном пути в Вену, где, возможно, увижу Бара⁵¹, он попросил: “В этом случае передайте ему сердечный привет!”

Расставшись с Товоте, я направился к Зудерману. Портье сообщил мне, что его всегда можно застать в 2 часа дня. Когда я позвонил, он, кажется, обедал. Он сам открыл дверь, высокий стройный мужчина. “Очень рад познакомиться! Заходите, пожалуйста!” Он повел меня в небольшую, великолепно обставленную комнату с дорогими старинными картинами и мраморными бюстами. Видно было, что он очень спешит: при каждом моем ответе или вопросе он повторял:

“Да, да, да” и приветливо смотрел мне прямо в лицо. Я рассказал, что у нас в печати его чаще всего называют Зундерман⁵². “Да, да, да, это и здесь случается, правда, лишь в устной форме”. Я попросил его написать мне что-нибудь в альбом, и он сказал: “Да, да, да, охотно; но сейчас я жду гостя, я пришлю вам альбом в гостиницу”. — “Ну нет, такие ценности я не выпускаю из рук”. — “Да, да, да. Сейчас напишу!..” Он вышел в соседнюю комнату, откуда донесся звук, напоминающий скрежет ножей, и тотчас вернулся. “Мы должны стать грешными, если желаем расти (‘Родина’, 3-й акт)...”⁵³ К сожалению, я не могу подарить вам мою фотографию; я только что вернулся из Италии, еще не навел здесь порядок. Но непременно пришлю!” Наша встреча длилась самое большее семь минут.

Еще короче была встреча с Люблинером (Гуго Бюргер)⁵⁴, с ним мне вообще не удалось увидеться. Горничная была очень приветлива: “Да, можно поговорить”. Куда-то ушла с моей визиткой, а потом вернулась со словами: “Господин очень занят; а вы по какому делу?” — “По литературному. Только теперь я сам не желаю его видеть!” Сказал, открыл дверь и удалился.

Пошел к Герману Гримму⁵⁵. “Чем могу быть полезен?” — “Мне хотелось поблагодарить вас за ваше любезное письмо по поводу Лермонтова”. — “А, так это вы — автор? Рад с вами познакомиться. Пожалуйста, проходите!” Он заговорил о России. “Очень хорошо, что жителей Прибалтики заставляют учить русский; тем успешнее они смогут оказывать влияние на русских!..”⁵⁶ Скажите: много ли вы добавили и много ли изъяли в вашем переводе?” — “Что вы имеете в виду?” — “Ну, при переводе иначе не получается!” — “Очень даже получается. Конечно, при переводе можно опустить какой-нибудь незначительный эпитет или кое-что дополнить...” — “Всего-навсего? И никаких иных сокращений или добавлений? Ну, тогда это просто образцовая работа!..” Пожаловался на живущего под ним знаменитого музыканта Шульхофа⁵⁷, коего многие давно считают покойным: “Я должен был к сегодняшнему утру обдумать лекцию, а этот бедолага играл до часу ночи, я не мог ни думать, ни спать!” Прекрасно помнит своего отца Вильгельма⁵⁸ и дядю Якоба. “Мне достался от отца огромный железный шкаф, заполненный неопубликованными рукописями. Все это необходимо издать и непременно при моей жизни, ведь у меня ни жены, ни детей, только сестра. Но когда я смогу всем этим заняться?!”

Он провел меня через свою великолепную библиотеку (мы сидели в комнате его сестры) на балкон и надел, несмотря на жару, барашковую шапку. “Вон там, в том здании слева, — ателье Менцеля”⁵⁹.

Сделал запись в моем альбоме: “Если бы вернуть молодость и снова начать учиться, я всерьез занялся бы русским языком”. Своей фотографии у него нет. “Не люблю сниматься”. Его красивое, тонкое, одухотворенное лицо напоминает о Вильгельме Гримме.

К Юлиусу Роденбергу⁶⁰ ведет элегантная лестница: белые мраморные ступени и зеленые колонны. Он принял меня в рубашке без воротничка (в сюртуке); худощавый. Я попросил его сообщить мне биографические сведения для Словаря Брокгауза-Ефрона⁶¹, и он охотно откликнулся. Держался поначалу выжидательно-строгим, но потом его лицо изменилось и стало заметно приветливее и любезней. Он повел меня в свой кабинет, мимо бюста Дингельштедта⁶². “Да ведь это Дингельштедт!” — сказал я. — Он (горячо): “Да, да! Вы его знаете?” — “Знаю его произведения и его могилу”. — “Он вас интересует?” — “Конечно”. — “А знаете ли мою книгу ‘Записки из наследия Дингельштедта’?”⁶³ Нет?! О, тогда я непременно пошлю вам!” Перелистывая мой альбом, прочитал запись Гримма. “Я написал бы то же самое!.. Меня интересует русская литература, Салтыков (Залтыков), Гончаров, Соллогуб (Зологуб) — его ‘Тарантас’⁶⁴ восхитителен!” — “А его сын оказался на скамье подсудимых и отправится в Сибирь”⁶⁵. — “Замешан в краже миллионов? Его сын? Позор!” — “Печатают ли в ‘Deutsche Revue’⁶⁶ русских авторов?” — “Нет, совсем не печатают. У нас печальный опыт из-за тургеневской ‘Странной истории’⁶⁷, перевод которой с немецкого на русский был помещен в какой-то газете, и это вызвало сильное раздражение...”

Написал мне в альбом:

Неведомо, как завершишь свой путь.
Но каждое мгновенье счастлив будь.

На своей фотографии он назвал меня (по недосмотру, конечно) Фирдлер. Предложил навестить его еще раз на обратном пути.

21 мая / 2 июня 1894

Забыл отметить, что Товоте был смущен моей просьбой и не знал, какую сделать запись в моем альбоме. А когда я предложил ему открыть одну из его книг и списать оттуда какую-нибудь сентенцию, он ответил: “Представьте, ни в одной моей книге нет ни одной сентенции!”

Кусочек в дополнение к Берну: “Чтобы оставаться здоровым, нужно предаваться праздности; общаясь с другими, заблеваешь”. Мы договорились посетить Клуб писателей⁶⁸, и я

с сожалением заметил, что мой новый костюм от Герсона будет готов лишь завтра. “Ах! Для этой банды вы и так слишком изящно одеты! Каждый раз нужно мыть руки, но не тогда, когда идешь к ним, а когда возвращаешься!..” Он показал мне портреты разных лиц, среди них — портрет Карла Штельтера⁶⁹ со стихами на обороте:

Ты у меня — и этим мне любезен —
Немало перепёр!
Так продолжай и впредь, стихов и песен
Искусный вор!

Максимилиану Берну
от коллеги Карла Штельтера
22/XII 1892

В Клубе писателей было неинтересно и скучно; не более пяти человек и ни одного писателя. “Это, наверное, представители благородного цеха мясников, поместившие несколько строк в каком-нибудь специальном издании о новом методе забоя скота” (Берн).

Был сегодня у Юлиуса Штинде⁷⁰. Полный мужчина (благодаря высокому росту совсем не кажется толстым) жизнерадостного, веселого нрава; производит особенно приятное впечатление, когда улыбается и губы у него складываются в форме сердечка. Я сказал, что его “Семейство Бухгольц” в русском переводе совершенно утратило юмор берлинского диалекта. “Да и по-английски звучит как-то гладко и неестественно, зато французский переводчик, используя жаргон, прекрасно уловил интонацию”. — “Какое произведение из всей этой серии вы считаете самым удачным?” — “Ах, стоит мне дописать какую-нибудь вещь, как я начисто о ней забываю. Впрочем, думаю, что характер лучше всего удался в ‘Госпоже Вильгельмине’⁷¹, она совершеннее других...” Показал мне книгу Эдвина Бормана “Тайна Шекспира”: “Прекрасная книга, в ней ясно доказывается, что автором драм является именно Бэкон, а не Шекспир”. — “Фамилия ничего не значит: Шекспир или Бэкон, Шульце или Мюллер — неважно”. — “Нет, извините, очень даже важно! Зная, кто автор, начинаешь прилежнее изучать Бэкона и таким образом уясняешь себе ряд темных мест, например, в ‘Гамлете’...” Мы заговорили о писателях-модернистах. “Они упиваются тем, что отвратительно. Мучительное не возвышает, оно не может быть прекрасным; это не искусство! ‘Перед восходом солнца’ Гауптмана — отвратительное произведение, и ничего более. А пасторская мораль в ‘Ганнеле’⁷²?! Эти людишки мерзко издевались над моей книгой ‘Торфяное болото’⁷³. Вот, возьмите и читайте в свое удовольствие!..” Он взял мой альбом, прочи-

тал письмо Шеффеля⁷⁴ и сказал: “Вот еще один обломивший зубы на ‘Нероне’⁷⁵. Ни он, ни Конради (?)⁷⁶, сколько бы ни старались, никогда не напишут такой драмы, поскольку сам сюжет антидраматичен”. Листая дальше, он наткнулся на запись Берна: “Ах, и этот тут... Редкостный субъект!.. Ничего не может создать, а претензии колоссальные. Его жена (Ольга Вольбрюк⁷⁷), очаровательное создание, могла бы придумать что-нибудь получше, чем взять в мужья и содержать этого кривляку!..” Прежде чем написать, он долго просматривал две переплетенные тетради (“здесь я отмечаю то, что случайно приходит в голову”) и наконец сделал стилистически неудачную запись: “Каждому человеку отведена в жизни своя доля радости. Глупец тот, кто предоставляет ее другим”. Вероятно, когда я читал, на моем лице появилось недоумение, потому что он объяснил: “Глупо говорить, что судьба, мол, даровала мне безрадостную участь, пускай веселятся другие!” — “Не собираетесь ли приехать в Россию?” — “А что мне там делать?” — “Ну, напишете ‘Семейство Бухгольд в России’! В книге будет полно комического!” — “Вы так думаете?” — “Конечно! Приезжайте, я буду для вас наилучшим проводником”. — “Да, чтобы написать такую вещь, нужно изучать на месте и народ, и страну — вот так я ездил в Италию и на Восток... В Россию... хм... конечно, это куда соблазнительней, чем в Америку, куда меня уговаривают приехать... Восток и Запад там ничем не отличаются... В Россию?.. Вы знаете Хасельблатта?” — “Нордена⁷⁸? Да”. — “Он навестил меня и подарил мне свою ‘Добродетель’⁷⁹; я не увидел в этой вещи даже признаков драматургии, хотя он сам в восторге от своей пьесы. Но мне не хотелось быть таким же грубым, как Шеффель в своем письме к вам... Невероятно, что сообщают корреспонденты из Петербурга в здешних газетах! Сплошное вранье!” — “Да, если они не будут врать, их не станут печатать, а не станут печатать, они останутся без гроша, а если останутся без гроша...” — “То не смогут жить. Ах, было б лучше всего взять да поубивать этих подлецов!” — “Где вы будете летом?” — “Зимой я переболел гриппом и хотел бы в горы”. — “И куда вы думаете...” — “Думать — это дело моего врача: иначе за чем он нужен!”

Подарил мне свою фотографию.

Дополнение к Герману Гримму. “Глядя на ваше лицо, я принял бы вас за настоящего русского. Уверен, что физиономия человека, подолгу живущего за границей, постепенно обретает черты, свойственные другой нации; даже почва влияет на внешность человека и способна ее изменить”.

Поехал вчера в Шарлоттенбург к Юлиусу Вольфу⁸⁰. Слева на лестнице, где мне пришлось ждать, я прочитал изречение, ярко выписанное старонемецкими буквами: “С надеждой в этот дом войди и с неохотой уходи”. Слуга наверху (если не ошибаюсь, с позолоченными пуговицами) открыл дверь и весьма любезно сказал: “Прошу Вас, уважаемый господин!..” Я прошел через изящную комнату, вошел в изящный кабинет, увидел в соседнем изящном покое даму в изящном платье и оказался перед изящно одетым человеком с изящными чертами лица. Я рассказал ему про словарь Брокгауза⁸¹, он сообщил мне несколько сведений, стал что-то искать дополнительно и сказал: “Меня не интересует, что обо мне пишут, я ничего не храню”. Подарил мне фотографию, на которой выглядит далеко не так изящно, как в жизни, и написал мне в альбом то же самое изречение, что красуется над одной из дверей его квартиры:

Волю напрягай сильнее,
Горести не предавайся,
Черпай радости полнее
И по полной наслаждайся.

Вот и все, что могу сообщить об изящном Юлиусе Вольфе. Куда больше я мог бы написать о Максе Крецере⁸², но ввиду того, что мы скоро уезжаем, не могу сделать этого во всех подробностях и откладываю на будущее (записав кое-что для памяти на отдельном листке). Он сам открыл мне дверь, плотный, крепкого сложения, с лицом простого рабочего, которое становилось, по мере того как он говорил, все красивей и одухотворенней. Весьма любезно провел меня в скромную комнату, и начался разговор, в высшей степени интересный. О Берне сказал: “Муж своей жены. Обещал много, да ничего не вышло. А теперь он выступает исключительно в посреднической роли — как литературное бюро своей супруги...” О Карле Блейбтройе⁸³: “Его довела до безумия собственная мать. Она говорила: ‘Ну да, у этого Гёте есть, конечно, несколько удачных стихов, зато мой Карл...’” О недавно умершем Оскаре Вельтене⁸⁴: “Он давно уже болел чахоткой; его смерть не стала утратой для немецкой литературы...”. “‘Раскольников’ Достоевского⁸⁵ и ‘Мадам Бовари’ Флобера⁸⁶ — величайшие произведения мировой литературы”. — “Да, жаль только, что Достоевский совсем не умеет соблюдать художественную меру”. — “Вы имеете в виду форму? Для меня форма безразлична! Главное — это содержание, психологическое решение!..” Он справедливо посетовал насчет воспитания “высочайших дочерей”, уродующего

их физически и духовно; требовал женской эмансипации. Скоро появится его роман “Добрая дочь”⁸⁷, уже отвергнутый разными редакциями за то, что оскорбляет якобы нравственное чувство. Тридцать журналов не решались опубликовать его “Нагорную проповедь”⁸⁸, а когда один из них все-таки рискнул и напечатал, со стороны обывателей поднялась буря возмущения, и журнал потерял множество подписчиков. Литература опустилась ниже низшего предела — писатели пасуют перед публикой, настойчиво требующей, чтобы роман или рассказ завершались свадьбой. “И даже Шпильгаген”⁸⁹, великий Шпильгаген, должен был по требованию своего издателя полностью переделать финал ‘Наводнения!’...⁹⁰ Это самоубийство!.. Да, если бы я шел на уступки, у меня давно уже был бы каменный особняк, как у многих других. Потому что мои вещи расходятся в общем неплохо: ‘Светляки и призраки’⁹¹ принесли мне 18 тысяч марок”. Своим лучшим и наиболее законченным произведением он считает роман “Мастер Тимпе”⁹². Жаловался на читателей: “Никто не покупает книг, предпочитают брать на дом в библиотеке, а они там кишат бациллами!” — “Ну а Штинде?” — “Штинде, конечно, покупают, но знаете, каким образом он добился популярности? Его ‘Семейство Бухгольц’ лежало на прилавках мертвым грузом, издатель был прямо в отчаянии. Но тут Штинде получил одобрительное письмо от Бисмарка: страдая бессонницей, Бисмарк во время своей болезни просил несколько ночей подряд читать ему вслух эту книгу; а когда ему полегчало, поблагодарил автора. Издатель тут же воспроизвел это письмо, напечатал его огромными буквами и вывесил на витрине в каждой книжной лавке, даже в провинциальных городках, — и что же? — публика буквально расхватала книгу, и вот печатается один тираж за другим...” Говорил еще о кайзере Вильгельме II: “Сколько бы он ни разглагольствовал о мире, он ничего не желает так страстно, как войны; он жаждет славы, эта страсть его разъедает, и силы, в нем бурлящие, ищут выхода (старший лесничий в Груневальде⁹³ рассказывал мне удивительные вещи: какая у него сила в одной руке)”. — “А он психически нормальный?” — “Вряд ли; думаю, он такой же, как Людвиг Баварский. Все его пальцы украшены кольцами, и, если бы понадобилось, он мог бы вставить себе и в нос золотое кольцо. К тому же он помешан на религии. В Берлине шагу не сделаешь, чтобы не наткнуться на церковь; думаю, что в первый день каждого месяца он дарит своей жене макет какой-нибудь новой церкви. Добавьте к этому болезнь левой руки и левого уха; ему только что оперировали щеку. Воистину какое-то зло по наследству”. — “А правда ли, что Фридрих⁹⁴ умер от сифилиса?” — “Да, поговаривают; известно ведь, что императрице Августе ампутировали грудь и она носила восковой протез”⁹⁵.

Мы прошли в соседнюю комнату, где он обычно диктует свои произведения. Он вынул из шкафа три книги (“Два приятеля”⁹⁶, “Бухгалтерша”⁹⁷ и “Контрабасист. Заклятая книга”⁹⁸) и подарил мне. Написал в моем альбоме: “Писатель, не желающий погибнуть в гуще поэтических поделок, должен сохранять свою литературную физиономию”. Обещал прислать свою фотографию. На прощанье обнял меня и сказал: “Когда будете возвращаться, мы должны непременно провести уютный часок в обществе социал-демократов (я тоже принадлежу к ним); они в большинстве своем очень славные люди...” Я пробыл у него значительно больше часа; он произвел на меня очень симпатичное впечатление.

Затем я отправился к Э. Гризебаху⁹⁹, который приветствовал меня радостным “Ах!”. Напомнил мне все подробности (я уже и забыл их) нашей встречи в Лейпциге три года тому назад. Держался он невероятно просто и любезно, но в нашей беседе не было ничего такого, что стоило бы отметить. Говорил почти исключительно о своем недавно изданном библиотечном каталоге¹⁰⁰, который затем подарил мне (если б я только знал, что с ним делать!). Книгу открывает портрет, выполненный Либерманом, — тот же, что висит у него в кабинете. Гризебах восхищается сходством, чего я не могу сказать: его бледное лицо вовсе не выглядит таким по-цыгански темным и огрубевшим. Об “Истории оторванной пуговицы” Хартлебена¹⁰¹ сказал: “Прекрасно, восхитительно, высокохудожественно!” Показывал разные свои книги. Беседа с ним была не слишком интересной, зато по-дружески теплой.

Пошел к Бернам, они пригласили меня “на кофе”. Берн сказал о Крецере: “Когда-то он был простым поденщиком, возил кирпичи. Но в нем проснулся талант; он стал описывать жизнь рабочих и создал хорошие вещи. И на этом ему следовало бы остановиться, а не изображать жизнь высших слоев, которую он не знает. Назвал Штинде “очень приятным человеком”, но “лживой собакой”. У него в гостях был молодой художник Браун (чья картина “Заседание правительственного совета” представлена на нынешней выставке)¹⁰²; он сделал с меня набросок и вклеил рисунок в мой альбом. (Придя домой, я вырезал эту карикатуру, иначе русские составят себе превратное представление о таланте немецких художников?!) Был еще молодой композитор Ганс Герман (любимый ученик Брамса)¹⁰³, который исполнил несколько своих манерных вещей. Ольга Вольбрюк (наконец-то речь и о ней) делала вид, что восторгается, но шепнула своему мужу, что пора, мол, заканчивать. Она держится в высшей степени любезно и естественно, однако весь ее облик дышит холодом и отдает неестественностью. Великолепно говорит по-русски (воспитывалась в Киеве) и очень “подружилась” с Любой¹⁰⁴.

Рассказала ей историю своего замужества: она обручилась с Берном, но родители Ольги были против этой связи и отправили ее в другой город. Там она увлеклась каким-то интересным красивым молодым человеком, обручилась с ним и написала Берну отказ. Они встретились, Берн плакал и умолял ее вернуться; и она вышла за него замуж. С тех пор прошло семь лет, но она часто вспоминает о другом своем женихе с мечтательным романтическим чувством: любит его поэтически, а своего мужа — реально. Она долго не могла сжиться с Берном, но постепенно между ними возникла полнейшая гармония. Он ничего не пишет, зато она пишет много и зарабатывает своим писательством от семи до восьми тысяч марок ежегодно; при этом дает уроки по французской литературе. “Не могу скрыть своей радости каждый раз, когда мне предлагают какую-нибудь работу, но притворяюсь, что перегружена и многим жертвую, давая согласие; в такой ситуации люди готовы платить больше и даже счастливы, что им удалось меня уговорить”. Она пишет невероятно быстро; как-то раз она что-то писала правой рукой, а левой одновременно играла с дочерью. Приступая к работе над каким-нибудь произведением, никогда не обсуждает его с Берном; и лишь закончив полностью, разговаривает и советуется с ним. “Если меня неожиданно разбудить ночью, я могу тут же встать и продолжить свою работу, как будто не было никакого перерыва...” Ее любимые русские авторы — Полонский и Потапенко¹⁰⁵. Курит. Ее дочурка Вера¹⁰⁶ (ангельское существо, с ней подружилась наша Ритуша¹⁰⁷) зовет ее Манси. Прекрасно обучила свою канарейку по имени Ганс или Генсхен. Оставила запись в моем альбоме: “*Если я и забыла русскую грамматику, но русского духа я не забыла*”¹⁰⁸. Быть естественным — лучший в наши дни способ казаться оригинальным”. На фотографии она мало на себя похожа... Первое впечатление, которое она производит, — освежающе отрадное; но вскоре начинаешь чувствовать, что вся эта светская любезность и приветливая бесцеремонность в большинстве случаев попросту наиграны. Берн держится достойно, но при этом холодно (он и по сути такой).

Примечания

[232]

ил 6/2025

1. Вас. И. Немирович-Данченко. Памятка о неугасимой лампаде // Вас. И. Немирович Данченко. На кладбищах. Воспоминания и впечатления. — М., 2001. — С. 94—95.

2. Литературные силуэты. Из воспоминаний Ф. Ф. Фидлера // Новое слово (СПб.), 1914, № 1. — С. 68.

3. О судьбе Фидлера и его Музея см.: К. Азадовский. “Рыцарь русской литературы” // Ф. Ф. Фидлер. Из мира литераторов: характеры и суждения. — М., 2008.

4. Рафаэль Лёвенфельд (1854—1910) — публицист, переводчик, сла-
вист, театральный деятель; корреспондент Льва Толстого, автор книги о нем.

5. Эрнст Вихерт (1831—1902) — прозаик, романист, драматург, поэт, критик.

6. Имеется в виду отзыв на книгу *Gedichte von M. J. Lermontoff im Versmaß des Originals von Friedrich Fiedler*. — Leipzig: Philipp Reclam, 1893. В течение 1893 г. Фидлер разослал ее нескольким немецким писателям, надеясь получить от них письменный отклик (и тем самым автограф).

7. Генрих Зайдель (1842—1906) — писатель; инженер по профессии.

8. Зайдель жил в Берлине на Карлсбадской улице (Am Karlsbad) в доме 11.

9. См. прим. 6.

10. Имеется в виду книга воспоминаний Зайделя (см.: H. Seidel. Von Perlin nach Berlin. Aus meinem Leben. — Leipzig, 1893/1894).

11. Речь идет о книге: Alfred Biese. Jean Paul, Fritz Reuter, Heinrich Seidel und der Humor in der neueren deutschen Dichtung. — Leipzig und Kiel, 1891 (в серии “Deutsche Schriften für Literatur und Kunst. Heft. 5”); к книге была приложена краткая автобиография Зайделя. Альфред Бизе (1856—1920) — историк немецкой литературы.

12. Ойген Вольф (1863—1929) — историк литературы, германист, театровед; издавал серию “Deutsche Schriften für Literatur und Kunst” и др.

13. Феликс Либескинд (1837—1898) — последний владелец лейпцигского книгоиздательства “A.G. Liebeskind”.

14. Иоганнес Троян (1837—1915) — поэт, автор книг для юношества, журналист.

15. Альфред Фридман (1845—1923) — драматург, прозаик, переводчик.

16. Роберт Швейхель (1821—1907) — прозаик, публицист, журналист.

17. Швейцарский курорт на берегу Фирвальдштетского (Люцернского) озера.

18. Филипп Бок (1845—1922) — театральный актер, режиссер. С 1870 г. руководил Императорским немецким театром в Петербурге. С 1890 г. —

в Берлине, где организовал свою труппу, с которой неоднократно приезжал на гастроли в Россию.

19. Район в юго-западной части Берлина.

20. Так называлась в конце XIX в. северная часть района Пренцлауэр-Берг.

21. Рудольф Жене (1824—1914) — драматург и историк театра, журналист; автор книг о Шекспире, Гансе Саксе и др. В 1872—1874 гг. совершил три лекционные поездки в Россию (Рига, Реваль и Дерпт, Петербург).

22. Сорт белого рейнского вина.

23. R. Genée. Hans Sachs und seine Zeit: ein Lebens- und Kulturbild aus der Zeit der Reformation. — Leipzig, 1894.

24. Вильгельм Иордан (1819—1904) — поэт, философ, драматург; переводчик Шекспира, Гомера, Софокла и Данте. Совершил ряд поездок в другие страны (в том числе и Россию), где выступал с чтением своих произведений.

25. Карл Гуцков (1811—1878) — прозаик, драматург, публицист и общественный деятель.

26. Карл Гуцков погиб при пожаре. До этого он в припадке меланхолии пытался покончить с собой.

27. Маргарита Федоровна Фидлер (1887—1970) — дочь Фидлера.

28. Любовь Михайловна Фидлер (урожд. Соколова; 1868—1915) — жена Фидлера. Ей посвящена книга переводов Лермонтова (см. прим. 6).

29. Эдвин Борман (1851—1912) — писатель, юморист; издатель. Упоминается его книга *“Das Shakespeare-Geheimnis”* (1894), в которой обсуждается вопрос об авторстве Шекспира.

30. Модный берлинский универмаг готовой одежды на площади Вердешер Маркт (по имени его первого владельца и основателя Германа Герсона).

31. “Кайзер-базар” (букв.: Императорский базар) — название универмага, перешедшего затем в собственность Г. Герсона.

32. Максимилиан Берн (наст. фамилия Бернштейн; 1849—1923) — новеллист. Родился в Херсоне в семье врача, состоявшего на русской службе.

33. Вера Берн (1887—1967) — актриса, позднее писательница (автор рассказов, романов, киносценариев и радиопьес).

34. Вероятно, имеется в виду “Молодая Германия” (то есть натуралисты).

35. То есть с момента их последней встречи в Берлине в июне 1891 г.

36. Густав (Гершон) Карпелес (1848—1909) — историк литературы, эссеист, издатель; автор *“Истории еврейской литературы”* (1886).

37. Фундаментальный двухтомный труд Г. Карпелеса *“Allgemeine Geschichte der Weltliteratur”* (нем. изд. 1891; рус. перев. 1900) содержит раздел о русской литературе, в котором автор выражает благодарность Ф. Фидлеру “за корректуру главы, посвященной России” (Bd. 2. S. 859).

38. Макс Ринг (1817—1901) — романист, автор путевых очерков.

39. Август (Август Федорович) Видерт (1823—1888) — преподаватель немецкого языка в Санкт-Петербургском университете; переводчик русских писателей на немецкий язык (Гоголя, Кольцова, Тургенева и др.).

40. Карл Август Фарнгаген фон Энзе (1785—1858) — публицист, историк, поэт, мемуарист.

41. Рахиль Фарнгаген фон Энзе (урожд. Левин; 1771—1833) — издательница; хозяйка берлинского салона; жена Фарнгагена фон Энзе (с 1814 г.).

42. О каком именно издании идет речь, неясно.

43. Антон Вебер (1833—1909) — живописец (жанрист, портретист).

44. Хайнц Товоте (1864—1946) — прозаик.

45. В оригинале — игра слов: “Da fällt mir nun alles um und nichts ein!”

46. Видимо, одно из изданий книги: Н. Товоте. Heimliche Liebe. Novellen. — Berlin: F. Fontane & Co., 1891 (1-е изд.), 1892 и 1893.

47. В оригинале игра слов: “Es gibt nichts unheimlicheres als eine Heimatliche Liebe”.

48. Иоганнес Шлаф (1862—1941) — драматург, прозаик, эссеист.

49. Арно Гольц (1863—1929) — поэт, драматург, теоретик литературы; основатель (вместе с И. Шлафом) “последовательного” немецкого натурализма.

50. Герман Зудерман (1857—1928) — крупнейший, наряду с Г. Гауптманом, писатель-драматург эпохи немецкого натурализма.

51. Герман Бар (1863—1934) — венский драматург, прозаик, литературный и театральный критик. Приезжал в Петербург весной 1891 г.

52. Ср. нем. Sünde — грех.

53. Пьеса Г. Зудермана (1893). Приводятся слова Магды из разговора с пастором (3-е действие, 6-я сцена). В русском переводе (Ф. А. Куманина): “Мы должны быть грешны, если хотим вырасти. Стать выше своих грехов — это выше той чистоты, которую вы проповедуете!” (Г. Зудерман. Собрание драматических сочинений. — Т. 1. — Изд. 2-е. / Перев. под ред. К. Бальмонта. — М.: издание С. Скимута, 1908. С. 53. В оригинале: “Schuldig müssen wir werden, wenn wir wachsen wollen”.

54. Гуго Люблинер (псевдоним — Гуго Бюргер; 1846—1911) — драматург, прозаик.

55. Герман Гримм (1828—1901) — историк искусства и литературы; драматург; сын Вильгельма Гримма.

56. В процессе русификации прибалтийских губерний при Александре III русский язык был введен в качестве обязательного во всех школах и университетах, а также в системе правосудия.

57. Юлиус Шульхоф (1825—1898) — пианист, композитор, педагог.

58. Вильгельм Гримм (1786—1859) — филолог, брат Якоба Гримма.

59. Получил, в переплете, 2 июня. (Прим. Фидлера, сделанное позднее.) Адольф фон Менцель (1815—1905) — график и живописец, с 1886 г. почетный член Петербургской академии искусств.

60. Юлиус Роденберг (наст. фамилия Леви; 1831—1914) — романист, автор путевых очерков; основатель и редактор журнала “Deutsche Rundschau”.

61. Имеется в виду Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, для которого Фидлер писал статьи о немецких писателях.

62. Франц Дингельштедт, барон (1814—1881) — поэт, прозаик, драматург, театральный деятель; автор работ о Гёте, Шекспире и др.

63. Franz Dingelstedt. Blätter aus seinem Nachlass. Mit Randbemerkungen von Julius Rodenberg. 2 Bände. — Berlin, 1891.

64. “Тарантас. Путевые впечатления” — повесть В. А. Соллогуба (1845).

65. Граф Александр Владимирович Соллогуб (1845—1906) — сын В. А. Соллогуба, был обвинен в подделке завещания миллионера В. А. Грибанова, осужден и сослан в Сибирь.

66. “Deutsche Revue über das gesamte nationale Leben der Gegenwart” — ежемесячный журнал, издававшийся в Бреслау (с 1894 г. — в Штуттгарте) в 1877—1922 гг.

67. Рассказ И. С. Тургенева (1869).

68. Имеется в виду Клуб немецкого сообщества писателей (Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft, 1893—1900), находившийся в 1894 г. по адресу Кроненштрассе, 61.

69. Карл Штельтер (1821—1912) — поэт, прозаик.

70. Юлиус Штинде (1841—1905) — поэт, прозаик, драматург; автор получившей известность сатирической трилогии “Die Familie Buchholz. Aus dem Leben der Hauptstadt”. Первая часть появилась в Берлине в 1883 г.; первый русский перевод — в 1887 г.

71. Имеется в виду последняя часть трилогии, посвященной семейству Бухгольц: “Frau Wilhelmine Buchholz: aus dem Leben der Hauptstadt” (Berlin, 1886).

72. Упоминаются драмы Г. Гауптмана: “Перед восходом солнца” (“Vor dem Sonnenaufgang”, 1889) и “Вознесение Ганнеле” (“Hanneles Himmelfahrt”, 1893).

73. “Das Torfmoor” — драма Ю. Штинде (1883).

74. Йозеф Виктор фон Шеффель (1826—1886) — поэт, прозаик.

75. Имеется в виду письмо по поводу трехактной драмы Фидлера “Не-рон” (1883), которую автор отправил Шеффелю в рукописи (письмо было вклеено в альбом).

76. Герман Конради (1862—1890) — поэт, эссеист, романист эпохи раннего немецкого натурализма.

77. Ольга (Ольга Максимовна) Вольбрюк (Вольбрюк-Вендланд; 1867—1933) — писательница. Детство провела в Москве, училась в Киеве (отец была владельцем сахарной фабрики). Жена М. Берна (с 1887 г.), с которым впоследствии разошлась.

78. Юлиус Хассельблатт (псевдоним — Юлиус Норден; 1849—1907) — драматург, театральный критик, журналист (писал об искусстве).

Сотрудничал с газетой "St. Petersburger Zeitung". Родился в Тверской губернии, жил в Петербурге; с 1896 г. — в Берлине, где и умер.

79. Комедия Ю. Нордена "Tugendbold" ("Добродетель", "Ходячая добродетель") написана в 1894 г.

80. Юлиус Вольф (1834—1910) — прозаик, драматург, поэт; автор развлекательных романов.

81. См. прим. 61.

82. Макс Крецер (1854—1941) — прозаик, драматург, поэт; вступил в литературу в 1880-е гг., выпустив несколько социально заостренных произведений.

83. Карл Блейбтрой (1859—1928) — драматург, прозаик, критик, переводчик; пропагандист и поборник литературного натурализма в Германии.

84. Оскар Вельтен (наст. имя — Георг Долешаль; 1844—1894) — драматург, прозаик, журналист.

85. Роман Достоевского "Преступление и наказание" издавался в Германии (впервые — в 1882 г.) под названием "Раскольников".

86. Фидлер подчеркивает, что его собеседник произнес фамилию французского писателя с ударением на первом слоге.

87. M. Kretzer. Die gute Tochter. — Dresden, 1895.

88. M. Kretzer. Die Bergpredigt. Roman aus der Gegenwart. 2 Bände. — Dresden und Leipzig, 1889.

89. Фридрих Шпильгаген (1829—1911) — романист, драматург, поэт, публицист. Приезжал в Петербург (1884). Фидлер навестил Шпильгагена в Берлине в июне 1891 г. (сохранилась дневниковая запись).

90. F. Spielhagen. Die Sturmflut. — Leipzig, 1877.

91. M. Kretzer. Irrlichter und Gespenster. Volksroman. — Weimar, 1893.

92. M. Kretzer. Meister Timpe. Sozialer Roman. — Berlin, 1888.

93. Груневальд — район в западной части Берлина.

94. Имеется в виду Фридрих Вильгельм (1831—1888) — прусский король и германский кайзер (правил 99 дней — с мая по июнь 1888 г.). Умер от рака горла.

95. Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская (1811—1890) — дочь великой княгини Марии Павловны, жена Вильгельма Прусского, будущего кайзера Вильгельма I, мать Фридриха Вильгельма (см. предыдущ. прим.). В 1880-е гг. (после операции рака молочной железы) вела инвалидный образ жизни.

96. M. Kretzer. Die beiden Genossen. — Berlin, 1880.

97. M. Kretzer. Die Buchhalterin. — Dresden, 1884.

98. M. Kretzer. Der Baßgeiger. Das verhexte Buch. Zwei Berliner Geschichten. — Leipzig, 1894.

99. Эдуард Гризебах (1845—1906) — поэт, историк литературы (автор биографии и издатель трудов Шопенгауэра); коллекционер; дипломат (немецкий консул в Петербурге в 1881 г.).

100. Имеется в виду издание Katalog der Bücher einiger deutscher Bibliophilen mit literarischen und bibliographischen Anmerkungen. — Leipzig, 1894.

101. Имеется в виду детская книга, получившая со временем известность, О. Е. Hartleben. Die Geschichte vom abgerissenen Knopfe. — Berlin. 1891. Отто Эрих Хартлебен (1864—1905) — новеллист, драматург, поэт.

102. Леопольд Браун (1868—1943) — живописец. На Берлинской художественной выставке 1894 г. демонстрировалась его работа “В немецком рейхстаге. Зима 1892”. В 1894 г. переехал в Париж.

103. Ганс Герман (1870—1931) — композитор. О его близости к Брамсу сведений не обнаружено.

104. Л. М. Фидлер (см. прим. 28).

105. Имеются в виду Я. П. Полонский и И. Н. Потапенко.

106. См. примеч. 33.

107. Маргарита Фидлер (см. прим. 27).

108. Выделенная курсивом фраза в оригинале написана по-русски.

РОМАН ДУБРОВКИН

Тассо, принц датский

Итальянские истоки

шекспировской трагедии

Существует столько же Тассо,
сколько Гамлетов.

Джон Аддингтон Симондс

И. Итальянцы на Темзе

Inglese italianato è un diavolo
incarnato¹.

В конце правления династии Тюдоров Англию охватила эпидемия “италоманий”². “Печать Италии была на всех, — отмечал историк. — Кто сроднился с Италией из книг, кто из личного опыта. Поездки в Италию стали модным увлечением. И аристократы, и купцы ездили туда часто: для учения, по коммерческим делам, просто для развлечения. <...> Возвращаясь из Италии, англичане привозили на родину дух свободомыслия, умения ярко жить и беззаботно наслаждаться”³. Небольшая итальянская община начала складываться в стране при предшественниках Генриха VIII, однако до 1550 года приезжавшие на остров ремесленники, купцы, скульпторы, живописцы, комедианты и ученые надолго там не задерживались: ощущая свое культурное превосходство, многие из них считали англичан воплощением варварства и неучтивости, а развлечения их бессмысленными и жестокими. По-настоящему итальянская колония Лондона и других городов разрослась и окрепла только с приходом Реформации. Протестанты из разных стран Европы нашли прибежище при дворе короле-

© Роман Дубровкин, 2025

1. Итальянизированный англичанин — это воплощенный дьявол (итал. поговорка). Здесь и далее, если не указано имя переводчика, — перевод автора статьи.

2. Термин, примененный М. П. Алексеевым. См.: Лирика и поэмы XVI века // История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. — М., 1978.

3. А. Дживелегов. Шекспир и Италия. — Литературная учеба, 1938, февраль.

вы Елизаветы I, но больше всего было среди них религиозных беженцев с Апеннинского полуострова — гуманистов, музыкантов, людей искусства. Пользуясь покровительством английских аристократов, эмигранты давали уроки итальянского языка отпрыскам богатых семей и преподавали в местных университетах. Из Венеции, Падуи, Феррары, Неаполя привозились книги по всем отраслям знаний — исторические, философские, научные, прикладные и, не в последнюю очередь, художественные. Об их популярности свидетельствуют каталоги тогдашних библиотек и отсылки к ним в различных публикациях. Немало итальянцев работало в местных типографиях (например, у знаменитого печатника Джона Вульфа), из-под пресса которого вышли в 1580-е годы сочинения таких видных писателей, как Макиавелли, Джордано Бруно или Аретино, отпечатанные в оригинале с указанием ложного места публикации — отнюдь не Лондона, а, к примеру, Палермо¹.

Руководством для обучения светским манерам, своеобразным кодексом новой куртуазности, стала для подданных Елизаветы на шумевшая книга Бальдассаре Кастильоне “Придворный”, переведенная на английский в 1561 году — на третий год царствования королевы. “По своему времени, — подчеркивал В. А. Соколов, — принцесса Елизавета получила очень хорошее образование. <...> Наиболее заметным результатом учебного курса, пройденного Елизаветой, было такое знание языков, которым она справедливо изумляла своих современников. Французским, испанским и итальянским языками она владела настолько хорошо, что, принимая посланников этих государств, во все продолжение аудиенции свободно поддерживала разговор с каждым из них на их родном языке”².

Особое пристрастие королева испытывала к итальянскому, предпочитая “обычаи итальянцев” жизненному укладу других народов, и как-то раз полусутоливо заметила по-французски, что чувствует себя “наполовину итальянкой” (“certes, j’aime la manière et moeurs des Italiens sur toutes aultres du monde, me semble que je suis demie Italienne”³). За все годы своего долгого правления она ни разу не прибегла к услугам секретаря-итальянца и самостоятельно вела на этом языке корреспонденцию с великим герцогом Тосканы Фердинандом I Медичи. Когда же ей было необходимо найти нейтральную территорию для общения с неитальянскими госу-

1. С 1558 по 1603 г. в Англии вышло 291 название итальянских книг, выдержавших 451 издание. См.: A Bibliographical Catalogue of Italian Books Printed in England 1558–1603. — London, 1991.

2. В. А. Соколов. Елизавета Тюдор королева английская. — Сергиев Посад, 1892.

3. Здесь и далее во всех иноязычных цитатах сохранена орфография эпохи.

дарями (как в случае с императором Священной Римской империи Максимилианом II), она вновь выбирала язык Петрарки, творения которого, как утверждалось, переводила.

По примеру монархии лондонская элита, включая серьезных государственных деятелей, щеголяла своей начитанностью на тосканском наречии, причем скорее из политических соображений, чем ради моды, поскольку именно этот язык считался в эпоху Возрождения главным языком культурной дипломатии. Особую роль в жизни двора получили театральные представления, выполнявшие в XVI веке миссию средств массовой информации. Актеров, объединенных по королевскому декрету в труппы, приглашали выступать в дворцовых залах, где они разыгрывали сюжеты из итальянских пасторалей, что доставляло чрезвычайное удовольствие знатым гостям, среди которых было немало иностранных послов, не говоривших или плохо говоривших по-английски. Пьесы исполнялись без перевода, и актерам из самых разных стран приходилось разучивать роли на языке подлинника. Благожелательная, праздничная атмосфера увеселений помогала принимающей стороне завязывать политические союзы и склонять на свою сторону представителей католических держав, постоянно грозивших Альбиону войной “из-за моря”.

В Англии, где патриотизм исконно сочетался с ксенофобией, этот вызывающий “тосканизм” (выражение Томаса Нэша) устраивал далеко не всех. По мере того как влияние итальянской культуры распространялось на просвещенный средний класс, в интеллектуальной среде началось отторжение, подпитанное растущим пуританством. Одним из наиболее яростных проповедников “демонизации” Италии стал писатель-гуманист Роджер Эскам, в прошлом учитель будущей королевы, прививший ей в юности вкус к классической литературе. В своем педагогическом трактате “Наставник”, вышедшем посмертно в 1570 году, Эскам обвинял итальянцев в порче нравов, возмущаясь соотечественниками, которые привозили “домой в Англию из Италии ее религию, ученость, политику, опыт и нравы” (*bringeth home into England out of Italy the religion, the learning, the policy, the experience, the manners*), иначе говоря, “папизм или того хуже” (*papistry or worse*), а также другие мерзости, ранее неизвестные в стране. Суровый морализм Эскама был, однако, бессилен воздействовать на английскую молодежь, очарованную самим воздухом Италии и жадно впитывавшую ее соблазнительные новшества.

II. С позволения ее величества

Во Франции прославлен дю Бартас,
В Италии хвалы возносят Тассо...¹

ТОМАС КЭМПИОН

[241]

ИЛ 6/2025

“Непотребные” итальянские книги, подлежавшие, по мнению пуристов, к уничтожению, проникали в Англию невероятно быстро. С еще большей быстротой переносились из одной европейской столицы в другую новости о литературных и театральных новинках, главной из которых стала в июле 1573 года пастораль “Аминта” придворного феррарского поэта Торквато Тассо. Автор ее, как отмечал крупный советский искусствовед, “в молодом упоении классическими образами” дал в пьесе “полную волю и своему страстному лиризму, и своему виртуозному стиху”², что тотчас же снискало итальянцу повсеместную славу.

Пастораль была впервые поставлена знаменитой труппой “Джелози” в одной из летних резиденций герцогов д’Эсте на островке Бельведер, лежащем посреди реки По, в присутствии Альфонса II и многочисленного знатного общества. “Сестра герцога Лукреция, принцесса Урбинская (отмечал англичанин Ли Хант), ревностная покровительница поэта, потребовала его к себе в Пезаро для прочтения новой драмы; в следующий же карнавал она [была] представлена с огромным успехом при дворе ее свекра”³. Еще через год “Джелози” совершили турне по соседним странам и, прогремев в Париже, приплыли на гастроли в Англию. Игра актеров настолько понравилась Елизавете, что та пригласила их сопровождать королевский двор во время его летних поездок⁴.

В 1581 году пастораль была напечатана в Париже, сначала по-итальянски, а затем и в переводе на французский. В 1585 году “пионер английского мадригала” Томас Уотсон перевел драму на латинский язык, а близкий ему Абрахам Фронс переложил ее английскими гекзаметрами под заглавием “Жалобы Аминты на смерть Филлиды” (“The Lamentations of Amyntas for the death of Phyllis”, 1587), прибегнув в собственных стихах к прямым заимствованиям и переводу целых пассажей пьесы⁵. В

1. “Let France their Bartas, Italy Tasso prayse...”

2. А. К. Дживелегов. Истории западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. — М.-Л., 1941.

3. Репертуар и Пантеон театров. — Т. 6. — 1847.

4. “В июле 1574 года итальянские актеры продолжили гастроли и выступали в Рединге: среди их персонажей были пастухи, нимфы, сатиры, черти и Дикий Человек”. В кн.: Chronicle History of the London Stage. — London, 1890.

5. Существует мнение, что драма Уотсона “Amyntas” и переложение Фронса не имеют прямого отношения к пасторали “Аминта”. У Фронса мы тем не менее читаем: “Я несколько изменил итальянский текст Тассо <...>, придав ему более английское звучание” (“The Countesse of Pembrokes Yuychurch”, 1591).

своем трактате о поэтическом стиле “Аркадская риторика” (“Arcadian Rhetorike”, 1588) Фронс неоднократно ссылается на Тассо, показывая доскональное знание предмета.

Однако какой бы популярностью ни пользовалась драма “Аминта”, главным произведением Торквато Тассо, его *opus magnum*, стала для елизаветинцев рыцарская эпопея “Освобожденный Иерусалим”, с которой Фронс был, кстати сказать, очень близко знаком. О том, что придворный поэт герцога Альфонса II уже много лет пишет поэму о Первом крестовом походе, стало известно в Англии задолго до ее полной публикации в 1581 году. В Лондоне говорили, что со времени ее выхода из печати столичное светское общество делится на тех, кто успел прочесть поэму, и тех, кто запоздал с ее чтением.

В 1584 году лейденский профессор правоведения Сципионе Джентили перевел гекзаметром и издал в Лондоне латинский перевод трех глав “Освобожденного Иерусалима” (первые две песни и начало четвертой), назвав поэму гимном, который “излил из своей груди божественный Тассо, князь всех бардов, когда-либо певших в итальянских городах”¹.

“О Элиза, — восклицал Джентили в посвящении королеве, — уникальное, блистательное воплощение беспорочной добродетели, о девственная соперница Готфрида, защищенная своей верой, ты повелеваешь очищать церкви от оскверненных алтарей, ты указуешь Темзе пренебречь угрозами безумного Тибра, ты держишь в руках бразды правления многочисленными народами, бразды мира и справедливости, ты с суровым лицом восседаешь на своем могучем троне, председательствуя в великом Парламенте...”²

Примечательно, что латинский переводчик, позднее написавший подробные комментарии к итальянскому изданию эпопеи, рекомендовал королеве труд поэта, искавшего “опоры в католической вере” (Л. Шепелевич), и обращался к ней, “еретичке”, отлученной от церкви римским папой, как к “совместнице” легендарного герцога Бульонского, призвав ее стать предводительницей нового, на этот раз протестантского крестового похода.

Такая несогласованность, впрочем, легко объяснима. Елизавета была чужда вероисповедного фанатизма, и ее правление, особенно в первые десятилетия, отличалось религиозной толерантностью. Несмотря на углубляющийся раскол между Англией и Римом, наметившийся в 1580-е годы, английские поэты-протестанты в своем подражании итальянским образцам часто прибегали к католической образности — тенденция, доминирующая в английской поэзии вплоть до Джона Мильтона.

Прославление единоличной власти, почерпнутое Сципионе Джентили из переведенной им первой песни эпопеи, не мог-

1. Solimeidos latinis numeris expressit Scipio Gentilis. — Londini, 1584.

2. Там же.

ло не импонировать Елизавете, отстаивавшей право государя не повиноваться земным судьям и отвечать за свои действия исключительно перед Богом. Упоминание подчиненного королеве парламента, вероятно, представлялось ей не менее лестным, особенно если вспомнить о ее многолетней борьбе за “прерогативы короны” и отмену “парламентских привилегий”.

Перевод Джентили появился на шестой год заключения Тассо в психиатрической лечебнице Св. Анны, что также не могло не вызвать сочувствия у Елизаветы, конечно же, не забывшей драматических событий тридцатилетней давности, когда она из признанной наследницы престола превратилась в арестантку и провела два месяца в Тауэре, ежеминутно ожидая смертного приговора за измену.

В том же 1584 году видный церковный деятель кардинал Сципионе Гонзага, друг Тассо и его постоянный конфиден, выпустил откорректированное — смягченное — издание эпопеи (восьмое за трехлетний период), признаваемое до конца XIX века каноническим. В Италии, для которой литературные баталии всегда играли роль общественного катализатора, началась тем временем громкая печатная полемика о достоинствах и недостатках творений Тассо и Ариосто, инспирированная флорентийской Академией делла Круска, провозгласившей своей целью борьбу за очищение итальянского языка. Отвечая на критику, Тассо опубликовал “Апологию ‘Освобожденного Иерусалима’”, за которой последовала целая серия диалогов и трактатов, поднимающих моральные, психологические, политические и религиозные темы. Королева Елизавета и ее придворные живо интересовались судьбой Тассо и его творчеством, о чем сохранилось уникальное письменное свидетельство.

22 июня 1584 года живущий в Англии итальянский эмигрант Джакомо Кастельветро, сотрудник упомянутого выше печатника Джона Вульфа, писал секретарю Альфонса II Лодовико Тассони: “Мне остается только обратиться к Вам с просьбой о любезности и сообщить мне, продолжает ли бедный Тассо сочинять что-либо или нет. Да будет известно Вашей Светлости, что некий знатный синьор дал мне это поручение, подчеркнув, что приказ осведомиться об этом исходит от Ее Величества. Если сочиненное им имеет ценность, Вы оказали бы мне безмерную услугу, прислав написанное им, о чем я Вас всепокорнейше прошу. Уверяю Вас, что, по мнению Королевы, наш Светлейший Герцог должен быть счастлив, что его восхваляет такой великий поэт, не менее счастлив, чем Александр Великий, восхищавшийся Ахиллом, которого прославлял великий Гомер. И я слышал, что [королева] уже знает многие строфы [“Освобожденного Иерусалима”] наизусть”¹.

1. Angelo Solerti. Vita di Torquato Tasso. — Vol. 2. — Torino—Roma: Ermanno Loescher, 1895.

Подтверждено, что издание эпопеи, аннотированное Джентиле, было доставлено секретарем герцогу Альфонсу, и тот высказал по его поводу “свое взвешенное и скромное суждение” (*suo saldo e modesto giudizio*). Через три года, уже после выхода Тассо из лечебницы, оба лондонских издания (и латинский перевод, и откомментированная поэма) попали наконец в руки автору. Радость поэта омрачалась тем, что главный труд его жизни, во-первых, издавался без его ведома, а во-вторых, был давно им забракован и теперь перерабатывался в совершенно другую поэму, которая впоследствии вышла под заглавием “Завоеванный Иерусалим” (1593).

“Огорчает меня, — признавался Тассо в частном письме от 29 марта 1587 года, — что мой ‘Освобожденный Иерусалим’ напечатали, и каждый раз, когда его перепечатывали, это добавляло мне переживаний. Теперь, когда чья-то ученость и чье-то мастерство одарили меня благосклонным суждением, которого я не удосужился снискать за свои стихи, мне это отчасти досадно, но отчасти и радостно, что, однако, не мешает мне выказать благодарность, по крайней мере в связи с милостью, мне оказанной” (“*Lettere familiari*”, 1588).

Не будет преувеличением, если мы скажем, что ни одно произведение иностранной литературы не пользовалось в елизаветинской Англии признанием, равным признанию эпопеи Тассо. В 1589 году Томас Нэш высказал желание видеть в английских библиотеках “лучшую поэму, которой Тассо даровал бессмертие” (*the best poem that ever Tasso eternished*), а Сэмюэл Дэниел, встречавшийся в Италии с Джамбаттистой Гварини и издавший в 1602 году перевод его пасторали “Верный пастух”, назвал Тассо “чудом Италии” (*the wonder of Italie*) и высоко отозвался о его “замечательной поэме о Иерусалиме, сравнимой с лучшими творениями древних” (*that admirable poem of Jerusalem comparable to the best of the ancients*). Собрание сонетов Дэниела “Делия” было напрямую вдохновлено лирикой Тассо, а некоторые стихотворения представляли собой прямой перевод с итальянского. Вот один из многих примеров:

Любить мы будем: солнце угасает
И снова воскресает,
Для нас же тьма спускается на век¹.

Это из первого акта “Аминты” (“*Amiam, che ‘l Sol si muove, e poi rinasce...*”), а вот (не только дословно, но и тем же размером) концовка пасторали Дэниела “Счастливейший век золотой...” (“*O happy golden age...*”):

Let’s love, the sun doth set and rise again,
But whenas our short light
Comes once to set, it makes eternal night.

Переводом с итальянского являются также два первых четверостишия стихотворения “Optima Deo”, приписываемого священнику римско-католической церкви иезуиту Роберту Саутвелу, побывавшему в Италии в 1580 году:

Behold how first the modest Rose doth prie
Out of her somer coate in virgins hew,
One half in sight, half hidden from the eie;
The lesser sene, the fairer to the view...

Это (и снова буквально) изложение знаменитого эпизода из XVI песни “Освобожденного Иерусалима”:

В саду под утро роза расцвела,
Светясь невинностью непристыженной,
Нам именно такой она мила,
Полуодетой, полуобнаженной...

Реминисценциями из эпопеи Тассо пронизан роман “Аркадия” Филипа Сидни, которому Сципионе Джентили посвятил вторую часть своего латинского перевода. В трактате “Защита поэзии”¹, написанном в 1579–1583 годах и впервые опубликованном после смерти автора, Сидни упомянул героя “Освобожденного Иерусалима” Ринальда в одном ряду с великими воинами древности (Ахиллом, Киром, Энеем, Турном...), призванными устрашать клеветников и побуждать “к самой высокой и прекрасной истине”, дабы “великодушные и справедливость” воссияли “сквозь все смутные опасения и путанные желания”². В XIX веке утверждалось, что английский поэт специально ездил в Падую, чтобы повидаться там с Тассо, но доказательств этой встречи обнаружить не удалось.

В 1591 году другой видный елизаветинец Джон Харингтон в статье “Краткая апология поэзии” (“Briefe Apologie of Poetrie”), предвещающей его перевод “Неистового Роланда”, заметил, что “Тассо в своем великолепном творении ‘Освобожденный Иерусалим’ уподобляет поэзию лекарству, которое дают маленьким детям, когда они болеют”:

Так мальчику, больному лихорадкой,
Мы блюдечко с лекарством подаем,
Обмазанное патокою сладкой:
Настойку горькую он пьет до дна —
Обманом жизнь ему возвращена.

Это сравнение мы находим и у Филипа Сидни, хотя более осторожные исследователи склонны искать истоки подоб-

1. “An Apology for Poetry” (другое назв. “The Defence of Poesy”), 1595.

2. Филип Сидни. Астрофил и Стелла. Защита поэзии / Перевод Л. Володарской. — М., 1982.

ных сентенций у философов глубокой древности. В данном случае у Лукреция.

[246]

ИЛ 6/2025

Осмелимся утверждать, что Тассо выступил предтечей “Золотого века” елизаветинской литературы, испытавшей небывалый расцвет, “когда язык трудами Чосера и потом Спенсера устроил свои художественные формы по образцам итальянским” (С. П. Шевырев). Спенсер стал завершителем этого процесса и в то же время крупнейшим поэтом эпохи. Еще в 1569 году семнадцатилетним выпускником школы он опубликовал под инициалами Ed. Sp. сборник “Жалобы” (“Complaints”), куда включил переводы семи сонетов Петрарки. Позднее, в предисловии к своей “исторической фантазии” “Королева фей”, первые три книги которой вышли в 1590 году, Спенсер, именуемый впоследствии “принцем поэтов”, “архипоэтом Англии”, “нашим новым Поэтом”, “Поэтом Поэтов” и т. д., указал, что при создании поэмы он шел по стопам Гомера, Вергилия, Ариосто, и особо подчеркнул, что именно Тассо дал ему в образе Ринальда образец того, что “в философии зовется Этикой или доблестью частного человека”, а в образе Готфрида — “воплощением Политики”¹.

Учась в Кембриджском университете, Спенсер входил в окружение профессора Гэбриела Харви, искреннего почитателя “превосходного Тассо” (excellent Tasso), которого он наряду “со сладчайшим Петраркой, божественным Аретино и достойнейшим Ариосто” включал в круг “героических поэтов, [в равной мере] доблестно дерзких и изящно тонких” (sweet Petrarch, divine Aretine, worthie Ariosto, excellent Tasso: fowre famous heroique poets as valorously braue, as delicately fine). Своего лучшего студента он в одном из писем 1579 года величал не иначе как “мой молодой итальянизированный синьор и французский мосье” (my yunge Italianate Seignior and French Monsieur), хотя Спенсер до конца своей жизни так и не побывал в континентальной Европе и, насколько известно, вообще не выезжал за пределы королевства. В 1580 году Харви прочел в рукописи наброски “Королевы фей” и, отнесшись к написанному критически, настойчиво рекомендовал 28-летнему стихотворцу прекратить работу и отложить сочинение до тех пор, пока его “не вразумит Господь или какой-нибудь добрый Ангел” (but there an End for this once, and fare you well, till God or some good Aungell putte you in a better minde).

Год спустя в Италии вышло пять изданий “Освобожденного Иерусалима”, а затем в течение восьми лет еще шесть. Все эти годы Спенсер, считавший Тассо “отличным поэтом” (excellente poete), перерабатывал свою поэму в рыцарско-героическом ключе, объединял ее фабульные линии и, судя по

1. Письмо к Уолтеру Рэли: “...and lately Tasso dissevered them againe, and formed both parts in two persons, namely, that part which they in philosophy call Ethice, or vertues of a private man, coloured in his Rinaldo: the other named Politice, in his Godfredo”.

результату, усвоил уроки итальянского предшественника, проявив себя в ряде эпизодов его прямым подражателем.

Ранние издания “Освобожденного Иерусалима”, как правило, дополнялись “Аллегорией Поэмы” (“*Allegoria del Poema*”), написанной Тассо под давлением обстоятельств в качестве оправдания своего “вольнодумства” по отношению к принципам Аристотеля и догматам официальной церкви. Предисловие Спенсера к первому изданию “Королевы фей” по стилю и содержанию оказалось поразительно похожим на “Аллегорию” Тассо. Из заимствований непосредственно в тексте поэмы называют прежде всего эпизод “Прибежище Блаженства”, в котором доблестный рыцарь попадает в зачарованный волшебный сад, исполненный искушений, а также скопированную у Тассо сцену с пастухами. Что же касается лирики Спенсера, то по меньшей мере двенадцать сонетов из его цикла “*Amoretti*” (1595) безошибочно определяются как близкие подражания итальянскому поэту.

Публикация “*Amoretti*” совпала по времени со смертью Тассо, не дожившего нескольких дней до своего “коронования” на Капитолийском холме. Через три года Спенсер бежал из Ирландии, спасаясь от повстанцев, и по возвращении в Лондон скоропостижно скончался в нищете — “от нехватки хлеба” (*died for lack of bread*), как подчеркнет Бен Джонсон. Названный в одной из эпитафий “английским Вергилием”, он был похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой Чосера. Что же касается итальянского поэта, то его посмертная история получит в елизаветинской Англии самое неожиданное продолжение.

III. “Меланхолия Тассо”

Безумие есть крайняя степень отчуждения, а отчуждение вообще принадлежит сущности человека.

Жан Ипполит

Без итальянской предыстории романтическая драма была бы повестью о Гамлете, из которой выпала роль Гамлета.

Мэри Огаста Скотт

За два года до смерти Тассо английский путешественник, переводчик и подающий надежды писатель Джон Элиот опубликовал в Лондоне руководство по разговорной французской речи “Орто-эпия Галлика. Плоды для французского языка” (“*Ortho-epia Gallica. Fruits for the French*”, 1593), предназначенное, как уточнялось в подзаголовке, “для практики, удовольствия и пользы английских джентльменов”. Диалоги

этой книги, служащие иллюстрацией каждодневной жизни елизаветинской эпохи, знаменательны своим разделом, посвященным итальянской поэзии:

[248]

ИЛ 6/2025

Торквато Тассо, — говорилось в пособии, — поистине прекрасный ученый, последний из всех живущих в наш век итальянских поэтов, пользующийся великой славой и достойный первостепенной чести; помимо того, что он Поэт от Бога, он также весьма красноречивый оратор и ритор, о чем ясно свидетельствуют его эпистолярные послания. Когда я путешествовал по Италии, этот юноша сошел с ума от любви к итальянской девушке, принадлежавшей к знатному дому.

— Какие еще прекрасные книги он написал?

— Очень много книг. В Ферраре были напечатаны три тома его сочинений, в которых есть разного рода стихи и всевозможные прекрасные плоды воображения: комедия, трагедия, разнообразные диалоги и рассуждения в прозе, и все они достойны чтения самыми мудрыми и острыми умами Европы.

— И это все, что он сочинил?

— Нет, он каждый день не выпускает из рук пера.

— Вы забыли его “Gierusalemme liberata”.

— Правда ваша, этот благородный отпрыск написал героическими стихами поэму, блистающую среди всех других итальянских поэм, озаглавленную именно так, как вы сказали, поэму, в которой все богатства греков и латинян собраны воедино и запечатлены так искусно, что превзошли умение других поэтов, столько в ней изящества, красоты, серьезности, учености, живости и жизнерадостности, какие мы видим у Вергилия, Принца Латинских Поэтов.

Диалог из пособия Джона Элиота представляет собой, по существу, сжатый отчет о творчестве Тассо и лишь отчасти касается его биографии. Мимоходом брошенная фраза (“этот юноша сошел с ума от любви к итальянской девушке, принадлежавшей к знатному дому”) относилась к слухам о том, что причиной умственного нездоровья Тассо стала его “невозможная” любовь к сестре герцога Альфонса II Леоноре, стоявшей на социальной лестнице на недостижимой для обедневшего дворянина высоте. Говаривали, что поэт прилюдно поцеловал принцессу и чуть ли не домогался ее руки. Домыслы об этой любви “не по рангу” обросли подробностями значительно позже, после 1634 года, с появлением в печати биографического труда “Жизнь Торквато Тассо”, принадлежавшего Джамбаттисте Мансо. Первая английская биография поэта появилась только в начале XVIII века. В 1590-е годы фигура Тассо еще не обрела того особого ореола, каким ее через два века наделили романтики благодаря драме Гёте и элегии Байрона “Жалоба Тассо”, однако зачатки мифа о стихотворце, несправедливо и несоразмерно наказанном за свою дерзость, уже наметились под самый занавес XVI века:

Торквато Тассо брошен был в оковах
Неблагодарным герцогом в тюрьму,
Бездушный деспот не простил ему
Проступков совершенно пустяковых.

[249]

ил 6/2025

Но и в тюрьме без перьев и чернил
Он мыслью адамант пробил бы твердый:
Писал мочой и калом узник гордый
И песен славных уйму сочинил.

А на тебе проклятье Аполлона
Покоится — ты плотью не в тюрьме,
Но свет погас в твоём тупом уме...¹

Автор этой хлесткой эпитафии, обличающей ныне забытого графомана, Джон Харингтон, крестник королевы Елизаветы и ее придворный поэт, прославился, помимо прочего, непристойностью своих творений², но не это главное. Из приведенных строк легко сделать вывод, что читателям инвективы было прекрасно знакомо имя Тассо. Книги, написанные им во время заключения, оперативно доставлялись в Англию, способствуя уже в то далекое время созданию легенды о поэте-мученике, чей талант побеждал любые превратности судьбы. Высказывания о великом итальянце, сочетающем в себе гениальность и помешательство, стали с тех пор мелькать в английской печати, правда с упором на асоциальное поведение бывшего узника Св. Анны. Так, упомянутый выше Габриэл Харви, среди книг которого сохранился экземпляр “Орто-эпии” Элиота, иронизировал, что в некоторых современных ему стихах “эксцентричность воображения <...> оказалась помощнее, чем буйство Тассо” (crankiness of... imagination... more puissant than the fury of Tasso). И чуть ниже, в той же заметке: “...бешенство Тассо в его яростной агонии” (rage of Tasso in his furious angoy).

Известия о неистовстве и исступленности Тассо, безусловно, проникали в Англию и раньше. В 1577 году широкий резонанс получил случай его нападения на слугу, предположительно приставленному герцогом Альфонсом для слежки за поэтом. “Что касается Тассо, — сообщал великому герцогу Тосканскому венецианский посланник (и тоже поэт) Маффео Веньер, — доношу до Вас, что вчера вечером он был посажен под замок за то, что в покоях герцогини Урбинской набросился с ножом на слугу. Задержали его, однако, скорее по причине его [умственного] расстройства и не для наказания, а для излечения. Он находится в особенном состоянии духа,

1. “Torquato Tasso, for one little fault...”

2. В качестве курьеза необходимо отметить, что он же известен как изобретатель унитаза со смывом.

убедив себя в том, что провинился в ереси; его терзает страх быть отравленным, вызванный, как мне кажется, черной желчью, стусившейся у него в сердце и туманящей мозг. Прискорбный случай, учитывая его достоинства и высокие качества”¹.

Необходимо отметить, что Маффео Веньер не был свидетелем инцидента и только слышал о нем. Другие посланники при феррарском дворе тем не менее не преминули донести эту новость до своих правителей, закрепив за поэтом репутацию дебошира и драчуна, уже знаменитого другими скандальными эпизодами. “Черная желчь”, упомянутая в записке, или в буквальном переводе “меланхолическая кровь”, указывала на помутнение рассудка, для лечения которого врачи со времен Средневековья (и вплоть до XIX века!) назначали кровопускание и слабительные солевые растворы — пыточные процедуры, систематически применяемые к несчастному подопечному герцога Альфонса.

Случайно или нет, но упоминание главных героев литературных произведений, их невменяемое, порой истерическое состояние стали в этот период центральной темой “трагедий мести”, начало которым положила пьеса “Испанская трагедия, или Иеронимо снова сошел с ума”, приписываемая Томасу Киду. Кид интересен для нас тем, что в 1588 году он опубликовал перевод одного из самых известных диалогов Тассо “Отец семейства” (“Padre di Famiglia”, 1582), озаглавленный по-английски “The Householder’s Philosophy” (“Философия домохозяина”) и сопровождаемый подзаголовком: “писано по-итальянски великолепным оратором и поэтом синьором Торкватом Тассо” (written in Italian, by that excellent Orator and Poet, Signior Torquato Tasso).

Начиная с 1580-х годов бурный рост театров и острая конкуренция в их среде буквально за одно десятилетие привели к революционному развитию английской драматургии. Герои “Освобожденного Иерусалима” вскоре стали персонажами по меньшей мере двух драматических произведений, прогремевших на английской сцене. Пьесы эти, к несчастью, не сохранились, и об их существовании мы знаем только по кратким отзывам. Так, 22 марта и 25 апреля 1592 года труппа “Слуги лорда Стренджа” исполнила на сцене лондонского “Театра Розы” драму “Иерусалим”. В течение последующих полутора лет столичные театры были закрыты из-за эпидемии чумы и возобновили работу только в 1594 году, когда на июльской афише “Слуг лорда-адмирала” появилось объявление о спектакле “Годфрид Бульонский”. Название пьесы, автор которой также остался нам неизвестен, теперь уже недвусмысленно отсылало зрителя к поэме Тассо, первые пять песней которой вышли совсем недавно

1. Письмо от 18 июня. In: Lettere inedite di Torquato Tasso. — Pisa, 1827.

в переводе Ричарда Кэрю, скрывшегося за инициалами Р. К.¹ В предуведомлении к переводу издатель объяснил, что он напечатал итальянский текст параллельно с английским “для удовольствия и пользы джентльменов, влюбленных в этот замечательный язык. Образованный читатель таким образом оценит, насколько тесно переводчик привязал себя к поэме в целом, давая себе как можно меньше свободы, допустимой при передаче таких похвальных творений”.

С ростом популярности пьес о кровавой мести “трагический Тассо” (выражение Томаса Нэша) служил идеальным протагонистом любого “кассового” спектакля. 13 августа 1594 года снова в “Театре Розы” и снова труппой “Слуги лорда-адмирала” была сыграна драма “Меланхолия Тассо”. Предполагается, что автором ее был Филип Хенсло, театральный антрепренер и импресарио, финансировавший деятельность труппы. Вот что говорит об этом спектакле А. Аникст в своем “Шекспире” (1964), ссылаясь на дневник Хенсло: “Суббота, 3 сентября. ‘Тассо’ (пьеса не сохранилась, по другим записям известно альтернативное название ‘Безумие Тассо’)”.

Успех “Меланхолии” превзошел все ожидания. Главную роль в ней исполнял известнейший актер елизаветинской Англии Эдвард Аллен. За полгода спектакль был сыгран еще шесть раз и четыре раза в следующем году. До 1598 года в “Театре Розы”, в одном из сундуков с театральным реквизитом, хранились “облачение Тассо” (Tasso’s Robe) и его портрет (Tasso’s Picture), хотя, возможно, речь шла о портрете и костюме актера, игравшего роль поэта в спектакле. “Самые большие расходы в театральных представлениях, — отмечал русский дореволюционный исследователь, — шли тогда на костюмы, которые, кажется, были очень роскошны. Из бумаг актера Аллена, бывшего тогда во главе одной из лучших лондонских трупп, видно, что за мужской костюм из бархата заплачено им было 20 фунтов. Эта роскошь костюмов не менее самих театров приводила в негодование моралистов и пуритан, которые не могли без ужаса подумать о том, что ‘двести актеров красуются в шелковых и бархатных платьях на счет столько бедных людей’”².

Нам неизвестны ни содержание “Меланхолии Тассо”, ни источники, использованные при ее написании. Представляется маловероятным, чтобы сведения о злоключениях поэта были почерпнуты из его “Личных писем” (“Lettere familiari”), увидевших свет в 1588 году без ведома автора. Не исключено, однако, что темой пьесы стала фантазия о безумных поступках главного героя, детали которых додумывались актерами.

В 1600 году Эдвард Ферфакс опубликовал полный перевод знаменитой эпопеи Тассо, озаглавив его вслед за Ричар-

1. “Tasso’s Godfrey of Bulloigne, or the Recoverie of Hierusalem translated into English by RC [Richard Carew]” (1593).

2. В. П. Боткин. Литература и театр в Англии до Шекспира. — СПб., 1899.

дом Кэрю “Готфрид Бульонский, или Отвоевывание Иерусалима” (“Godfrey of Bulloigne, or the Recoverie of Jerusalem”), что очень точно, хотя и не буквально, передавало смысл заглавия. Книге было предпослано традиционное стихотворное посвящение королеве Елизавете. В 1602 году драматург и памфлетист Томас Деккер переработал “Меланхолию Тассо” и, по некоторым сведениям, поставил ее на сцене нового театра “Фортуна”, построенного Филипом Хенсло специально для того, чтобы составить конкуренцию театру “Глобус”, открытому годом ранее на средства труппы “Слуги лорда-камергера”, к которой принадлежал Шекспир. В этот сезон зритель получил двойное удовольствие: сострадать на северной окраине Лондона душевному расстройству итальянского поэта, а на южном берегу Темзы — наблюдать за приступами болезненного беспокойства Принца Датского.

Имя Тассо начало впервые ассоциироваться с шекспировским кругом в книге Фрэнсиса Миэrsa “Палладис Тамиа. Сокровищница ума” (1598)¹, представляющей собой своеобразный “каталог” современных автору сочинений. В разделе, озаглавленном “Обзор наших английских поэтов в сравнении с древнегреческими, английскими и итальянскими”, сообщалось: “Как в Италии был Данте, Боккаччо, Петрарка, Тассо, Челиано и Ариосто, так в Англии...” (далее следовал список малозначащих сегодня имен, среди которых присутствовал тем не менее Томас Кид). В названном перечне не стоит удивляться появлению в числе великих итальянцев имени Ливии Челиано. Под таким псевдонимом печатал мадригалы известный в свое время религиозный поэт Анджело Грилло, состоявший в переписке с Тассо в последние годы его пребывания в Св. Анне и посвятивший ему свой трактат об искусстве диалога. Челиано был вновь упомянут в английской печати в 1601 году в качестве участника так называемого “Честеровского сборника”, литературной мистификации, вышедшей под витиеватым заглавием “Мученик Любви, или Жалоба Розалинды, аллегорически затеняющая правду о любви в неизменной судьбе Феникса и Голубя. Поэма, украшенная редкостными и разнообразными вкраплениями и теперь впервые переведенная Робертом Честером с итальянского [подлинника] почтенного Торквато Челиано”². Помимо поэмы самого

1. Francis Meres. Palladis Tamia, Wits Treasury. — London, 1598. Русская транслитерация имени критика варьируется в зависимости от публикации — Мирс, Мирес, Мирез — без учета произношения, зафиксированного в английских словарях.

2. “Love’s Martyr: or Rosalins Complaint. Allegorically shadowing the truth of Loue, in the constant Fate of the Phoenix and Turtle. A Poeme enterlaced with much varietie and raritie; now first translated out of the venerable Italian Torquato Caeliano, by Robert Chester”.

Честера, идентифицировать которого так и не удалось, сборник включал стихотворения Шекспира, Бена Джонсона, Джорджа Чепмена, Джона Марстона и два стихотворения неназванных поэтов. Согласно общепринятой в России версии, имя Торквато Челиано, автора, неизвестного английской литературе, представляет собой имя-кентавр, намеренно составленное из имени и фамилии двух разных людей. Существует, однако, убедительная гипотеза о том, что имя Торквато было присоединено мистификатором к псевдониму Грилло случайно вследствие невнимательного прочтения коллективного сборника “Стихи различных знаменитых поэтов нашей эпохи” (*Rime di diversi celebri poeti dell'età nostra*, Bergamo, 1587), в котором стихи Тассо следовали за стихами Челиано.

Но дело не в подоплеке происшедшего. Допуская, что ассоциация имени итальянского поэта с именем вымышленного елизаветинца была частью розыгрыша, мы не можем не согласиться, что “Тассо был идеальным подставным автором для создания книги ‘Мученик любви’” (Н. И. Балашов). Подобная “узнаваемость” означала ощутимое присутствие итальянского поэта на английской литературной сцене, и не только литературной.

С 1601 года в лондонском “Глобусе” играли “Гамлета”.

За семь лет до этого, летом 1594 года, ранний вариант трагедии был поставлен совместными усилиями “Слуг лорда-камергера” и “Слуг лорда-адмирала” в поселке Ньюингтон-Баттс, что подтверждается записями того же Филипа Хенсло, счетные книги которого содержат сведения о реквизите его театров, о костюмах и декорациях, а также его личную переписку. При хронической нехватке репертуара обычной практикой того времени было использование уже поставленных и просто заимствованных произведений, сюжеты которых перекраивались и обрастали новыми деталями. За отбором и содержанием пьес, идущих в столице, строго следил специально созданный надзорный орган, подотчетный королеве. Предполагаем, что именно в этот период начал складываться образ Гамлета-Тассо, переходящий из одной версии в другую, усложняющийся и углубляющийся от спектакля к спектаклю. Сходство и единство этих двух персонажей не ускользнуло от елизаветинского зрителя.

В 1604 году в Лондоне вышла в свет подписанная инициалами An. Sc. поэма “Дайфант, или Любовные страсти” (*Daiphantus, or the Passions of Love*), сопровождаемая знаменательным подзаголовком: “Комичное для чтения, но Трагичное для исполнения” (*Comical to read, but Tragical to act*). Декларируемая от лица молодого придворного, сошедшего с ума от неразделенной любви, поэма являла собой, по существу, карикатуру на современный театр и, скорее всего, была реакцией на шекспировского “Гамлета”, годом ранее впервые появившегося в печати. В “Послании к читателю” ано-

нимный автор¹ уточнял, что его книга “должна дойти до простонародного элемента (*sic*) подобно приятным трагедиям Шекспира, в которых комик тиранит, а трагик встает на цыпочки. Ей богу, это должно понравиться всякому, как нравится Принц Гамлет”.

К началу XVII века английский театр успел превратиться в массовое зрелище, и грубый сценический натурализм действительно пришелся по вкусу тогдашним театрам. Вот какие впечатления вынес из спектакля лондонский щеголь Дайфант (приводим перевод совсем короткого отрывка):

...Язык в огне, дым из ноздрей валит,
Достал бутылку эля, пробку выбил,
Но жар в бездонной глотке не залит,
Схватил чернильницу и залпом выпил.
Он спятил, он сейчас театр спалит —
Чернила пьет! Себя он Тассо числит,
Себя он Гамлетом безумным мыслит².

Очевидцы вспоминали, что именно так — с расчетом на внешние эффекты — изображал сумасшествие прославленный актер Ричард Бёрбедж, первый исполнитель роли Гамлета. Игра его была настолько убедительной, что восхищенная публика была готова поверить любой реплике, прозвучавшей со сцены. В анонимной элегии, написанной в 1619 году на смерть актера, мы читаем:

Так глубоко он в роль свою входил,
Что зал от сцены глаз не отводил,
Когда в могильную он прыгал яму,
Прервав любви неразделенной драму.
Когда же кровью бутафорской он
Притворно истекал, мечом пронзен,
Не только зрители, но даже трупы
В убийство верили при виде трупы,
Искусно сыгранного...³

“Гамлет, — издевался Вольтер, — грубая и варварская пьеса, которой не потерпела бы самая низкая чернь Франции и Италии. Там Гамлет лишается рассудка во втором акте, а его возлюбленная в третьем; принц убивает отца своей возлюбленной, притворяясь, что хочет убить крысу, а героиня бросается в реку. <...> Гамлет, его мать и его отчим вместе пьют на сцене; в трагедии поют за столом, ссорятся, дерутся, убива-

1. Утверждение о том, что автором книги был Энтони Сколокер, умерший в 1594 г., сегодня кажется неубедительным.

2. His breath, he thinks the smoke; his tongue a coale...

3. Oft have I seen him leape into a grave...

ют друг друга. Можно подумать, что это произведение — плод воображения пьяного дикаря”¹.

Заметим, что возмущение Вольтера пьянством датчан (или англичан?) неожиданным образом отсылает нас к Тассо, которого не раз обвиняли в пристрастии к вину². В остальном же узник Св. Анны, измученный подозрениями и галлюцинациями, явно походил, в восприятии елизаветинцев, на опустившегося безумца из монолога Офелии:

Когда я шила, сидя у себя,
Принц Гамлет — в незастегнутом камзоле,
Без шляпы, в неподвязанных чулках,
Испачканных, спадающих до пяток,
Стуча коленями, бледней сорочки
И с видом до того плачевным, словно
Он был из ада выпущен на волю
Вещать об ужасах — вошел ко мне³.

Именно таким описал Тассо в своих “Опытах” Мишель Монтень, посетивший Феррару в ноябре 1580 года. Встреча французского философа с Тассо, обстоятельства которой остались неизвестны, произвела на путешественника тягостное впечатление:

“Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и с проявлениями необычайной и несравненной добродетели? Платон утверждает, что меланхолики — люди, наиболее способные к наукам и выдающиеся. Не то же ли самое можно сказать и о людях, склонных к безумию? Глубочайшие умы бывают разрушены своей собственной силой и тонкостью. А какой внезапный оборот вдруг приняло жизнерадостное одушевление у одного из самых одаренных, вдохновенных и проникнутых чистейшей античной поэзией людей, у того великого итальянского поэта, подобного которому мир давно не видывал? Не обязан ли был он своим безумием той живости, которая для него стала смертоносной, той зоркости, которая его ослепила, тому напряженному и страстному влечению к истине, которое лишило его разума, той упорной и неутолимой жажде знаний, которая довела его до слабоумия, той редкостной способности к глубоким чувствам, которая опустошила его душу и сразила его ум?”⁴

Облик узника ужаснул посетителя: “Я ощутил скорее горечь, чем сострадание, — вспоминал он, — когда, будучи в

1. О “Семирамиде”. Перевод Н. Наумова.

2. См. письмо Тассо к Б. Бернарди от 1 октября 1583 г.: “...рекомендация [врача] воздержаться от вина — слишком неприятное и мучительное лечение. Я имею в виду совет воздержаться совсем и пить один бульон, поскольку, если употреблять вино умеренно, в малых количествах, я охотно послушаюсь его...” (Le lettere di Torquato Tasso. Vol. 2. — Firenze, 1854).

3. Перевод М. Лозинского.

4. Мишель Монтень. Опыты (II, 12). Перевод С. Бобовича.

Ферраре, увидел его в столь жалком состоянии, пережившим самого себя, не узнающим ни себя, ни своих творений, которые без его ведома были у него на глазах изданы в изуродованном и неряшливом виде”¹.

Встречу эту нельзя назвать иначе, как гипотетической, поскольку в своем “Дневнике путешествия в Италию” философ обходит ее молчанием. Приведенное описание было добавлено во второй том “Опытов” постфактум, уже после выхода “Освобожденного Иерусалима”, когда имя поэта гремело по всей Европе. Более того, “строгий режим” заключения Тассо был к предполагаемой дате визита смягчен: ему предоставили несколько комнат, где он мог писать и принимать гостей, ему разрешалось совершать прогулки по городу и т. п. Образ этот тем не менее закрепился за сценической ипостасью Гамлета-Тассо и стал важной составляющей многолетнего продвижения трагедии на английской сцене.

IV. “Дания – тюрьма”

О Италия, академия смертоубийства, первостатейное место для душегубства, аптекарская лавка с ядами для всех народов, сколько разных орудий ты изобрела для злодеяний?

ТОМАС НЭШ

...нас нисколько не удивило бы, если б Шекспир оказался, например, итальянцем или евреем².

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

26 июля 1602 года типограф Джеймс Робертс внес в лондонский Реестр гильдии печатников и издателей запись, подтверждавшую его намерение издать трагедию “Месть Гамлета, Принца Датского в том виде, в каком она была недавно сыграна ‘Слугами лорда-камергера’” (the Revenge of Hamlett Prince Denmarke as yt was latelie Acted by the Lord Chamberleyne his servantes). Автор пьесы назван не был.

В конце 1603 года у другого издателя и уже за подписью Шекспира вышло так называемое первое, “плохое”, quarto (по размеру страницы в одну четверть типографского листа),

1. Мишель Монтень. Опыты (II, 12). Перевод С. Бобовича.
2. Перевод Ю. Ванникова.

которое принято считать либо “пиратским” и краденым, либо “черновым”. На титульном листе книги значилось: “Трагическая история Гамлета, Принца Дании, Уильяма Шекспира в том виде, в каком она несколько раз была сыграна труппой ‘Слуг короля’ в Лондоне, а также в двух университетах, Кембриджском и Оксфордском, и в других местах”¹. (Заметим, что именно в этой “подпорченной” трактовке спектакль шел не только в провинции, но и в столичном “Глобусе”. Высказывалось предположение, что наемный актер запомнил текст или записал его новоизобретенной скорописью, чтобы затем подготовить пьесу для издателя).

Зимой 1604–1605 годов пьеса была “заново отпечатана и почти вдвое увеличена против прежнего согласно подлинной и точной рукописи” (*newly imprinted, and enlarged to almost as much again as it was, according to the true and perfect copy*). В шекспироведении это издание принято называть “вторым кварто”.

Помимо выдающихся художественных достоинств, новое издание отличалось от предыдущего историко-культурной привязкой к месту действия пьесы — Дании. В критике долгое время доминировало мнение о том, что Дания является для трагедии не более чем декорацией, что датским был только сюжет старинной скандинавской легенды, положенный в ее основу. “Стоит ли распутывать все эти исторические узелки, завязанные Шекспиром?” — задавался вопросом известный литературовед и отвечал: “Незачем. Трагедия ‘Гамлет’ ничего общего с исторической драмой не имеет, это философско-этическая драма; очерченная в ней Дания — условное, символическое преломление елизаветинской Англии”². Или, как отметил еще Гёте, где бы ни происходило действие пьес Шекспира, перед нами всегда “Англия, омытая морями”.

Относительно недавно было, однако, установлено, что автор пьесы тщательно изучил внутреннее устройство королевского замка Кронборг (в “Гамлете” — Эльсинор) и построил пьесу таким образом, что ее сюжетная линия буквально ведет зрителей от одного зала к другому по увешанным гобеленами коридорам, известным только обитателям дворца³. Сегодня именно в такой последовательности проводят экскурсии по замку, словно специально возведенному для постановки трагедии. Исторически верными оказались и датский обычай хо-

1. И. Гилилов высказал сомнение по поводу исполнения “Гамлета” в университетах, где, как известно, игрались только латинские пьесы, сочиненные преподавателями и студентами. Историки установили, что представления давались не в стенах учебных заведений, а на площадях Оксфорда и Кембриджа.

2. И. Е. Верцман. Гамлет Шекспира. — М. 1964.

3. Это знание деталей наиболее ярко обнаружилось в сцене убийства Полония, когда советник короля попал в покой к Гертруде, воспользовавшись потайным ходом, и оказался там быстрее Гамлета, прошедшего парадным коридором.

ронить королей в полном воинском облачении, и пиры под трубные звуки, и пушечные залпы, приветствующие знатных гостей, и подражание датской речи персонажей¹.

На основании этих и других находок была выдвинута гипотеза, что шекспировская трагедия “Гамлет” была сочинена не в 1591—1600 годах, как считалось ранее, а в 1603 году и приурочена к восхождению на английский престол шотландского короля Якова VI, принявшего имя Якова I. Более того, пьеса, как утверждается, имела своей целью угодить супруге короля Анне, дочери покойного правителя Дании и Норвегии Фредерика II. Новая английская королева испытывала теплую привязанность к Кронборгу: здесь она выросла, здесь же царственные молодожены провели медовый месяц, прожив в замке с января по март 1590 года. Шотландцу Якову было в то время 23 года, датчанке Анне — 14.

Одним из самых весомых аргументов в подтверждении этой версии явился письменный патент, подписанный королем Яковом через десять дней после его прибытия в Лондон. Патент предоставлял исключительные права труппе театра “Глобус”, которая отныне именовалась “Слугами короля”. Во время чумы 1603 года, когда все другие театры Лондона были закрыты и в городе вымерло 30 000 человек, один “Глобус” продолжал давать представления для высшей аристократии и лично для королевы Анны.

Этой внешне убедительной гипотезе противоречат некоторые моменты пьесы, изобилующей намеками, оскорбительными для королевской власти как таковой, оскорбительными для датчан, которых королева Гертруда клеймит бранью, называя их “дрянными датскими собаками”, оскорбительными для датского государства, в котором что-то “подгнило” и т. п. Следуя элементарной логике, подобного рода инвективы должны были неизбежно привести к противоположным результатам, чего, однако, не произошло.

Ниже мы попытаемся (хотя бы частично) дать объяснение некоторым противоречиям, свойственным этой уникальной для мировой литературы трагедии, и свести воедино общеизвестные, но незаслуженно игнорируемые факты.

“Этот Гамлет, для которого Дания — ‘тюрьма’, и притом “одна из худших тюрем, — подмечал видный советский критик, — этот принц со вкусами решительно не придворными — ‘не датский’ Гамлет и весьма странный принц — принадлежит, по-видимому, всецело инвенции Шекспира. Ни в хронике Саксона Грамматика, ни во французском пересказе Бельфоре нет мотива прибытия героя из иного края, нет отчуждения Гамлета от среды” (Л. Пинский). Или у другого ученого: “...вся траге-

1. Существует предположение, что драматург получил подробные сведения о Кронборге от английских актеров, проводивших там в 1586 г. три месяца по приглашению короля Фредерика II. По возвращении на родину они играли в одной труппе с Шекспиром.

дия о Гамлете, принце Датском, гораздо больше соответствует итальянскому образу жизни XV–XVII вв., бурным трагедиям итальянской действительности, чем условиям маленькой провинциальной державы” (Р. Самарин).

Средиземноморский компонент второго (главного для нас) кварто, усиленный присутствием нескольких итальянских имен, в издании 1603 года звучащих по-другому, всегда вызывал и до сих пор вызывает недоумение у читателей. Развивая высказывание Л. Пинского о “парадоксальном мотиве ‘чужестранца в своем отечестве’”, мы хотели бы обратить внимание на то, что все эти “неприемлемые” для скандинавского фона имена так или иначе связаны с Торквато Тассо, с его окружением, его произведениями. Попутно заметим, что имена литературных персонажей, если верить Бальзаку, “обладают своей особой жизнью, своим значением, оказывают роковое влияние на судьбу человека, и невозможно преувеличить важность их выбора”¹.

Итак, Бернардо (или Барнардо). Так звали отца Торквато, дипломата и поэта, прославившегося своей рыцарской эпопеей “Амадис”. Другим возможным кандидатом на имя Бернардо может быть художник Бернардо Кастелло, автор иллюстраций к изданию “Освобожденного Иерусалима” 1590 года, хотя эта версия представляется нам менее убедительной.

Рейнальдо. Маловероятно, чтобы это имя ассоциировалось с протагонистом ранней поэмы Тассо “Ринальд” (или “Ринальдо”, 1562). Скорее всего речь идет о крестоносце Ринальде из войска Готфрида Бульонского. Рейнальдом, кстати сказать, а не Ринальдом именует героя итальянской поэмы Э. Спенсер в предисловии к прижизненному изданию “Королевы фей”.

Горацио (Орацио). Прототипом этого товарища Гамлета по виттенбергскому университету, видимо, является феррарский знакомый Тассо Орацио Ариосто, внучатый племянник автора поэмы “Неистовый Роланд”. Он же выступил как сочинитель вступительных октав, предпосланных (без одобрения автора) ко всем главам “Освобожденного Иерусалима”.

И, разумеется, кульминацией итальянского присутствия в трагедии стал ее центральный эпизод — спектакль в спектакле — “Убийство Гонзаго”, или “Мышеловка”, представленный приезжими актерами в третьем акте.

Гонзаго (искаженное от Гонзага). Представители этого разветвленного рода широко присутствовали в жизни Тассо. Такое имя носил упомянутый выше кардинал Сципионе Гонзага, многолетний корреспондент и покровитель поэта. Ему, в частности, посвящен трактат “Рассуждения о поэтическом искусстве” (“Discorsi dell’arte poetica”, 1587).

1. Из книги Леона Гозлана “Бальзак в домашних туфлях”. Перевод С. Брахман.

Имя третьей жены герцога Альфонса, на службе у которого состоял Тассо, — Маргерита Гонзага. Во время ее бракосочетания с герцогом поэт вышел из себя и стал оскорблять придворных дам, за что был отправлен в цепях в сумасшедший дом. К семье Гонзага принадлежал также герцог Мантуи Гульельмо, секретарем которого служил Бернардо Тассо. И самое удивительное совпадение. Под той же фамилией известен инициатор освобождения Тассо из Св. Анны Винченцо Гонзага, которому приписывают *изменническое убийство* шотландца Джеймса Крайтона, приставленного отцом к молодому наследнику в качестве воспитателя.

Матерью Винченцо была Элеонора Австрийская, что, возможно, содержит намек на место убийства — Вену, хотя более убедительным выглядит, на наш взгляд, предположение, что австрийская столица возникла в “Гамлете” из-за ошибки переписчиков или типографов, перепутавших Вену с Венецией.

И еще одна аллюзия, не связанная на этот раз с семейством Гонзага. Наиболее вероятный исторический прототип “Мышеловки” — урбинский герцог Франческо Мария делла Ровере, который по преданию был убит в 1538 году, когда ему влили яд в ухо. Его внук — Франческо Мария II делла Ровере состоял с Тассо в переписке и был большим поклонником его творчества.

По словам Гамлета-драматурга, “Мышеловка” была “написана на весьма изысканном итальянском языке”¹. Следуя принятой нами логике, смеем утверждать, что Гамлет, говоря о собственной пьесе, подразумевал трагедию Тассо “Король Торрисмунд” (“Il Re Torrismondo”), в которой кровосмесительная любовь брата и сестры завершилась двойным самоубийством. Попутно обратим внимание на мужское имя Баптиста (итальянское — Баттиста), представленное в “Гамлете” как женское². В 1591 году в Лондоне вышло в подлиннике необычное сдвоенное издание, объединившее “лесную сказку” (fauola boschereccia) “наибожественного синьора Торквато Тассо” (divinissimo Sig. Torquato Tasso) и “трагикомическую” пастораль “Верный пастух” Баттисты (так сказано на обложке) Гварини. Мы не знаем, попала ли эта книга в руки Шекспиру и умел ли он вообще читать по-итальянски, и все же призываем прислушаться к тому, как отрекомендовал приезжих комедиантов Полоний: “Лучшие в мире актеры для трагедии, комедии, исторических пьес, пасторали, пьес пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагико-комико-историко-пасторальных, для пьес с соблюдением единств и для драматических поэм, не ограниченных правилами. Для них и Сенека не слишком мрачен, и Плавт не слишком легкомыслен. Как при исполне-

1. Перевод М. Морозова.

2. Мужской персонаж Баптиста присутствует в “Укрощении строптивой”.

нии написанных ролей, так и в импровизации они не имеют равных”¹.

V. Кесарю – кесарево

[261]

ИЛ 6/2025

Я не боец. Я мерзостно умен.
Не по руке мне хищный эспадрон,
Не по груди мне смелая кираса.
Но упивайтесь кровью поскорей:
Уже гремят у брошенных дверей
Железные ботфорты Фортинбраса.

Г. ШЕНГЕЛИ *Трагические эхо Эльсинора!*..

Ассоциация итальянской поэзии с севером Европы, на первый взгляд, удивительна, но только на первый взгляд.

В эпосе Тассо о Первом крестовом походе, дополненной сознательным вымыслом, присутствуют двое датчан, роль которых в развитии сюжета невозможно переоценить. Это идущий на помощь Готфриду королевич Свен и рыцарь Карл, посланный на поиски итальянца Ринальда (последнему предстояло отомстить за смерть королевича, убитого турецким султаном Сулейманом). Примечательно, что Свен, несмотря на свою важнейшую роль в повествовании, на страницах эпоса отсутствует, о нем только говорят, что напоминает шекспировского Фортинбраса, норвежца, имя которого произносится в “Гамлете” 12 раз, но который появляется только в двух коротких эпизодах в конце пьесы. Норвежцем, кстати сказать, был по сюжету поэмы и принц Гернанд, убитый Ринальдом.

Тяга к скандинавской тематике не ограничивалась у Тассо героями “Освобожденного Иерусалима”. В последние месяцы своего заключения он напряженно работал над переделкой драматического наброска “Галеальт, король Норвегии” (“Galealto re di Norvegia”), задуманного, вероятно, сразу же после пасторали “Аминта” в 1573 году, но оставленного на втором акте. Так родилась упомянутая выше пятиактная пьеса “Король Торрисмунд”, единственная законченная трагедия поэта, рисовавшая варварские обычаи обитателей полярного края. В основу трагедии легла, помимо прочих источников, книга преподобного Олауса Магнуса “История северных народов”, изданная в Риме в 1555 году и переведенная в 1565-м с латыни на итальянский. Современники Тассо приняли появление пьесы с восторгом: в течение первой половины 1587 года она выдержала 11 переизданий. Тема кровосмешения, крайне популярная в европейской драматургии

1. Перевод М. Морозова.

второй половины XVI века, не могла не привести в восприятии читателей к сравнению “Короля Торрисмунда” с “Царем Эдипом” Софокла. Отметим, что современник К. Батюшкова И. А. Плетнев назвал Тассо “Эдипом новой Истории”, а страстный почитатель Шекспира З. Фрейд и его ученики считали эдипов комплекс объяснением загадки Гамлета.

Своему обращению к северной экзотике Тассо дал теоретическое обоснование в трактате “Рассуждения о поэтическом искусстве”, вышедшем в 1587 году в Венеции в период растущей популярности “Освобожденного Иерусалима” в Англии:

“Поэту следует избегать неправдоподобных сюжетов; наиболее неправдоподобно выглядят события, якобы происшедшие в соседней, хорошо знакомой стране, среди дружественных народов, потому что, повествуя о далеких народах и неизвестных странах, мы легко можем придать правдоподобие многим выдумкам, не умаляя убедительности повествования. Материал для таких поэм следует, напротив, искать в стране готов, в Норвегии, Швеции, Исландии, или в Ост-Индии, или в странах, недавно открытых в безбрежном океане за Геркулесовыми столбами” (“Discorsi dell’arte poetica e del poeta eroico”).

И с исторической, и с географической, и с культурной точки зрения Англия, разумеется, несравнимо ближе к Дании, чем Италия, что не мешает нам разглядеть в образе Гамлета многие черты, присущие автору поэмы “Освобожденный Иерусалим”, перевод которой король Яков I ценил “превыше всех других английских стихов”.

Даже при самом поверхностном рассмотрении становится ясно, что поведенческая модель депрессивного, погруженного в себя Гамлета как две капли воды походит на фобии и неуместную раздражительность итальянского поэта, не прижившегося при дворе Альфонса II и позднее надломленного семью годами несвободы. В 1911 году в своей статье для “Британской энциклопедии” Джон Аддингтон Симондс, крупный специалист по литературе эпохи Возрождения, сказал о Тассо, что тот, “подобно Гамлету, пребывает в рассеянности от непригодности к обстоятельствам своего века”. И добавил: “Умалишенным он был вне всякого сомнения...”

Гамлет говорит дерзости королю и обличает придворных, он опасается, что за ним ведут слежку, он находится в постоянной тревоге и везде подозревает обман, он нигде не находит себе места, он чувствует себя опустошенным, он сомневается во всем и даже в самом себе, его поступки непредсказуемы... Перечисление этих характеристик можно продолжать до бесконечности, поскольку любая из них приложима к Тассо. Вот краткое изложение злополучий поэта, взятое из старого энциклопедического словаря: “...огорчения ввергли Тассо в глубокую задумчивость. Он стал сомневаться в своих лучших друзьях, подозревал в подкупе своих слуг, и даже вообразил се-

бе, что на него донесли инквизиции. Несмотря на свое всегдашнее благочестие, он однажды изложил (на бумаге) некоторые сомнения о тайнах творения, о бессмертии души, и это сочинение так сильно мучило его совесть, что он сам донес об этом болонскому инквизитору. Этот монах, извещенный герцогом феррарским, старался его успокоить; но сомнение не могло выйти из его головы. Он почитал себя окруженным шпионами, доносчиками, отравителями и убийцами...”¹ (в скобках заметим, что королем Яковом владел навязчивый страх, что на него готовится покушение).

Нельзя не подчеркнуть и чисто внешнее сходство: “...наружность Гамлета привлекательна, — писал И. Тургенев. — Его меланхолия, бледный, хотя и нехудой вид <...>, черная бархатная одежда, перо на шляпе, изящные манеры, несомненная поэзия его речей, постоянное чувство полного превосходства над другими, рядом с язвительной потехой самоунижения, все в нем нравится, все пленяет; всякому лестно прослыть Гамлетом”. Судя по прижизненным портретам, Тассо тоже всегда одет в черное по тогдашней испанской моде, с белым кружевным воротником, что считалось признаком элегантности и достоинства. Подобно Гамлету, он сочетает в себе качества “вельможи, бойца, ученого” — “иногда с книгой в руках, но чаще с рапирой на боку” (Л. Пинский); для обоих характерна “рыцарственность, унаследованная от старого времени” (А. Аникст). Шпага принца (и Тассо) может быть при малейшем поводе пущена в дело. В иные минуты и тот и другой способен “сделаться необузданным, колким, бессердечным” (Г. Брандес). Услышав крысиный писк, Гамлет протыкает прячущегося за гобеленом Полония, принимая его за короля: так Тассо в часы бессонницы, сопровождаемые галлюцинациями, в испуге видел “за пологом кровати тени крыс, которые по естественным причинам не могли там находиться, и слышал жуткие визги” (“Lettere familiari”).

И Гамлет, и Тассо беседуют с призраками, невидимыми другим людям, духи открывают им тайны и пророчества — об этом много в письмах итальянского поэта, об этом мы читаем у его первого биографа Дж. Мансо, об этом повествуется в его диалоге “Посланник” (“Il Messaggiero”), написанном в 1580 году в Св. Анне, когда узнику привиделся влюбленный дух, сошедший к нему в образе мальчика. В “Освобожденном Иерусалиме” потусторонние силы, тени павших крестоносцев и загробные духи являются полноправными участниками событий наравне с историческими и вымышленными воинами (и воительницами) на протяжении всей эпопеи.

Тень отца Гамлета играет ключевую роль в трагедии Шекспира. Призрак рассказывает сыну, что он умер без погребения.

1. Справочный энциклопедический словарь. Издание К. Крайя под редакцией А. Старчевского. — Т. 10. — СПб, 1855.

ния и находится в Чистилище (догмат, официально отрицаемый англиканской церковью с 1563 года). На этом основании нетрудно сделать вывод, что убитый король — католик, что было характерно для трагедий мести. Значит, католик и Гамлет, что вновь роднит его с Тассо, выступившим в своей эпохее певцом воинственного католицизма (тайным или явным католиком считается, к слову сказать, и отец Шекспира).

И наиболее яркая черта сходства, о которой мы уже упоминали при разговоре о “Меланхолии Тассо”: и Принц Датский, и подданный Альфонса II ведут себя как сумасшедшие или очень искусно притворяются таковыми. О том, что Гамлет намеренно симулирует безумие, недвусмысленно говорилось уже в древнескандинавской саге, записанной Саксоном Грамматиком. С певцом “Освобожденного Иерусалима” дело обстояло значительно сложнее. Предположение о том, что Тассо только изображал душевнобольного, давно просматривалось в его опубликованных письмах, однако публично сомнение в реальности недуга было высказано только через пятнадцать лет после его кончины. В 1610 году Алессандро Гварини, сын драматурга Джамбаттисты Гварини, опубликовал книгу “Безумный мудрец, или Тассо” (“Il farnetico savio ovvero il Tasso”), написанную в форме диалога, в котором автор вложил в уста феррарского узника (знакомого ему лично) фразу: “...я нарочно притворялся сумасшедшим” (*deliberai di fingermi forsennato*). И действительно, диагноз поэту формально поставил один-единственный человек — герцог Альфонс II, впоследствии упорно настаивавший на правильности первоначального вердикта. Существует версия, что герцога ввел в заблуждение сам Тассо, который не раз признавался в частной переписке, что имитировал слабоумие в надежде вернуть себе благосклонность своего покровителя. Посетители Св. Анны вспоминали, что заключенный находился при встречах с ними в абсолютно здравом уме. О том же “кричали” письма Тассо, обращенные к европейским государям, безуспешно добивавшимся его освобождения. Дальнейшие события показали, что, независимо от тяжести психического состояния поэта при аресте, на свободу он вышел совершенно неуравновешенным человеком. Пользуясь медицинской терминологией, симптоматика Тассо в последние годы жизни мало чем отличалась от неврастения Гамлета, даже если мы останемся при мнении, что речь на каком-то этапе шла о симуляции.

Никакой “меланхолический темперамент” не отменяет тем не менее способности к интеллектуальной деятельности, а иногда даже почитается признаком высокого творческого потенциала, особенно если принять во внимание модные в XVI–XVII веках теории о гениях-меланхоликах, почерпнутые из трактата “Проблемы”, приписанного Аристотелю. Как отмечал К. Батюшков, “Тасс, к дополнению несчастья не был совершенно сумасшедший, и, в ясные минуты рассудка, чувст-

вовал всю горестъ своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменило. И в узах он сочинял беспрестанно”. Герой шекспировской трагедии упоминает мимоходом, что писательское ремесло ему не чуждо (“монолог стихов в двенадцать — шестнадцать, который я напишу и включу в пьесу”¹). Он обладает проницательным, тонким, скептическим умом, он прекрасный оратор, роль его самая многословная в шекспировских пьесах (объем текста, звучащего из его уст, составляет 1506 строк!), что, разумеется, соотносится с пространной манерой изложения, присущей Тассо в его религиозных и этических трактатах, хотя надо признать, что сочинения итальянского гуманиста носят фундаментальный характер и едва ли могли восприниматься на слух разношерстным зрительным залом елизаветинских времен.

“Глубокомыслие” Гамлета (Г. Гегель) и его ученость, о которых ничего не сказано в скандинавской хронике, неизбежно привели исследователей к поискам современных драматургу источников, наиболее очевидным из которых было признано лондонское издание “Опытов” Мишеля Монтеня, упомянутое нами выше в связи с возможной встречей французского философа с Тассо во время его посещения Феррары. Ницше считал Шекспира лучшим читателем Монтеня, а итальянский историк литературы Марио Прац подчеркивал, что на этой книге Шекспир “взрастил своего Гамлета”. В библиотеке Британского музея сохранился экземпляр “английского Монтеня”, на котором обнаружен автограф Шекспира, однако подлинность надписи оспаривается.

Публикация “Опытов” в изобретательном, хотя порой и не очень точном переложении Джона (Джованни) Флорио произвела в английском образованном обществе сенсацию. Переводчик книги, которого называют другом, наставником и чуть ли не соавтором “великого Барда”, отметил в предисловии, что он, “подобно ласковому приемному отцу”, доставил книгу “из Франции в Англию, облек ее в английские одежды и научил говорить на нашем языке” (a fondling foster-father, having transported it from France to England; put it in English clothes; taught it to talke our tongue)². “Истинный английский язык” Флорио (true English) получился таким же пышным, как богато расшитые бархатные платья королевы Елизаветы. Читатели начала XVII века, даже такие видные, как Джон Донн, Уолтер Рэли или Фрэнсис Бэкон, владевшие французским, предпочитали не одолевать лингвистические трудности оригинала, а пользоваться переводом Флорио, карьера которого шла стремительно вверх.

1. Перевод М. Морозова.

2. The Essayes of Montaigne. Translated by John Florio. — London, 1603.

После воцарения Якова I Стюарта он был приближен ко двору, где получил почетную должность (Groom of the Privy Chamber) и, живя в королевском дворце, не только преподавал Анне Датской итальянский язык, но и в качестве ее личного секретаря вел придворную переписку. Отмечалось, что секретарь имел огромное влияние на государственные дела и не упускал случая польстить новой королеве в своих итальянских сонетах¹. Очевидно, что при таком советнике угождение умственным запросам монарха и его супруги во многом определялось вкусами Флорио-литератора, с энтузиазмом приобщавшего королевскую чету к сочинениям “французского Сократа”.

Здесь необходимо подчеркнуть, что Яков I имел репутацию “ученейшего короля христианского мира”, знал несколько иностранных языков и сам занимался сочинительством: помимо стихов он писал трактаты, самый заметный из которых “Демонология” (1597) посвящался теоретическим вопросам о ведовстве, которое автор считал подразделом теологии (еще одна переключка с Тассо и его сценами магии и волшебства). Не забудем также, что монарх был сыном католички и в молодости исповедовал католическую веру. Позднее, перейдя в протестантство и женившись на протестантке, он увлекся теологией до такой степени, что участвовал в диспутах на богословские темы.

Джон Флорио, говоривший о себе, что он “по языку итальянец, а в сердце англичанин” (Italian tongue, but English at heart), во всех своих печатных высказываниях последовательно выступал как поклонник Тассо, не упуская случая воздать хвалу его гениальности. В своем итальянско-английском словаре “Мир слов” (“A Worlde of Wordes”, 1598) он не просто упомянул “Освобожденный Иерусалим” в перечне прочитанных книг, но и широко использовал лексику поэмы в качестве лингвистической базы своего труда. В первое издание “Опытов” Монтеня он включил, причем без всяких на то оснований, целый пассаж, начинающийся словами: “Ибо, как сказал знаменитый Торквато Тассо...” (For, as famous Torquato Tasso saith...), отсутствующий в оригинале. Во втором издании переводчик без объяснений поставил цитату в скобки, чем окончательно ввел в заблуждение читателей.

О влиянии книги французского философа на создание образа Гамлета-мыслителя написано очень много. Что же до предполагаемого участия Джона Флорио в доведении трагедии до ее нового интеллектуального уровня, то об этом можно прочесть только у сторонников гипотезы, согласно которой Флорио и есть Шекспир. Факт остается фактом: по

1. Рукописи неподписанных стихотворений “Нимфа Темзы” (“La Ninfa del Tamigi”) и “Портрет Светлейшей королевы Англии” (“Ritratto della Serenissima Madama Reina d’Inghilterra”) хранятся в Британском музее.

своим латентным задачам второе кварто в корне отличалось от прямолинейного “Ур-Гамлета” и подобных ему спектаклей пятнадцатилетней давности, когда, по едкому замечанию Томаса Нэша, на зрителя обрушивались “целые Гамлеты, иначе говоря, пригоршни трагических монологов” (1589)¹, и “бледный, как личина призрака”, персонаж “жалобно заливался на театре, подобно торговке устрицами: ‘Гамлет, отомсти!’” (1592)².

Развивая версию стратегического замысла при написании политически корректного, актуального “Гамлета”, мы должны признать, что выход патриотической драмы, драмы “на злобу дня”, не мог обойтись без одобрения высочайшими особами королевства. Важно помнить, что в течение первых двух лет правления Якова I в печатном виде было доступно только первое короткое кварто, в котором датская монархия присутствовала как наследственная, хотя в реальности она таковой не являлась. В тексте второго кварто дважды появляется слово “избрание”, ранее в нем отсутствовавшее и крайне значимое для государственного устройства Дании. “Как ты думаешь, — обращается Гамлет к Горацио, — разве теперь я не должен рассчитаться с тем, кто убил моего короля и осквернил мою мать, встал преградой между моими надеждами и моим *избранием* на престол...” (курсив мой. — Р. Д.)³. И если в первом кварто последние слова Гамлета были: “Господи, прими мою душу!”, то привычный для нас вариант полностью соответствует исторической правде:

...из Англии

Вестей мне не узнать. Но предрекаю:

Избрание падет на Фортинбраса;

Мой голос умирающий — ему...⁴

Ходили слухи, что на смертном одре Елизавета назвала Якова своим преемником, после чего появились печатные обоснования его королевского титула. Тем не менее мы сознательно уходим от обсуждения вопроса об определенном сходстве шотландского короля Якова VI с норвежским королем Шекспира — чужестранцем, воссевшим на престол соседней державы. Это увело бы нас слишком далеко от основной темы. Скажем только, что, считая себя мудрым, праведным судьей (“Шотландским Соломоном”), Яков I был убежден, что “короли являются не только заместителями Бога на Земле <...>, но даже самим Богом они признаны Богами” (тезис, вы-

1. Preface to Greene’s Menaphon: “...whole Hamlets, I should say handfuls of Tragicall speeches”.

2. Thomas Lodge: “...as pale as the Visard of the Ghost which cried so miserally at the Theator like an oister wife, Hamlet, revenge”.

3. Перевод М. Морозова.

4. Перевод М. Лозинского.

двинутый Шекспиром в 1595 году в “Ричарде II”). Свой собственный трон первый английский монарх из династии Стюартов считал наследственным и незыблемым, а принца Гамлета (смеем предположить) — главным источником бед в королевской семье, копией безумного придворного поэта Торквато Тассо, обладавшего гением, достойным восславить великую фигуру Готфрида, но не совладавшего с жизненными обстоятельствами. Финал трагедии, по-видимому, вполне устраивал монарха:

“Похоронный марш. Все уходят, унося тела, после чего раздастся пушечный залп”¹.

Постскриптум

Настоящая статья не является самостоятельным исследованием, претендующим на новое слово в шекспироведении, и представляет собой компиляцию сведений, полученных из английских, итальянских и других зарубежных источников. Примечательно, что практически ни одна из предложенных нами трактовок не получила должного освещения в научной литературе на русском языке, причем не только в советский или постсоветский, но и в дореволюционный период. Признавая очевидный факт того, что “влияние Италии давно начало проникать в Англию литературным путем” (А. Веселовский), российские критики настойчиво убеждали, что “Гамлет” и не датская, и не итальянская, а, прежде всего, английская национальная трагедия. Но, создавая в ней обобщение европейских масштабов, Шекспир черпал материал для пьесы из разных источников современности и недавнего прошлого” (Р. Самарин). Конкретные источники при этом старательно замалчивались.

Были попытки привлечь к разговору об английском Возрождении политически приемлемую фигуру Данте, но и здесь ничего не получилось: пришлось признать, что хотя Шекспир и Спенсер “несомненно испытали итальянское влияние”, и “‘Божественная комедия’ и ‘Новая жизнь’ остались по разным причинам за пределами их интересов” (И. Голенищев-Кутузов). Другой видный специалист, автор учебника по литературе Возрождения, высказывался еще категоричней: “И хотя среди своих именитых наставников [Спенсер], наряду с Ариосто и Тассо, называет Гомера и Вергилия, собственно классический элемент не является в его поэме определяющим. Впрочем, и с итальянскими поэмами ‘Королева фей’ соприкасается только отчасти. Существенной особенностью ее можно считать то, что она тесно связана с английскими национальными традициями” (Б. Пуришев).

В целом создается впечатление, что тема преемственности итальянских традиций в последние десятилетия правления Тюдоров воспринималась в советское время и до сих пор воспринимается болезненно, и если, скажем, история возникновения петраркистского сонета в Англии признается как неизбежность, то доминирующая роль Тассо на елизаветинской литературной сцене выглядит не иначе как курьезом.

А ведь помимо “Гамлета” предметом анализа могли бы стать и другие шекспировские драмы — “Два веронца”, “Тщетные усилия любви”, “Сон в летнюю ночь”, “Цимбелин”, — открывающие перед внимательным исследователем не только пасторальный стиль, заимствованный из “Аминты”, но и многочисленные менее очевидные аллюзии. Не говоря уже о “Буре”, одной из важнейших пьес позднего Шекспира с ее оккультными мотивами на фоне плаваний в запредельные земли и прямыми переключками с “Освобожденным Иерусалимом”. Когда Ариэль во второй сцене первого акта восклицает: “Ад опустел — все черти здесь теперь” (“Hell is empty, and all the devils are here!”), сложно не заметить, что это почти буквальное повторение строки Тассо — факт, особенно очевидный при сопоставлении шекспировского текста с английским переводом Э. Фэрфакса:

The earth was filled with devils, and empty hell.

Общеизвестно, что Шекспир заимствовал отовсюду: от старинных легенд и хроник до ренессансных новелл и поэм. Это было в традициях эпохи, и не стоит удивляться, если примером для подражания становились для него самые популярные в ренессансной Англии зарубежные авторы, будь то Тассо или другой житель Феррары — Гварини. Как писал тогдашний сатирик,

Все наши стихотворцы-англичане
Из тех, что преуспели в итальянском,
У этого поэта будут красть,
Почти как воровали у Монтеня...¹

Перечисление источников, положенных в основу предлагаемой статьи, заняло бы несколько страниц. В заключение отметим, что все они послужили платформой для более развернутой, обобщающей аргументации, не предпринятой до сих пор никем, и не только в России.

1. “All our English writers, I mean such as are happy in the Italian...” Из пьесы Бена Джонсона “Вольпоне, или Лис” (“Volpone, or The Fox”, 1607).

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

Пролитая вода

Как наверняка у многих практиков, у меня есть несколько собственных своего рода “правил буравчика”, чтобы, не вдаваясь каждый раз в теоретизирование и поиски доводов, уяснять себе по ходу дела какие-то важные вещи, касающиеся искусства. Например, о степени художественности литературного произведения я сужу по желанию или нежеланию перечитывать его.

“Хаджи-Мурата” я читал неоднократно, и меня даже немного подзнабливает, когда я в очередной раз открываю эту книгу.

В поздних дневниках Льва Толстого встречаются виноватые признания, что его тянет вновь заняться художественной литературой, но это-де — слабость и нехорошее баловство, как, впрочем, и вообще искусство. Можно было бы счесть подобные откровения традиционным оправданием творческой немочи, чем-то вроде “виноград зелен”, если бы, дав наконец слабину, писатель на старости лет не разразился сочинением, о котором

выдающийся американский литературовед Гарольд Блум сказал: “‘Хаджи-Мурат’ — величайшее исключение из правил позднего творчества Толстого: тут старый шаман соперничает с Шекспиром...”

Повесть писалась с перерывами с 1896 по 1904 год, не была опубликована при жизни Толстого, но с ней автор не расставался до своего знаменитого ухода из Ясной Поляны и смерти на станции Астапово.

Толстой прожил страстную и конфликтную жизнь. Ему случалось враждовать не только с официальной религией, церковью и государственной властью, но и с такими явлениями и проявлениями жизни, как музыка, поэзия, плотское вожделение. Причем он, повторюсь, ополчался на искусство или влечение плоти не от худосочия, а наоборот, оттого что слишком знал, с чем имеет дело — от избытка чувств, чувствительности и чувственности, сводящих на нет его пожизненные усилия самообладания. Известно, что при звуках музыки он заливался слезами, а как-то в молодости просил своих дворовых людей связать себя, чтобы не

дать уйти в деревню — утолить неистовое желание с какой-нибудь крестьянкой.

Вот и в “Хаджи-Мурате” старый, но не по летам горячий автор с ходу перечит неписанным правилам хорошей литературы, нарушая условности, так сказать, первого порядка. Очень по-бытовому он рассказывает, как на прогулке ему захотелось дополнить букет полевых цветов ярким цветком, называемым в тех местах “татаринном”, но это оказалось непросто, колючее растением “живым не далось”. А несколько минут спустя на глаза рассказчику попала еще одна обезображенная колесами или бороной колючка той же породы. “И мне, — говорит рассказчик, — вспомнилась одна давнишняя кавказская история”, после чего подробно рассказывает свою историю, завершая рассказ словами: “Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля”. Обычно опытные писатели доверяют читателю самостоятельно провести подобные аналогии, это уважительно называется “недосказанностью”, но Толстой пренебрегает азбучными навыками литературного ремесла. С таким же пренебрежением к незамедлительному включению читателя в повествование и игру авторского воображения Толстой, прежде чем приступить собственно к рассказу, знакомит читателей со своей писательской кухней: “И мне вспомнилась одна давнишняя

кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая”.

И старик с букетом, про которого тысячи читающих обитателей земли знали, что он — гений и учитель, начинает рассказ. И мы тотчас покорно впадаем в сон наяву: “Это было в конце 1851-го года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет”. Толстой не впервые заводит речь на безыскусно-архаичный лад, как бы в двух словах обозначая непреложные обстоятельства, чтобы уже перейти к делу. Вот самое начало “Кавказского пленника”: “Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин”. Такой напоминающий справку скупой слог бывает свойственен сообщениям, убежденным в своей значительности и насущности — “Был человек в земле Уц, имя его Иов...”¹

Герой повести — отважный соратник имама Шамиля Хаджи-Мурат из-за ссоры с имамом перешел на сторону русских, которым пообещал воевать против имама при условии, что будет отпущена на волю его семья, взятая Шамилем в заложники. Но, не выдержав

имперской военно-бюрократической волокиты, преумноженной интригами в российской администрации, Хаджи-Мурат бежит обратно в горы и гибнет в схватке с преследователями.

Сюжет относительно небольшого сочинения неустанно блуждает, раз за разом возвращаясь, однако, к событиям прошлого и настоящего главного героя. Во время этих отступлений читатель оказывается в самых разных местах. Например, в деревне, откуда родом сраженный чеченской пулей солдат Авдеев, и мы узнаем дословно, какое письмо написала ему мать, еще не зная о гибели сына, а заодно о том, что жена его, солдатка Аксины, беременна от приказчика и втайне обрадуется смерти мужа. Вместе с царем Николаем I читатель посещает маскаррад, где старый монарх сводит знакомство с глянувшей ему двадцатилетней дочерью шведки-гувернантки, и своим чередом девушка “была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами...”. Читатель делается свидетелем торжественного въезда имама Шамиля в аул Ведено и ужасного карточного проигрыша офицера Бутлера после праздничного обеда в честь проводов в отставку генерала Козловского. И проч., и проч., и проч. Даже и о вовсе третьестепенных персонажах мы получаем немало сведений: так, Вавиле, слуге ротного командира Полторацкого, уже за срок, а он не обзавелся семьей,

потому что мальчиком был взят в услужение к господам; а об уряднике Назарове, появившемся лишь в кровавой развязке повести, которому и жить-то осталось несколько абзацев, нам становится известно, что тот “был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями...”

Иными словами, целая своеобразная вселенная заключена в относительно скромных размеров повесть, и уподобление автора всемогущему, всевидящему и вездесущему всевышнему не кажется преувеличением, во всяком случае в сравнении со многими другими замечательными писателями.

В первой же главе мы подпадаем под обаяние главного героя опосредованно: так убедительно и непринужденно писатель передает атмосферу почтительного и сдержанно-любовного гостеприимства, оказанного Хаджи-Мурату горцем Садо и его домашними, вопреки опасности, которой они подвергаются, принимая у себя врага Шамиля. О повадках гостя мы узнаем совсем чуть-чуть, но какая это красноречивая и располагающая к знаменитому аварцу малость! “Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб”. Здесь впервые слышится нота подлинного челове-

ского достоинства героя. Она раздастся еще не раз. Например, в Тифлисе на вечере во дворце М. С. Воронцова, главнокомандующего войсками на Кавказе и кавказского наместника царя: “В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена ‘сардаря’ тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них”. Или в поразительном в

устах прославленного воина признании в трусости, когда, рассказывая адъютанту Воронцова Лорис-Меликову свою жизнь, он дошел до коварного убийства братьев-ханов, с которыми воспитывался с детских лет:

“Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его бурно покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся”.

Отсутствие, как было сказано, литературных условностей первого порядка соседствует у Толстого с индивидуальным искусством такого уровня, который и мастерством-то называть не хочется. Он — виртуоз зрительных эффектов: “Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев”. А от внезапного превращения словесности в кинематограф в нижеследующем отрывке у меня (и это не красное словцо!) на мгновение земля поплыла под ногами: “Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидел сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и дождал их. Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкес-

ке, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат”. Задним числом я, кажется, понял устройство этого оптического аттракциона. Издали различимы крупные существа и предметы (несколько всадников — конь — черкеска), а по мере приближения к наблюдателю — и более мелкие (папах с чалмой — оружие, его выделка — лицо всадника). Но поскольку перечисление увиденного Полторацким уместилось в одно небольшое предложение, которому предпослана ремарка, что верховые догоняли наблюдателя, то иллюзия быстро приближающейся кавалькады особенно наглядна.

А точность передачи телодвижений, одна из серьезных трудностей словесного искусства: “‘Не тебе мешать’, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них!” Одним предложением передан жест картежника — и его нрав.

А разнообразие способов ознакомления с тем или иным персонажем! Что собой представляет военный министр Чернышев, читатель, может показаться, узнаёт не от автора, а из сиюминутных воспоминания пребывающего не в духе царя: “Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара

Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом”. А пока главный герой прерывает рассказ о своем прошлом и уединяется для молитвы, любопытный и наблюдательный Лорис-Меликов, адъютант наместника, знакомится в соседней комнате с четырьмя мюридами Хаджи-Мурата — четыре совершенно живых физиономии, будто фаюмские портреты!

А образная речь простонародья! Вот Хаджи-Мурат тайком, потому что люди Шамиля ищут его повсюду, приезжает на ночлег в безопасное место и спрашивает у старика, обитателя убежища, что нового. “Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого”. (На память приходит злое иносказание Пугачева из “Истории пугачевского бунта”: “Я не ворон, <...> я вороненок, а ворон-то еще летает”).

А вот Хаджи-Мурат уже в Тифлисе начинает рассказ о себе: “Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах...” Далее речь идет о коварном убийстве молодых ханов. В свой черед узурпатор Гамзат призвал и мать-ханшу к себе.

“Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними”.

Как наглядно и презрительно логика нравственного падения передана медленными, но упрямыми движениями животного, скорей всего, плотоядного!

И вся эта художественная роскошь одухотворена заветным открытием Толстого — сосуществованием бок о бок и вперемешку живой жизни и подделки под жизнь. Живая жизнь одушевлена лучшими переживаниями, прежде всего сочувствием и состраданием, направленным вовне, а подделка с не меньшей страстью поглощена себялюбием¹.

Рядовой Авдеев был убит, потому что поступил по совести — пошел в военную службу вместо многодетного брата, а бессовестная ложь воинской повинности и захватнической войны почитаются в поддельной жизни доблестью и добродетелью. Хаджи-Мурат из раза в раз рискует собой и в конце

концов гибнет, чтобы спасти свою семью, но и его жизнь, и судьба его домашних зависят от ничтожеств с их ничтожными и низменными заботами, не имеющими никакого отношения к беде Хаджи-Мурата, например от “подлеца” и придворного интригана министра Чернышева, гордящегося тем, “что не знал калош”, или от злопамятности мнительного Шамиля.

А царящая в мире неправда упорно выдает фальшивую жизнь за главную, и весь трагикомизм происходящего состоит в том, что и жертвенные люди, и себялюбцы в равной мере смертны. И Хаджи-Мурат из-за близости к природе, традиционно-архаичного воспитания и образа жизни бок о бок со смертью воспринимает ее как должное, и это торжественное знание придает ему силы и безотчетно чувствуется окружающими. Вот он произносит ритуально-почтительные слова на аудиенции у наместника Кавказа князя М. С. Воронцова: “Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне...” Вот слушает в ночь перед побегом заунывное пение своих мюридов, проникаясь покоем и решимостью перед лицом смертельной опасности. А вот прямая речь и самого автора: “Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее

1. Это толстовское открытие так увлекло литературного последователя Толстого Хемингуэя, что в романе “Иметь и не иметь” он воссоздал не только пафос, расклад сил и нравственные акценты “Хаджи-Мурата”, но придал главному герою с популярными англосаксонскими именем и фамилией Генри Морган азиатский облик: “лицо с широкими монгольскими скулами и узкие глаза”, “похож на татарина... У него лицо просто как у какого-то Чингисхана...” Скорей всего, американца сбило с толку уподобление аварского воина растению с простонародным названием “татарин”.

и возвращения к тому источнику, из которого она вышла...” И до слуха читателя может донестись эхо Писания, где сквозь летопись грозных событий время от времени раздается: “Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать...”¹

В повести много поют. Русские солдаты — залихватские строевые песни, горцы поют другие; одна из них как бы предвосхищает сюжет повествования. В ней поется о джигите Гамзате, окруженном русским войском и просящим перед смертью перелетных птиц рассказать дома о его кончине. Перед самой гибелью Хаджи-Мурат вспомнил эту песню, и ему “вдруг стало серьезно на душе”. Песня сбывается, разве что птицы не высоко в поднебесье, а соловьи в весенней зелени. Они оглашают трагический финал “Хаджи-Мурата” и умолкают лишь во время пальбы и рукопашной, чтобы потом снова взяться за свое, символизируя то ли победу жизни, то ли равнодушие природы к людским страстям и бедам.

Глава ближе к концу, где бессонной ночью под впечатлением от пения мюридов Хаджи-Мурат впадает в задумчивость, вспоминает свою жизнь, начиная с раннего детства, и окончательно решается на бегство от русских, исполнена поразительного лиризма. Но следом

за ней предпоследняя, совершенно противоположного — отталкивающего содержания и смысла. Симпатичный было Бутлер опускается и, чтобы забыть неподъемный карточный долг, пьет все больше и хуже, и его обаятельная влюбленность в Марию Дмитриевну, сожительницу командира, превращается в казарменные домогательства. Армейская попойка и сильно опьяневший Иван Матвеевич, размахивающий шашкой верхом на стуле, не веселят. Атмосфера довольно тягостная, будто в “Поединке” Куприна.

Однако полнолуние, и грустный Бутлер бредет домой, случайно встречает Марию Дмитриевну, они поворачивают к дому и у крыльца видят верховых, которые, посмеиваясь и говоря загадками, извлекают из мешка обезображенную голову Хаджи-Мурата¹. А всего-то две-три страницы назад герою, еще полному жизни, “вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синюю головенку...”! И с поэтиче-

1. Жаль, Толстой оставил в черновиках выразительный и психологически точный фрагмент: “Они подошли к дому. Каменев слез, пожал руку Марье Дмитриевне и, войдя с ней на крыльцо, взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь?

— Да что такое? арбуз? — сказала Мария Дмитриевна, и что-то ей стало страшно”.

ских высот предыдущей главы с соловьиными трелями и вещей песней мюридов мы точно сразу спускаемся в подвал мертвецкой.

Окончание истории будто бы передано со слов офицера Каменева, доставившего страшный мешок. Но здесь автор в очередной раз пренебрег литературными условностями и рассказал все своим толстовским слогом. Это рассказ о бегстве Хаджи-Мурата и его людей, погоне за беглецами и их гибели после жестокой схватки.

Получается, что читатель переживает смерть героя дважды: в предпоследней мрачной главе, когда дело уже сделано, и в последней — заново и в подробностях. (Впрочем, и во вступлении чертополох гибнет два раза: сначала от руки рассказчика, потом уже другой такой же цветок раздавлен на пашне.)

И все-таки, почему Толстому понадобилось нарушить хронологию событий?

У меня есть два объяснения.

Первая причина. Загодя поставив читателя в известность о смерти героя, Толстой убрал из финала истории авантюрную составляющую. (Сходным образом поступили Достоевский в “Преступлении и наказании” и Набоков в “Лолите”, еще в начале своих романов избавившись от соответственно детективных и порнографических жанровых примет и перейдя к психоло-

гической драме.) Читая последнюю главу “Хаджи-Мурата”, уже знающий о смерти героя читатель не следит, удастся ли Хаджи-Мурату побег, а вовлечен в драматическую подоплеку повести.

Вторая причина. Я не знаю какого-либо другого писателя, который чувствовал бы себя в полной мере вседержителем своего воображаемого мира. А раз так, то беллетристические время и пространство автору не указ. Он умудряется запросто присутствовать в дворцовых покоях наместника Кавказа и — темным зимним утром на гумне Авдеевых; с гневной насмешкой взирать, как кровавые шуты — царь Николай Романов и имам Шамиль прикрывают глаза, разыгрывая озарение в оправдание отвратительно-жестоких приказов. Ему дано видеть и прошлое, и грядущее: читатель с авторской подачи уже знает о смерти Авдеева, а его домашние — нет; Хаджи-Мурат еще борется за жизнь, но нам-то известно, к чему все идет. Но и самая смерть во вселенной Толстого не абсолютный конец, а “важнейший в этой жизни момент — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла...”

И впечатлительный читатель Толстого, находясь под воздействием его искусства, может испытать иллюзию всеведения и какого-то нового опыта, где прошлое, настоящее и будущее, жизнь и смерть не выстроены “в затылок”, а сосуществуют на эпический

лад. И как бывает в случае подлинной эстетической удачи, теперь уже трудно представить, что повесть могла быть написана и по-другому.

Толстой-автор — демиург своей вселенной, вершитель литературных судеб. И если какой-нибудь ранимый читатель вздумал бы попрекнуть его безжалостным обхождением со своими героями, можно было бы домыслить ответ: а ты умеешь описать движение звезд в такт ходьбе? Решишься разглядывать смерть, не жмурясь от страха? А увидеть глазами новичка “матовую цепь снеговых гор, как всегда ста-

равшихся притвориться облаками” и воссоздать его потрясение этим зрелищем? Или вообразить отважного воина-аварца, который накануне гибели весенней ночью с соловьиным шелканьем набрал воды для омовения и под звуки печальной песни “так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него”?

Это — очень суровое и высоко нравственное мироздание Толстого. Здесь гостеприимство, сулящее хозяевам смертную казнь, говорит гостю: “Приходи к счастью”, а гость-беглец отвечает: “Сыновья твои да чтобы живы были...”

Книги вразнос. Что у нас переводят. И как

[279]

ИЛ 6/2025

Экспресс-рецензии Даши Сиротинской

ХАН ГАН *Я не прощаюсь*. Перевод с корейского Джаудата Фаттахова. — М.: АСТ, 2025

Я-то, наивная, воображала, будто Нобелевская премия по литературе — это пропуск в шикарную жизнь. Жизнь, в которой у тебя появляются уютный домик в горах и письменный стол красного дерева. Жизнь, в которой можно лелеять надежду на то, что твои сочинения будут переводить лучшие переводчики, а редактировать переводы — лучшие редакторы. “Ха! — как бы говорят мне в ответ Джаудат Фаттахов и издательство АСТ. — А вот выкуси!” Ох уж эти фантазии Сиротинской!

Говорят, Хан Ган, которая до Нобелевки успела отхватить еще и Международного Букера, пишет “насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни”. Именно такой формулировкой сопровождал свое решение Нобелевский комитет. Звучит заманчиво? Пожалуй! Но коварные издатели ни за какие коврижки не дадут нам прикоснуться к этой самой поэтической прозе и восхищаться. Вместо этого они

предложат нам текст, который парализует ужасом все наши чувства. В этом тексте поистине чудеса и леший бродит: глаза героини “резко сужаются в форме полумесяца” и при этом “покрываются мелкими морщинами”. “В тонкую брешь между сном и бодрствованием под веки мне снова пробирается знакомый равнинный пейзаж”. “Не гниющие черные деревья, у которых не взмокло даже основание”, “стоят упершись друг в друга взглядом”... Когда перед внутренним взором читателя проносятся эти кошмарные видения, у него не то что основание взмокает — он весь уже мокрый как мышь! От слез, конечно, в первую очередь. Все попытки хоть что-то разобрать в этой околесице обречены на такой трескучий провал, что до “исторических травм” (в данном случае трагического эпизода корейской истории — жестоко подавленного восстания на острове Чеджудо) дело попросту не доходит. “Верхушки пальцев”, “тело”, которое “даже лежа на полу отказывается остывать” — где уж проникнуться “хрупкостью человеческой жизни”, когда у нас тут эдакий боди-хоррор!

Вопреки всем стараниям переводчика и издательства, я заключаю по роману “Я не прощаюсь”, что мастерство Хан Ган растет. Ее и в самом деле глубоко поэтичная и своеобразная проза здесь не разбивается об авторские метания между десятками персонажей. Минималистичный снежный пейзаж, пронзительный в своей простоте образ затерявшейся на его фоне белой птицы. Чистая поэзия, почти песня, обращенная в прошлое. Но мы эту песню не услышим. Когда выходят плохие переводы бестолковых книг — ну что ж поделаться, поточили об них свои ядовитые рецензентские клыки, посмеялись и ладно. Но тут, ребята, что-то не смешно.

Пол Линч *Благодать*. Перевод с английского Шаши Мартыновой. — М.: Азбука-Аттикус, 2025

Ну все, вдох-выдох. А то давление подскочит. Давайте лучше возрадуемся тому, что не все так беспросветно. Снизошла на нас, например, “Благодать” Пола Линча в переводе Шаши Мартыновой. Сам роман не новый, но после того, как в 2023 году Линч стал лауреатом Букеровской премии, у нас, видимо, решили перевести и издать все его творения разом. И пусть это немножечко смешно, все равно радостно: такой автор был нам нужен как никто. Наконец-то перед нами писатель,

который занимается именно литературным творчеством, а не сочиняет заявку на экранизацию; впрочем, волшебный, пленительный язык Линча завораживает покрепче любого боевика. Вот, оказывается, что можно делать со словами, ничего себе! Линч тоже обращается к теме тяжелого национального прошлого и пишет о Великом голоде в Ирландии, но при этом тональность его книги — мрачно-то-бодрая, угрюмо-насмешливая, искристая. Словом, поистине ирландская. Путешествие 15-летней Грейс, переодетой мальчишкой, и ее 12-летнего брата Колли, составляющих замечательный дуэт — тут и неизбывное братско-сестринское взаимное брюзжание, и трогательная взаимная привязанность, и всякие удивительные полувыдуманные существа, страшилки, байки, какими наполнена жизнь любых детей во все времена, — путешествие это при всей неприглядности своих устрашающих декораций погружает нас в атмосферу чуть ли не гекльберрифинновскую. Те же восхитительные подзаборные словечки, каких нарочно не придумает. В этом смысле Шаши Мартынова, можно сказать, творит свою Ирландию на русском языке. Одна из недавних ее работ, последний роман Таны Френч “Искатель” — книга жанра куда более легкого, но Ирландия в ней говорит на том же языке, а здесь, в “Благодати” — узнается, как будто ты вернулся в какое-то полюбившееся место. Я, во всяком случае, дорогу туда не забуду!

ЭТГАР КЕРЕТ *Поломка на краю галактики*. Перевод с иврита Линор Горалик¹. — М.: Фантом Пресс, 2025

ФРАНЦ ХОЛЕР *Мошенники*. Коллективный перевод. — М.: Городец, 2025

Еще один повод забыть историю с Хан Ган как страшный сон — два сборника двух, казалось бы, ни в чем не схожих авторов, швейцарского и израильского. Истории у Этгара Керета — одна другой безумнее; разброс — от почти классических научно-фантастических пугалок в духе Рэя Брэдбери до бессюжетных лирических зарисовок про то, кто о чем думает по ночам вместо того, чтобы спать. Рыба, которая смотрит телевизор; богач, который покупает чужие дни рождения; папы, которые превращаются в кроликов; хозяева собак, которые с рогатками охотятся на голубей, — все эти неординарные персонажи разбегаются, расплываются и распрыгиваются по страницам с такой резвостью, что не знаешь даже, на кого первого смотреть. У Франца Холера, который совсем недавно выступал в амплу детского поэта на страницах первого номера “ИЛ” за 2024 год, в этом смыс-

ле все с точностью до наоборот. Его герои — совершенно нормальные, почтенные швейцарские старцы и старухи, доживающие свой век в аккуратненьких домиках в окружении не менее почтенных и аккуратненьких родственников. Немножко пластилиновые, конечно, истории — трогательные такие, *добрые*, “никогда не прекращай мечтать”, “улыбнись миру, и мир улыбнется тебе”, все в таком духе. В общем, самое то любителям Бакмана. Что же побудило меня их объединить? Забавная, но показательная рифма, которую составили в моей голове рассказ Керета “День рождения круглый год” и рассказ “Календарь” Холера. Каждый автор в собственной манере — Керет в абсурдистской, Холер в хлебобулочной — обыгрывает тему чужого праздника как единственного способа заполнить пустоту собственной жизни. И эта рифма подсказала мне, что, в сущности, несходство двух сборников скорее внешнее: на самом деле оба они именно об этом — о потере и одиночестве всех и каждого, будь то швейцарские старики или израильские собаки. Да, совсем запамятовала: еще обе книжки очень смешные. А не то, что вы подумали.

[282]

ИЛ 6/2025

ХОСЕ ДОНОСО

JOSÉ DONOSO

[1924–1996], Чилийский писатель. Лауреат Премии испанской критики [1978] и Национальная премия Чили по литературе [1990].

Автор романов *Коронация* [*Coronación*, 1957], *Место без границы* [*El lugar sin límites*, 1965], *Нерпистойная ночная птица* [*El obsceno pájaro de la noche*, 1970] и др., книги воспоминаний *Личная история бума* [*Historia personal del boom*, 1972], нескольких сборников рассказов. В ИЛ опубликованы его рассказы [2025, № 5].

Перевод романа *В то воскресенье* выполнен по изданию *Este domingo* [BARCELONA: EDITORIAL SEIX BARRAL, 1989].

ОГДЕН НЭШ

OGDEN NASH

[1902–1971]. Американский поэт-сатирик. Член Национального института искусств и литературы и Американской академии наук и искусств.

Автор сборников стихов *Я здесь и сам чужой* [*I'm a Stranger Here Myself*, 1938], *Лицо мне знакомо* [*The Face is Familiar*, 1940], *Добрые намерения* [*Good Intentions*, 1942], *Так много лет назад* [*Many Long Years Ago*, 1945], *Родители, держитесь подальше* [*Parents Keep Out*, 1951], *Рождество, которого почти не случилось* [*The Christmas That Almost Wasn't*, 1957], *Строфы к свадьбе* [*Marriage Lines*, 1964], *Ветряные мельницы что-то не кончаются* [*There's Always Another Windmill*, 1968] и др. На русском языке издан сборник-билингва [Л., 1988], сборник в переводах И. Комаровой [М., 2000], а также переводы Г. Кружкова в разных сборниках. В ИЛ опубликованы его стихи [2012, № 4].

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

АНДРЕЙ ФОМИЧ
ДЕМЕНЮК

[р.1960]. Поэт, прозаик, художник, переводчик с английского и французского языков.

Автор книги стихотворений *Акцент ночи* [1998], публикаций в литературных журналах, альманахах и сборниках.

В ИЛ в его переводе опубликованы стихи Дж. Джойса из книги *Камерная музыка* [2022, № 7].

ЭКУНИ КАОРИ

EKUNI KAORI

Японская писательница. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премии *Мураками Сикибу* [1992], премий имени Ямамото Сюгоро [2002], Наоки Сандзюго [2004], Кавабаты Ясунари [2012], Та-нидзаки Дзюньитиро [2015] и др.

Автор романов *Ты сияй, звезда ночная* [1991], *Божественная лодка* [1999], *Комната, в которой темно даже ясным днем* [2010], *Ящерка, лягушонок и бабочка-голубянка* [2014], сборников рассказов *Благоуханные дни* [1991], *Плавание небезопасно и несвоевременно* [2002], *Пес и губная гармошка* [2012] и др. Ее перу принадлежат также несколько сборников эссе и поэтических произведений. В ИЛ напечатаны ее рассказы *Ночь, жена и чистящие средства* и *Под ясным безоблачным небом* [2022, № 7].

Публикуемые рассказы *Круги на воде* и *Младший брат* взяты из сборника *Аромат арбуза* [ТОКYO: SHINCHOSHA, 2000].

ОГАВА ЁКО

OGAWA YOKO

Японская писательница. Лауреат премий

Автор романов *Дневник беременности* [1990], *Полиция памяти* [1994], *Отель "Ирис"* [1996], *Любимое уравнение профессора* [2003], *Птичка* [2012], сборников рассказов *Девочка за вышива-*

Акутагавы [1990], Ёмиури [2004], Танидзакки Дзюньитиро [2006], литературной премии Номы [2020].

ЮЙ ЦЗЯНЬ

YU JIAN

[р. 1954]. Китайский поэт. Лауреат премии Лу Синя [2006] и др.

ИВАН АЛЕКСЕЕВ

Переводчик с китайского. Аспирант Пекинского педагогического университета.

ЧОН ХАЁН

JEON HA-YEONG

[р. 1980]. Корейский писатель, режиссер. Лауреат премий *Новый писатель* издательства Мунхакдонне [2019] и 12-го конкурса *Молодой писатель* [2021].

КАН БЁНЮН

KANG BYOUNG

YOONG

[р. 1975]. Южнокорейский писатель, профессор корейской литературы на факультете стран Азии в Люблинском университете. Лауреат премии молодых писателей журнала *Разум и экспрессия* [2002].

ЛУИС ПЕРЕС

ИНФАНТЕ

LUIS PÉREZ INFANTE

[1912–1968]. Испанский поэт, журналист, общественный активист. Сооснователь журнала *Нуэва поэзия*, где публиковались Хуан Ра-

нием [1994], *И все же пойдёмте гулять* [2012], *Гладя хвост собаки* [2006].

Переведенный рассказ *Анатомия жирафа* взят из сборника *Девочка за вышиванием* [Токио: KADOKAWA, 1999].

Автор более пятидесяти книг, в частности, поэтических сборников, собрания эссе и путевых заметок. Широкую известность получил после публикации текстов *Улица Шанъи, 6* [1984] и *Файл № 0* [1994]. Его произведения переведены на болгарский, английский, французский, немецкий, голландский, испанский, итальянский, шведский, датский и японский языки. В *ИЛ* опубликовано его стихотворение *Дерево* [2018, № 10].

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Автор книги *Внутри пламени: поэзия Хай Цзы* [2021], переводчик сборника избранной поэзии Си Чуаня *Со мной в главной роли* [2024]. Его переводы выходили в интернет-изданиях *Магазета*, *Prosōdia* и в журнале *Перевод*.

В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи Си Чуаня [2024, № 9].

Автор сборника рассказов *Временная разница и анахроничность* [2024], рассказов *Влияние* [2019], *Экспериментальный фильм Сукхи* [2023] и др.

Публикуемый рассказ *Под светом лампы* взят из книги *Больше, чем роман: Зима 2020* [SEOUL: MOONJI PUBLISHING COMPANY, 2020].

Автор романов *Книга вымышленных людей, Я – Виктор Цой* [2018, рус. перев. 2018], *Занимательные записки о кастрации мистера “Y”* [2013], *Алюминиевые огурцы* [2013], сборника рассказов *Поцелуй и банан*, монографии о романе *Мы* Евгения Замятина, а также сборников эссе *Любляна, город похожий на жену; Я тебя люблю, я очень тебя люблю*.

Публикуемый рассказ *Продам костюм Супермена* взят из журнала *Разум и экспрессия* [SEOUL: NYEHWADANG, 2002].

Автор поэмы *Смерть Дурфутти* [*La muerte de Durruti*, 1944], стихов, публиковавшихся в литературных журналах.

Вместе с Мигелем Прието для театра кукол *Ла Тарумба* написал фарс *Оборона Мадрида и Малы коррида* [*Defensa de Madrid y lidia de Mola*, 1936].

Перевод фарса выполнен по рукописи из архива Театра кукол им. С. В. Образцова.

мон, Хорхе Гильен, Мигель де Унамуно и сам Перес Инфанте. Во время Гражданской войны он — комиссар 45-й дивизии республиканской армии Испании; после поражения республиканцев покинул страну. С 1946 г. жил в изгнании в Уругвае, где, по просьбе Компартии Испании, взял на себя руководство еженедельником *Еспанья демократика*.

МИГЕЛЬ ПРИЕТО
MIGUEL PRIETO
[1907—1956]. Испанский художник, графический дизайнер, сценограф, сооснователь кукольного театра *Ла Тарумба* [1934—1939].

Создатель кукол и декораций [совместно с Густаво Берто] для спектаклей в театре *Ла Тарумба* по произведениям классических и современных авторов. Иллюстрировал многочисленные книги, среди которых *Цыганское романсеро* Гарсиа Лорки. Был художественным руководителем журнала *Октябрь*, издаваемого Рафаэлем Альберти. Во время Гражданской войны при поддержке Субкомиссариата по вопросам пропаганды Испанской Республики ездил по фронтам с сатирическими представлениями.

Вместе с Луисом Пересом Инфанте для театра кукол *Ла Тарумба* написал фарс *Оборона Мадрида и Молы коррида* [*Defensa de Madrid y lidia de Mola*, 1936].

Перевод фарса выполнен по рукописи из архива Театра кукол им. С. В. Образцова.

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ФИДЛЕР
[Фридрих Людвиг Конрад Фидлер]
[1859—1917]. Переводчик русской поэзии на немецкий язык, мемуарист, собиратель литературных материалов. Из семьи петербургских немцев.

Переводил на немецкий язык и издавал в Германии стихи А. Кольцова, Лермонтова, А. К. Толстого, Пушкина, Надсона, Фофанова, Майкова, Полонского, Фета, Тютчева, а также стихи современных ему русских поэтов, в том числе А. Блока, З. Гиппиус, В. Иванова, Игоря Северянина, Ф. Сологуба.

Публикуемые фрагменты дневниковых записей переведены по изданию *Из мира литераторов. Характеры и суждения. Дневник* [*Aus der Literatenwelt. Charakterzüge und Urteile. Tagebuch*. GÖTTINGEN: WALLSTEIN VERLAG, 1996].

КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ АЗАДОВСКИЙ
[р. 1941]. Филолог, переводчик, историк литературы. Лауреат премии имени Ф. Гундольфа [1989], Австрийского министерства культуры и искусства [1991] и др.

В его переводе публиковались стихи испаноязычных [А. Ф. Аймерич, Р. Альберти, С. Вальехо, Р. Дарио], немецких [Ф. Геббель, Ст. Георге, Р.-М. Рильке, Ф. Шиллер, П. Целан] и французских [Р. Г. Каду, Ж. Марсенак] поэтов. Перевел роман В. Кёппена *Голуби в траве* [1972], книгу Р. Дутли *Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография* [2005], эпистолярную прозу Марины Цветаевой [письма к Рильке и др.], осуществил первый полный русский перевод *Детских и до-*

Член немецкой Академии языка и литературы [с 1992].

РОМАН
МИХАЙЛОВИЧ
ДУБРОВКИН

[р. 1953]. Переводчик с английского, французского, немецкого, итальянского, новогреческого языков, литературовед. Лауреат премии *Мастер* [2014].

СЕРГЕЙ
МАРКОВИЧ
ГАНДЛЕВСКИЙ

[р. 1952]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий Малый Букер [1996], Московский счет [2009], национальной премии Поэт [2010] и др.

ДАРЬЯ
ДМИТРИЕВНА
СИРОТИНСКАЯ

Переводчик с английского, литературовед, кандидат филологических наук. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2019].

машинных сказок братьев Я. и В. Гримм [2020]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Автор монографии *Стефан Малларме и Россия* [1998] и ряда статей, посвященных русско-французским литературным связям; составитель антологии *Итальянская поэзия в русских переводах* [1992]. Издал в своих переводах поэтическое наследие С. Малларме [1995 и 2012] и книгу избранных стихов П. Валери [1992]. Перевел поэму Т. Тассо *Освобожденный Иерусалим* [2020, 2022, 2024], а также стихи Э. По, Г. Лонгфелло, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса, Р. Фроста, П. Ронсара, В. Гюго, А. Рембо, Э. Верхарна, Г. Гейне, К. Брентано, Ф. Петрарки, Микеланджело, К. Кавафиса, Й. Сефериса, Я. Рицоса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых — книга стихов Праздник [1995], повесть *Трепанация черепа* [1996], избранное *Порядок слов* [2000], роман <НРЗБ> [2002], стихи и эссе *Най-ти охотника* [2002], Опыты в стихах [2008], избранное *Сухой остаток* [2014], собрание стихотворений *Ржавчина и желтизна* [2017], путевые очерки *В сторону Новой Зеландии* [2019], сборник заметок и очерков об отечественной литературе *Незримый рой* [2023]. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Автор романа *Теорема тишины* [2024]. В ее переводе опубликованы романы Г. Мелвилла *Марди и путешествие туда* [2020], Ш. Андерсона *Свадьба за свадьбой* [2021] и К. Маккея *Банджо. Роман без сюжета* [2024]. В *ИЛ* в ее переводе публиковались очерки К. Джейми и А. Боннетта и интервью с ними [2018, № 10], отрывки из романа Г. Мелвилла *Марди и путешествие туда* [2019, № 7], рассказы Д. Кольера [2020, № 7], отрывок из книги Д. Мэйсфилда *Ночной народец* [2024, № 1], главы из книги Э. Несбит *Бэстейблы в погоне за удачей* [2025, № 1] и др. Составитель и переводчик рубрики *Реверсивное движение. Путешествие американцев в первой трети XX века* [2021, № 10], составитель специальных детских номеров *Дом вверх дном* [2024, № 1] и *Волшебный календарь* [2025, № 1]. Постоянная ведущая рубрики *Книги вразнос. Что у нас переводят. И как*.

[285]

ИЛ 6/2025

Ольга Михайловна Кулагина

Переводчик с английского и испанского языков, по образованию математик. Лауреат премии *Инолит* [2017] и *ИЛлюминатор* [2022].

Переводила тексты в области финансов и информационных технологий. В ее переводе опубликованы три рассказа Д. Безмозгиса *Наташа*, *Хоински*, *Новое надгробие на старую могилу*. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы Н. Олгрена [2016, № 1], А. Неумана и С. Швевлин [2021, № 5], Д. Пашковски, Л. Фоти, Л. Валенсуэлы, П. Оргамбиде, С. Иппаррагире, Х. Филлоя [2022, № 12], Э. Росеро [2021, № 1; 2023, № 10], романы Х. Ибаргуэнгойтия [2016, № 2; 2019, № 9], А. Неумана [2016, № 4; 2022, № 7—12], Э. Росеро [2016, № 10; 2017, № 4], книги М. Чавеса Ногалеса [2017, № 11; 2020, № 9], повести А. Мангеля [2018, № 10] и С. Айры [2021, № 5], фрагменты книги К. Ландероса [2019, № 6], эссе В. Окампо, микрорассказы Э. Г. Киффера, А. М. Шуа, Д. Лагмановича [2021, № 5], Б. Сарло [2024, № 12].

Милана Артуровна Ильина

Выпускница РГГУ. Переводчик с японского.

В ее переводе публиковались рассказы Экуни Каори. В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Владимировна Дегтярева

Доцент кафедры Восточных языков ИЛ РГГУ, преподаватель японского, переводчик. Специалист по современной японской литературе, руководитель дипломных работ по художественному переводу.

В *ИЛ* в ее переводе опубликован рассказ К. Мицүё *Слезы* [2024, № 9].

Светлана Петровна Немкевич

Переводчик с корейского. Закончила курсы художественного перевода Института перевода корейской литературы [Сеул, 2024].

В ее переводе готовится к публикации 2-томный роман Чхон Нынгым, Чон Мёнджин *Охотники на призраков*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Анатольевна Похолкова

Кореевед, переводчик, кандидат филологических наук, декан переводческого факультета МГЛУ, доцент кафедры восточных языков, председатель Объединения преподавателей корейского языка российских университетов. Член Союза переводчиков России и Объединения преподавателей корей-

Автор более 60 научных публикаций и учебно-методических пособий. В ее переводе вышли книги *Вслед за ветром* Мун Чонхи [2015], *Непостижимая ночь, неразгаданный день* Пэ Суа [2021], *Оранжевая на краю света* Ким Чхоён [2022; совместно с Д. Мавлеевой], *Ледяной лес* Ха Чийн [2023], *Обыкновенное зло* Ким Сочжин [2023; совместно с Д. Мавлеевой], *Юная шаманка* Пом Чо Раймонд [2023], *Мадам таро* Ли Суа [2023], *День, когда я исчезла* Ким Харим [2023], графический роман *Трава* Ким Жандри-Кымсук [2021] и детские повести Пэк Хина. В *ИЛ* в ее переводе опубликован рассказ Ким Чунми *Привет, Мишка!* [2024, № 1].

ского языка российских университетов. Обладатель звания *Почетный работник сферы образования Российской Федерации*, медали *За укрепление международного сотрудничества* и др.

Дарья Владимировна Мавлеева

Переводчик с корейского, кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных языков переводческого факультета МГЛУ.

Ксения Леонидовна Дмитриева

Переводчик с испанского.

Александр Израилевич Казачков

[1954—2025]. Переводчик с испанского. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2021].

В ее переводе совместно с Е. Похолковой вышли книги *Оранжевые на краю света* Ким Чхоёп [2022], *Обыкновенное зло* Ким Сочжин [2023], *Зловещий ресторан* Ким Минчжона [2023], *Добро пожаловать в книжный в Хюнамдоне* Хван Порым [2024], *Магазин шаговой недоступности* Ким Хоёна [2024], *Прачечная души Мэриголд* Юн Чонын [2024], а также роман *Настоящий я* Ли Хиён [2023; совместно с М. Горшковой].

В *ИЛ* публикуется впервые.

В ее переводе публиковались произведения А. Бен Эзры *Книга суждений о звездах* [2 тт.], Т. Масиа *Лунная астрология*, *Геммоастрология* и др.

В *ИЛ* опубликованы ее переводы стихов Абея Мурсии [2020, № 5; совместно с А. Казачковым] и М. Фернандеса [2022, № 12].

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса, Б. Касареса, А. Монтеросо, Х. Бенета, Г. Ньельсена, О. Бустоса Домека, А. Ди Бенедетто и др. Составитель, автор вступлений и переводчик специального номера *Иное небо*, посвященного аргентинской литературе [2020, № 5].

Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс П3254 — Почта России, 70394 — Урал-Пресс.
Льготная подписка оформляется в редакции
(вторник, среда, четверг
с 13.00 до 17.30).

В оформлении обложки
использован фрагмент
картины китайского
художника Пан Цзюня
[р. 1936] *Триумф весны*
[2022].

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Редакторы номера
Л. Васильева,
Т. Ильинская,
А. Ливергант,
К. Львов,
О. Ткаченко

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодамианская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 68,
стр. 24 (фактический, почтовый); м. "Аэропорт".
Телефон: (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Регистрационное
свидетельство
ПИ № ФС77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Подписано в печать
29.05.25
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2286/25.
Тираж 1500 экз.

Старший корректор,
секретарь-референт
Ксения Жолудева.

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в книжном магазине "Фаланстер" (ул. Тверская, д. 17);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (ул. Некрасова, д. 23);
в книжном магазине "Подписные издания" (Литейный просп., д. 57);

Авторские права
Милана Варакина.

Отпечатано
в Публичном
акционерном обществе
"Можайский
полиграфический
комбинат"
143200, Россия, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaomprk.ru,
тел.: (49638) 20-685

Компьютерная правка
Ксения Жолудева.
Компьютерная верстка
Виолетта Богданова.

в интернет-магазине "Лабиринт"
(<http://www.labyrinth.ru>)
в интернет-магазине "Ozon"
(<https://www.ozon.ru>)

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

Официальный сайт журнала:
<http://www.inostranka.ru>
Наш блог "ВКонтакте":
<https://vk.com/journalinostranka>

PR
Алиса Галенкина.

Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.